

# СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал**

**ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА**

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Болдырев (Курск)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов

ответственный секретарь

Максим Долгов

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Косарев

начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов

редактор отдела общественно-политической жизни

Кристина Кармалита

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова

Верстка: О. Н. Вялкова

**8/2018**

## Содержание

### ПРОЗА

- Александр ЛАПТЕВ. Отец.** Повесть. .... 3  
**Роман СЕНЧИН. Банальщина.** Рассказ. .... 73  
**Эльза ГИЛЬДИНА. Чекаданов и Расчектаева.** Рассказы. .... 87

### ПОЭЗИЯ

- Александр ФРАНЦЕВ. С краю империи.** Стихи. .... 69  
**Андрей НОВИКОВ. На солнечной оси.** Стихи. .... 84

### ЖУРНАЛЬНЫЙ МИР

- Альманах «Складчина» (Омск)*  
**«Звуки всех земных имен...»** Ольга Григорьева,  
Дмитрий Румянцев, Иван Денисенко, Вероника Шелленберг,  
Александр Лизунов, Михаил Кузин, Николай Кузнецов,  
Андрей Ключанский, Евгения Кордзахия. Стихи. .... 116

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Тамара БУСАРГИНА. Вы снова здесь, изменчивые тени...**  
*Воспоминания о писателе Глебе Пакулове и других.* .... 129  
**Геннадий ПРАШКЕВИЧ, Сергей СОЛОВЬЕВ. Дуче.**  
*Главы из книги. Продолжение.* .... 153  
**Александр САРАЕВ. Генерал и губернатор.** .... 182

### Картинная галерея «Сибирских огней»

- «Нужна сказка, нужна былина...»**  
*Беседа с художником Александром Кучерявенко.* .... 187

- Авторы номера* ..... 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала "Сибирские огни"» М. Н. Щукин.

Александр ЛАПТЕВ

## ОТЕЦ

П о в е с т ь

Так получилось: с двенадцати лет Костя рос без отца. Хотя отец у него был — отличный, замечательный отец! Такой, которым он гордился и при случае хвастался перед одноклассниками: говорил, что папа у него настоящий герой, он работает на краю земли — там, где лютые морозы и полярная ночь, выполняет важное правительственное задание, но об этом нельзя много болтать, потому что это военная тайна! И все ребята завидовали Косте, молча вздыхали и отходили в задумчивости, пытаясь представить неведомую землю, которую сами они вряд ли когда-нибудь увидят. Не знали они другого: по ночам, закрывшись подушкой, Костя плакал от тоски, звал отца, а порой вдруг вскакивал и бежал к двери: ему казалось, что отец явился среди ночи и стоит на деревянном крыльчке среди холода и тьмы, ждет, когда ему откроют. А если дверь тотчас не открыть, отец уйдет, унося в душе горечь обиды.

Но на крыльчке никого не было. В темном охолодевшем небе остро проблескивали звезды, сырой ветер злобно метался среди покосившихся заборов и черных приземистых сараев; было до жути странно и дико, даже собаки не лаяли; все словно бы умерло, мир казался навеки опустевшим. Костя тихонько закрывал дверь, возвращался в свою комнату и ложился в остывшую постель, укрывался с головой одеялом, стараясь унять озноб. Мать спала за перегородкой и ничего не слышала. Оно не мудрено: леглась она за полночь, а вставала в половине седьмого. Ей тоже было несладко, Костя это понимал.

Отец убыл в свою командировку три года назад, в тридцать четвертом. Уезжал не то чтобы весело, но с задором, с верой в близкое чудо и неслыханное счастье. Обещал вернуться через год с деньгами и подарками и с чем-то таким, для чего не мог подобрать слов. И, действительно, вернулся, но ненадолго. Сказал, что работы невпроворот, и через неделю снова отправился на восток — на очень дальний и таинственный восток, куда сначала нужно ехать поездом, а потом целую неделю плыть на ледоколе, пробивая себе путь среди ледяных глыб в мерцании призрачных огней, среди мрака и неизвестности.

Так происходило несколько раз. Отец вдруг приезжал среди ночи — возбужденный, взъерошенный и какой-то чужой, неловкий, — торопливо распаковывал два тяжелых чемодана и доставал из них разные вкусности: пахнущую морем диковинную толстую рыбу красного цвета, слипшую-

ся оранжевую икру в стеклянных банках, огромных розово-белых крабов в промасленных бумажных пакетах, кульки и мешочки с конфетами и печеньем, каких отродясь не бывало в местных магазинах, и много чего другого. Все это очень быстро съедалось, пустые кульки сторали в печке, а панцири и колючие клешни крабов выбрасывались на помойку. Радость сменялась грустью: отец снова уезжал.

Костя никак не мог взять в толк: почему он не останется дома? Ведь мальчик видел, что отцу не хочется брать чемоданы и тащиться с ними на вокзал. Лицо его суровело, в глазах уже не было ни блеска, ни задора. А Косте с матерью не нужно было ни заморских конфет, ни печенья, ни диковинной рыбы. В этом ли счастье: несколько дней хрумкать «морские камушки» и «раковые шейки», а потом целый год ждать и вскакивать по ночам от каждого стука? Вот и отец уже не тот — осунулся, постарел, лицо стало жестким и угрюмым. Мать сторбилась и потемнела, то и дело опускает взгляд и плачет по ночам. Думает, что Костя не слышит, все считает его маленьким. А он уже не маленький! Он многое уже понимает и чувствует себя взрослым. Поживи-ка без отца столько времени — поневоле повзрослеешь и станешь рассудительным...

Тут еще новость как гром среди ясного неба: у Костика появился братик! Крошечный, страшно крикливый, отвратительный на вид и совершенно ненужный в доме, где и без него хлопот полон рот. Житья от его крику не стало. Мать только и думала о нем, а на Костю перестала обращать внимание. В доме появились гадкие, противно пахнущие пеленки, беспрестанно грелась вода в тазу на печной плите, а нормальной еды как не бывало. Костя теперь питался урывками, да и аппетит у него пропал из-за всей этой кутерьмы, от вонючих пеленок и от крику.

И тогда он принял окончательное и бесповоротное решение: ехать к отцу на край земли! В одно прекрасное утро он объявил об этом матери. Та приняла вест со страхом. Держа на руках младенца, смотрела на Костю круглыми глазами, словно не узнавая. Усталое лицо ее подергивалось, в глазах стоял испуг.

— Что ж ты надумал-то, а? — прошелестела помертвевшими губами.

Но сын уже все для себя решил.

— Я из дома убегу, если не отпустишь, — произнес, опуская голову и хмурия брови, как это делал отец, когда сердился.

Мать все смотрела на него, силилась что-то сказать.

— Я уже и отцу написал, — продолжал Костя, глядя в пол. — Скоро вон лето, каникулы... Ну? Отпусти! Чего мне тут делать? У тебя и без меня теперь забот хватает...

Мать задумалась. Отпустить сына одного в такую даль было невысказано. Но если он потихоньку убежит — так это еще хуже, еще страшней. И она неуверенно кивнула.

— Ну ладно... Посмотрим, что отец напишет.

И они стали ждать.

Ответ пришел через месяц. Зима была уже на исходе. Солнце сверкало все ярче, радостней, на крышах висели длинные сосульки, с которых бежала вода; природа вдруг встрепенулась, распахнула глаза в радостном

изумлении, вздохнула вольно и глубоко, расправила могучие плечи — и все вокруг заискрилось, задвигалось и задыхалось, заиграло яркими красками! Весенний ветер принес с юга запахи оттаявшей земли, а в душах поселилось беспокойство сродни тому, что гонит стаи перелетных птиц с одного края земли на другой и заставляет медведя вылезать из снежного плена и щурить на солнце полуослепшие за долгую зиму глаза. Отец писал сыну в письме, что, конечно, он примет его и будет очень рад, если Костя придет. Но предлагал особо не спешить, потерпеть до лета. Надо сперва окончить восьмой класс, а еще дожждаться летней навигации, которая начинается в последних числах мая. Он просил сына еще раз крепко подумать и посоветоваться с матерью; и если Костя не передумает, тогда отец вышлет деньги и подробные инструкции: на какой поезд нужно сесть и как попасть на нужный пароход во Владивостоке.

С этого необыкновенного письма у Кости началась новая жизнь!

Мартовское солнце припекало все жарче, по улицам среди грязи и камней бежали шумные ручьи, а по ночам небо жутко распахивало темнеющую глубину до самых звезд.

Еще свежи были воспоминания о героях челюскинцах. Все пацаны мечтали стать полярными летчиками — лететь нескончаемой ночью в звездной пустоте над бескрайними льдами, спасти отважных полярников от неминуемой смерти, а потом возвращаться со славой домой. И Костя взмывал на крыльях воображения в заоблачные выси, где океаны света и бескрайняя ширь, где все легко и достижимо, где радость побед и невероятных открытий! Но до этого было еще далеко. Следовало дожждаться каникул, потом сесть в нужный поезд и мчаться навстречу восходящему солнцу — туда, где на краю земли живет и борется его героический отец. Костя ждал этой минуты, считая дни и рисуя в воображении непроходимые тысячеверстные леса, бескрайний океан с исполинскими волнами, насквозь промерзшую ледяную пустыню, в которой белые медведи и шестидесятиградусные морозы, северное сияние и смертельный риск.

Мать еще пыталась отговорить сына, но Костя был непреклонен. Решено: он должен совершить подвиг! Жизнь теперь такая, что без подвига — никуда. Все вокруг кипело и рвалось вперед, к сияющим вершинам, к новым победам. Сталинские соколы совершали свои героические перелеты на край земли, полярники открывали никем не хоженный морской путь, а доблестные командиры Красной армии крепили мощь первого в мире социалистического государства, готовились дать решительный отпор мировой буржуазии. Как же усидеть дома в такое время? Это девчонки пускай сидят, а Костя не таков. Он еще покажет себя, отец будет им гордиться!

В таких настроениях пролетело два месяца. Мать постепенно свыклась с неизбежностью. Да и в самом деле: почему бы сыну не пожить какое-то время с отцом? У нее на руках маленький, все внимание и всю свою любовь она сосредоточила на нем, не разорваться же ей, в конце концов! Надо же и на работу каждый день, и следить за хозяйством: дважды в день, утром и вечером, топить углем печь, ходить по воду с ведрами на колонку, готовить еду на печке, а потом еще посуду вымыть в тазике, да белье постирать на ру-



ках, да полы каждый день нужно мыть едва теплой водой, согнувшись в три погибели и заливаясь потом... Костя все это видел и помогал по мере сил. Но решил, что матери будет легче без него — меньше хлопот и нервоотрепки. Вот и отец исполнил обещание: выслал подробные инструкции, на какой поезд покупать билет, сколько суток ехать до Владивостока и как себя вести в пути. Во Владивостоке Костю встретит товарищ отца и посадит на пароход до Магадана, а сам отец будет ждать сына в бухте Нагаева.

Со школой у Кости тоже не было затруднений. Когда он сказал классной руководительнице Анне Никифоровне, что едет к отцу на Крайний Север, та необычайно воодушевилась и вдруг прочитала перед всем классом целую лекцию об отважных советских геологах, совершающих подвиги среди льдов и вечной мерзлоты, а Костю поставила всем в пример за его героизм и стремление к мечте. Она попросила его вести в дороге подробный дневник, чтобы потом, когда вернется, он рассказал о своем необычайном путешествии и о мужественных людях, которых встретит на Крайнем Севере. Костя ей это обещал.

Новость мгновенно облетела школу. Все учителя смотрели на Костю ласково и согласились выставить ему годовые оценки в конце апреля, чтобы он успел на первый пароход, идущий из Владивостока в далекий поселок на берегу бухты Нагаева, где строился город золотоискателей (что-то вроде канадского Доусона, воспетого Джеком Лондоном, только еще лучше, еще грандиознее и героичнее).

Отец перевел телеграфом двести рублей, и, отстояв двухчасовую очередь в железнодорожную кассу, мать купила Косте билет в плацкартный вагон, на верхнюю полку. Ехать в поезде предстояло целую неделю. Отправление — третьего мая в шесть часов вечера. Нужно было сесть на пассажирский поезд Москва — Владивосток. Стоянка в Новосибирске всего двадцать минут. За это время необходимо занять место, поговорить с проводником, чтобы присмотрел за сыном, сказать несколько слов соседям по вагону и дать Косте последние наставления. Так это представлялось матери. На деле все вышло иначе. Провожать Костю пришел весь класс, и даже несколько учителей явились: не только классная руководительница, но и учитель физкультуры, и трудовик, и военрук. Прямо на перроне устроили шумный митинг, во время которого ребята читали стихи и говорили хорошие слова, а учителя глядели на Костю строго и торжественно и тоже говорили очень хорошо и проникновенно, понижая голос и важно кивая собственным мыслям. Костя от волнения плохо понимал смысл сказанного. Но он хорошо запомнил внимательные глаза военрука, одухотворенное лицо классной руководительницы и бойкую речь учителя физкультуры Анатолия Степановича.

А потом была дорога — семь долгих дней и ночей. Костя все время лежал на верхней полке, упершись подбородком в сцепленные руки и неотрывно глядя в окно. Его изумила и потрясла скорость, с какой двигался состав. Еще больше он был поражен бесконечными пространствами, которые все тянулись и тянулись за окном. Мимо пролетали серые поля и перелески, блестели там и сям слюдяные озера, уносились вдаль черные покосившиеся избы с тянущимися вверх дымками, вдруг мелькал полосатый шлагбаум, за ним машины и телеги с лошадьми, какие-то люди в мятых, грязных одеж-

дах и с усталыми лицами, — все летело и исчезало навсегда под железный перестук колес и посвист ветра.

Хорошо и жутко! Куда несется поезд? Что там — за холмистой линией горизонта? Вот она медленно приблизилась, вот проплыли мимо невысокие холмы, а вдали точно такой же горизонт, такие же возвышенности и такое же небо — то мутное, то прозрачное, то светлое, то погружающееся во тьму.

Ночью было еще чудней. На землю опускался непроницаемый мрак, и тогда казалось, что вагон никуда не едет, а это какое-то чудовище схватило его своими мощными лапами — и ну толкать да потряхивать! Лишь изредка из черной мути за окном вдруг выскакивал призрачный фонарь и тут же уносился прочь, оставляя на черном стекле огненный след. Тогда Костя понимал, что поезд по-прежнему мчитя вперед, не сбавляя скорости, не меняя курса, стремительно пронзая безлюдные ночные пространства. Душу наполнял жуткий восторг, мальчик сам себе казался героем, который спешит навстречу опасностям и невероятным приключениям. И он торопил минуты, мысленно ускоряя ход времени: вот сейчас железная машина оторвется от земли и полетит по воздуху, набирая скорость и делаясь невесомой... Костя переставал ощущать свое тело, мысли обретали свободу и легкость, и вот он уже летит среди звезд в крошечной тьме, внизу медленно плывет уснувшая земля, а вокруг на миллионы миль ледяная пустота, лишь вдали вспыхивает и разливается нежное сияние — там ждет его отец, там сказочный город первопроходцев и золотоискателей! Так сон мешался с явью, мечты переплетались с реальностью, а действительность утрачивала свою тяжелую материальность, уступая место волшебным грезам.

Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и это необыкновенное путешествие. Десятого мая тысяча девятьсот тридцать седьмого года, ранним утром, поезд прибыл во Владивосток. Костя ловко спрыгнул с высокой чугунной ступеньки вагона на каменный перрон. В руках его был небольшой фанерный чемоданчик, с которым он каждое лето ездил в пионерский лагерь. Увешанные тюками пассажиры торопились мимо него к подземному переходу. Навстречу им двигались точно такие же пассажиры с узлами, спешащие на поезд. Кругом царил суматоха, а до Костика никому не было дела, никто даже не глянул на него. Ему стало немного беспокойно, он шмыгнул носом и переложил чемоданчик в другую руку.

В эту секунду кто-то тронул его за плечо. Костя повернул голову. Перед ним стоял военный — черная фуражка с золотой кокардой, синий китель со стальными пуговицами, строгое лицо — и пристально смотрел на него, будто хотел выведать тайну.

— Ты Костя Кильдишев? — спросил военный, сделав ударение на первом слове.

Мальчик неуверенно кивнул, облизнул пересохшие губы.

— Очень хорошо, — улыбнулся военный. — Твой отец попросил тебя встретить. Ты как, нормально доехал? Ничего в поезде не забыл?

Костя обиженно хмыкнул.

— Не забыл. А вас как зовут?

— Николаем Ивановичем. Мы с твоим отцом вместе воевали, еще в Гражданскую. Да ты не робей! Я тебя в обиду не дам.

— Я и не робею, — сказал Костя уже смелее. — А когда мы поедем в порт, на пароход?

— Да прямо сейчас. А чего тянуть? Время теперь, брат, такое, что некогда ворон считать! — Николай Иванович быстро глянул по сторонам и снова устремил глаза на Костю. — Ну что, пошли?

— Ага!

— Смотри не отставай! Ты уже большой, я тебя не буду за руку брать. Да тут недалеко.

И, повернувшись, военный быстро пошел вдоль перрона к темному зеву подземного перехода.

Они спустились по ступенькам в гулкий каменный тоннель, где было зябко и темно, потом поднялись по длинной широкой лестнице — и вдруг оказались на большой привокзальной площади. Все здесь было незнакомо и странно. Здание вокзала напоминало старинную китайскую пагоду, земля под ногами имела странный бурый цвет и скрипела при каждом шаге, в воздухе чувствовался резкий неприятный привкус. Позже Костя узнал: так пахло море, до которого было всего несколько сотен метров.

Николай Иванович кинул на Костю многозначительный взгляд.

— С комфортом поедем! — заодно произнес он и помахал кому-то на площади.

Через несколько секунд к ним лихо подкатил легковой автомобиль черного цвета. Николай Иванович шагнул к нему, распахнул заднюю дверцу.

— Устраивайся. Как министра тебя повезем!

Костя сдержанно улыбнулся. Этот папин товарищ нравился ему все больше. Тут, на краю света, видать, все такие — веселье, уверенные в себе. Как же это хорошо, что он не остался дома и не побоялся сюда приехать!

С такими хорошими мыслями Костя залез в салон, сел на мягкое кожаное сиденье, а чемоданчик положил себе на колени. Николай Иванович устроился рядом. Поглядел в окно и кивнул водителю:

— Ну все, мы готовы! Езжай прямо в порт. Посадим мальчика на пароход. Знаешь, где «Кулу» стоит?

— Как не знать! Уже третьи сутки грузится, — со вздохом ответил водитель, не поворачивая головы. — Знатный пароход.

— Третьи сутки, говоришь? — задумчиво повторил Николай Иванович. — Вот и славно! Мы его к радистам поселим. Есть у меня там один знакомый. Не откажет. — Он вдруг повернулся, в упор посмотрел на Костю. — Ты только сильно там не разгуливай. На палубу без надобности не выходи. Это военный корабль, на нем строгая дисциплина, сам должен понимать. Слушайся старших, а если чего не понял — сразу спрашивай. И, главное, в трюмы не спускайся.

— Кто ж его туда пустит? — подал голос шофер. — Там охрана с винтовками, сильно не погуляешь.

Николай Иванович строго посмотрел на него.

— Ну, ты это... сильно-то не трепись! Напугаешь мальчика почему зря.

— Лучше сразу сказать, — возразил водитель. — Чтобы потом не удивлялся.

Николай Иванович глянул сбоку на Костю и отвернулся.

— Ничего. Не маленький. Сам все увидит.

Остаток пути проехали молча. Костя во все глаза смотрел в окно, но там все прыгало и тряслось. С мутного неба сеялся холодный мелкий дождичек, навевая тоску. Очертания предметов двоились, краски были стерты, все вдруг стало сумрачно и неинтересно.

Зато когда заехали в порт, Костя оживился. Словно бы в дымке, перед ним тускло чернел залив; береговая линия делала причудливые зигзаги, вдоль берега выстроились, как на параде, огромные корабли — с высокими мачтами и толстыми дымящими трубами. Особенно его поразил один корабль, вытянувшийся на целую версту. Хорошо был виден нос с притянутым к борту черным якорем. Страшно высокие борта (верхняя половина светлая, а нижняя — черная), палуба со множеством мачт, странных прямоугольных сооружений, мятых тентов, снастей — все растворялось в колеблющейся серой мути. Трудно было поверить, что эта громада сможет сдвинуться с места и куда-то плыть, что она не стоит на дне, глубоко погрузившись в него и увязнув навеки. Но из трубы шел черный дым, на палубе сутились какие-то люди.

— Вот он, красавец! — не удержался Николай Иванович. — Уже пары развел. Вечером уйдет. — И, обернувшись, внушительно произнес: — Повезло тебе, брат!

Костя нерешительно кивнул. Насчет везения он пока что сомневался. Корабль ему не понравился: было в нем что-то неприятное, тяжелое, пугающее.

Но автомобиль уже подъезжал к пирсу. Водитель резко дал по тормозам, и машина, качнувшись, встала.

Выбравшись наружу, Костя ощутил промозглый холод. От воды несло стылостью, как из погреба, цвет у нее был мутный. Страшно было подойти к самому краю отвесной стенки, уходящей в жуткую глубину: упадешь в эту мусть и сразу же пойдешь на дно, а там скользкие рыбы с холодными носами и морские чудища со щупальцами и клыками. Костя передернул плечами и отступил.

К ним приблизился красноармеец с винтовкой за плечом, стал о чем-то спрашивать Николая Ивановича. Тот живо отвечал, поминутно кивая то на Костю, то на пароход. Потом вынул из внутреннего кармана сложенную вчетверо бумажку и подал красноармейцу. Тот внимательно ее рассмотрел, скосил глаза на Костю и коротко кивнул. Развернулся и быстро пошел прочь, притягивая за ремень винтовку к правому плечу.

Николай Иванович повернулся к Косте.

— Ну, вот все и устроилось! Сейчас за тобой приедут. Погрузка уже закончилась, еще немного — и не успели бы.

Костя зябко поежился.

— Что, холодно? — воскликнул Николай Иванович. — Ничего, привыкнешь. Тут, брат, еще терпимо. А вот там, где отец твой живет, — вот уж там держись! Летом-то ладно, еще ничего, зато зимой морозы под пятьдесят и ветер такой, что с ног сшибает. Ну да ведь ты только на лето едешь. Осенью небось назад вернешься, к мамке?

Костя пожал плечами.

— Поглядим...

— «Поглядим!» — передразнил Николай Иванович. — А учиться кто за тебя будет? В школу-то кто будет ходить? — Он вдруг обернулся и радостно закричал: — О, вот и катер за тобой идет!

Через минуту к причалу приблизился, раскачиваясь на волне, довольно большой катер. Высокие железные борта скрывали палубу, виднелась лишь прямоугольная рубка с флагштоком.

Николай Иванович повел Костю к трапу.

— Эй, кто там, принимайте пассажира!

Судно опасно раскачивалось, поминутно ударяясь в причал.

— Давай шевели ластами! — грозно крикнули с катера.

Костя осторожно ступил на узкую лесенку с поперечинами, преодолел, балансируя, несколько метров и прыгнул на ходившую ходуном палубу.

— Молодец! — крикнул с берега Николай Иванович. — Передавай от меня поклон отцу!

— Ладно, передам! — обещал Костя.

Катер уже отваливал. Палуба вдруг затряслась, как в лихорадке, где-то далеко внизу забурилась вода, берег стал медленно отдаляться. Катер закладывал длинную дугу, потом вдруг заревел и, подняв нос, понесся прочь, разваливая мутную воду словно плугом и оставляя позади широкий пенный след.

На пароходе Костя устроился неплохо. Ему сделали спальное место прямо в радиорубке. Это была крошечная кабинка, набитая аппаратурой, стоявшей повсюду: на прямоугольном железном столике, на привинченных к стенам полках и даже на полу. К столику был вплотную придвинут массивный железный стул, на котором важно восседал радист. Позади радиста оставался узкий проход; там-то и соорудили Косте лежанку из трех досок, благо места мальчик занимал немного. С утра он обычно гулял по влажной от соленых брызг палубе, поднимался по железным ступенькам в рубку капитана и подолгу смотрел оттуда на сизую гладь Японского моря; потом отправлялся на нос, где было посвободнее, и, усевшись на деревянный ящик, любовался через высокий борт на колеблющийся горизонт и блистающие дали. Не пускали его лишь на корму. Там все время происходило какое-то движение, стояли часовые с винтовками, а проходы были загромождены контейнерами и мешками. Трижды в день Костя ходил в столовую, где ему наравне со взрослыми наливали в алюминиевую миску борщ, а на второе накладывали макароны с котлетой по-флотски.

Все было замечательно — первые три дня. А потом началась сильная качка, и Косте стало не до прогулок и не до котлет. Он пластом лежал на своем лежаке, сдерживая тошноту и пытаясь найти равновесие. Палуба ходила ходуном, корабль то жутко ухал вниз, то вдруг выдирался из пучины всей громадой — лишь затем, чтобы повисеть несколько секунд в зыбкой пустоте и снова ухнуть в бездну. Так целый день, ночь и еще один нескончаемый день, наполненный промозглым ветром, грохотом и жутью. Палубу то и дело заливало водой, холодные брызги летели со всех сторон, вокруг ничего нельзя было разглядеть — лишь водяная мгла за бортом, рваные края низких туч

да крепкий посвист ветра в снастях. Так Костя узнал, что такое шторм и что это за штука — морская болезнь.

Матросы лишь посмеивались, глядя на его позеленевшее лицо.

— Ничего, браток, это только попервости тяжело, а потом привыкнешь! — говорили, снисходительно улыбаясь.

Костя не верил таким посулам. Но к исходу вторых суток понемногу стал возвращаться аппетит, тяжесть ушла из живота куда-то вниз, словно бы растворившись в палубе под ногами, а щемящее чувство в груди сменилось странной пустотой. Он снова стал наведываться на камбуз и съедать завтраки и обеды. Только начинал теперь с компота. Выпив стакан мутного кисленького напитка и посидев пару минут со скучающим видом, он как бы нехотя принимался за котлету, потом собирал с тарелки расползшиеся макароны, а затем съедал борщ, казавшийся необыкновенно вкусным.

Так мало-помалу он вернулся к нормальной жизни и вскоре снова гулял по палубе и мечтательно глядел на пустынные серые воды. Они уже плыли по Охотскому морю. Стало заметно холоднее, потом и льдины появились: темные, угрюмые, словно сделанные из чугуна, они медленно покачивались на волнах и куда-то плыли по своим делам. Костя провожал их долгим взглядом и лишь потом догадывался, что это корабль движется вперед, а льдины раскачиваются на месте. Некуда им плыть, да и незачем. Никто их не ждет.

На седьмые сутки плавания выглянуло солнце, и все вокруг заиграло красками, заискрилось, возрадовалось! Открылся берег во всю ширь и во всю неохватную даль. До него было несколько десятков километров, но вода скрадывала расстояние — и берег казался неправдоподобно близким: протяни руку и достанешь! Но, по правде сказать, там не было ничего интересного: голые безлесные горы мутного цвета, ущелья под накидками фиолетовой тени, бурые валуны, обнаженная, словно бы распахнутая настежь земля, а на вершинах гор — снежные шапки и лед. Мертвящее дыхание стывших вод глушило жизнь на этих диких берегах. Нигде ни дымка, ни намек на жильё и никаких следов человека. Гораздо интереснее было смотреть в другую сторону, где только вода — много воды! Сверкающий в ярких солнечных лучах океан синел и круглился на горизонте, играл желтыми бликами и словно бы скрывал что-то от людей; хотелось верить, что там, за этой синевой, за огненными искрами — неведомые страны и сказочные чудеса, там волшебство и необыкновенные люди! Костя рисовал в воображении роскошные тропические острова с белокаменными дворцами и золотыми шпилями, видел огромных чудо-богатырей, тяжело выходящих из воды, видел себя на тесных улочках средневековых городов, вдыхал пряные запахи и слышал таинственную музыку, льющуюся прямо с небес. Как бы он хотел попасть в такой город, блуждать по его затейливым переходам, вдыхать чужеземные ароматы и знать, что ему всё по силам и можно ничего не бояться!

Но пароход упрямо шел на север, словно был не в силах отдалиться от диких безжизненных берегов. Льдин становилось все больше, а воздух делался холоднее, небо постепенно теряло краски, и солнце незаметно поблекло, умерило свой блеск. Одно только и радовало: плыть оставалось недолго. Вот-вот они войдут в Амахтонский залив, а там и до Нагаевской бухты недалеко. И Костя торопил события, пораньше укладывался спать, чтобы



поскорее наступило утро; проснувшись, спешил на камбуз и ел там перловую кашу и хлеб с маслом; внимательно прислушивался к низкому вибрирующему звуку, исходящему из мрачных пароводных глубин, где работали мощные механизмы, упрямо толкавшие гигантский корабль через упругую, сопротивляющуюся воду. Ему представлялся маслянистый маховик, без усталости вращающийся в самом низу судна-исполина: огромный винт с бешеной скоростью разгоняет ледяную воду и посылает тяжелый корабль, дрожащий от адского усилия, вперед — к подвигам и славе!

Костя не знал того, что знали все матросы, радисты и другие взрослые этого плавучего мирка. В утробе исполинского корабля был не только залитый кипящим маслом железный маховик, не одни лишь гигантские топки и чумазые кочегары; там, среди стальных перегородок, втиснутые в узкие ячейки четырехэтажных нар, без света и почти без воздуха томились три тысячи заключенных. Их везли туда же, куда и Костю, — в бухту Нагаева, в суровый Колымский край. Каждый из этих несчастных не раздумывая отдал бы половину своей жизни только за то, чтобы не плыть на этом страшном корабле, не чувствовать каждую секунду противную дрожь пола и перегородок, не дышать спертым воздухом, изнывая от мучительной жажды и тесноты. Всех этих несчастных Костя увидел, когда пароход уже прибыл в порт назначения.

Произошло это на одиннадцатый день плавания.

Ранним утром, щурясь от резкого солнечного света, Костя выбрался на сырую палубу, огляделся по сторонам и замер. Пароход стоял у деревянного причала метрах в ста от берега. Разгрузка уже шла полным ходом. На берегу образовался коридор из красноармейцев с винтовками наперевес. По этому коридору медленно передвигались измученные люди с опущенными головами. Одеты они были причудливо: кто в длинном пальто с развевающимися фалдами, кто в гражданском костюме, а кто — в гимнастерках и галифе; были тут бородатые жители деревни в каких-то немислимых зипунах, служители церкви в черных рясах, рабочие в спецовках, а один высокорослый гражданин с пышной шевелюрой шествовал в роскошном бархатном костюме лилового цвета. Каждый нес в руке чемодан или саквояж; поклажа эта сильно мешала при ходьбе. Мужчина в черном длиннополом пальто закачался на зыбких сходнях и уронил чемодан в воду. Хотел было прыгнуть за ним, но к нему бросился боец с перекосившимся лицом, заорал, ударил прикладом в плечо. Человек закрылся рукой, покорно опустил голову и пошел по сходням дальше, а чемодан еще долго раскачивался на волнах, ударяясь в железный борт и словно просясь обратно к хозяину.

Костя не знал, на что решиться: бежать к сходням, чтобы поскорее попасть на берег, или стоять и ждать, когда вся эта толпа рассеется. Он догадывался, что к трапу его сейчас не подпустят. Да и страшно было приближаться к озлобленным солдатам с винтовками, не хотелось мешаться с толпой грязных поникших людей... Но на берегу его ждал отец!

Костя поднял голову и ахнул — такая вокруг была красота. Пароход стоял в живописной бухте. Берег напоминал гигантскую подкову с далеко выдавшимися ветвями. Сразу за узкой песчаной полосой начинался густой лес, низкорослые деревья наперегонки взбегали по крутому склону до само-

го верха, образуя сплошной зеленый ковер. Над всем этим уходило ввысь бездонное темно-синее небо. С правой стороны из-за волнистой линии гор ярко светил огненно-желтый диск. Костя сразу отметил эту особенность колымского солнца — насыщенный желтый цвет. И что вода не синяя, а свинцового оттенка. Все здесь было резкое, четко очерченное, с чистыми и сильными красками без полутонов. И воздух тоже резкий, холодный, с каким-то острым привкусом. То ли от этого воздуха, то ли от качки, а может, от обилия впечатлений, у Кости закружилась голова. Он схватился за холодные перила и зажмурился, стараясь унять слабость.

— А-а, вот ты где! — услышал он возглас и обернулся.

Перед ним стоял радист. Он широко улыбался, показывая мелкие белые зубы. Черная полоска усов растянулась от уха до уха. — Иди скорей на корму, тебя катер ждет! Отец твой прислал.

Костя опрометью бросился мимо радиста. Едва не сломав шею, слетел с крутой лестницы, сделал несколько зигзагов... снова лестницы и стальные перила... вихрем влетел в радиорубку, схватил свой чемоданчик и кинулся наружу. Ему казалось, что опоздай он хоть на секунду — и катер уйдет, а он останется на этом жутком парохоме.

Но ничего такого не случилось: катер ждал не только его. В него торопливо садились красноармейцы с винтовками и уже заняли почти все места. Но Косте тоже нашлось местечко, он ловко втиснулся между бортом и капитанской рубкой. Томительное ожидание, медленное покачивание на волнах, холодное дыхание безбрежного северного моря — и вот он уже несется прочь от мрачного высокого корабельного борта напрямик к берегу.

Дальнейшее происходило словно во сне. Чьи-то сильные заботливые руки помогли Косте выбраться из раскачивающегося катера на деревянные мостки. А там его уже ждал отец! Он подхватил сына и крепко прижал к себе, так что в первую секунду мальчик задохнулся и ничего не мог сообщить. Отец опустил его на доски и, отобрав чемоданчик, увлек за собой на берег. Там их ждал странного вида автомобиль — пикап с квадратной деревянной будочкой, в которой были крошечные прямоугольные оконца. Это была служебная машина отца, и будку эту он соорудил собственными руками (о чем с гордостью поведал сыну). Они влезли внутрь этого «чуда инженерной мысли», и машина не без труда стала подниматься по извилистой каменистой дороге, урча и переваливаясь, словно гусыня.

Лишь теперь Костя рассмотрел своего отца. Странное дело: тут, вдали от дома, тот больше походил на себя, нежели когда приезжал к ним среди ночи. Дома отец был неестественно возбужден и рассеян, словно всегда чем-то озабочен. Теперь же на его лице с крупными чертами лучилась улыбка, глаза смотрели внимательно, по-доброму. На нем были черные хромовые сапоги и новенький китель. Косте понравилось, что отец одет по-военному. Чувствовалось в этом что-то очень солидное и героическое. Не хватало только нагана. Но и наган у отца имелся, просто хранился в сейфе, потому что это не игрушка, а кроме того, наган могут украсть враги советской власти, которых кругом полно (Костя знал это из газет, да и отец об этом говорил).

А Борис Иванович Кильдишев смотрел на сына, словно не веря, что тот все же приехал к нему в такую даль. Но сын — вот он, сидит рядом,

и в руках у него тот самый чемодан, который Борис Иванович сам покупал ему четыре года назад в магазине «Детский мир».

— Ну как ты? — спросил отец весело. — Хорошо доехал? Не укачало на пароходе? Сильная качка была?

Костя чуть склонил голову, снисходительно улыбнулся.

— Да... было немного, — произнес он важно. — А так ниче, все нормально. Только очень уж долго! Я со скуки чуть не помер.

Отец удовлетворенно кивнул.

— Это ты верно говоришь. Добраться сюда непросто. Но ты молодец, выдержал! Мне радисты по рации передавали. Хвалили тебя.

Костя потупился. Подумал несколько секунд и вдруг вскинул голову.

— А кем ты тут работаешь? Ты ведь здесь начальник?

Отец усмехнулся, согласно кивнул.

— Ну... да, начальник, есть такой факт.

— А кем ты командуешь?

— Я радиосвязь обеспечиваю, работаю начальником управления. Без радио, брат, теперь никуда! Тут до меня вообще никакой связи не было. До Москвы десять тысяч километров. Если обычным путем отправлять почту, так на это два месяца уйдет. А мы здесь две радиостанции построили: одну в Нагаево, а другую на четырнадцатом километре. Теперь у нас с Москвой прямая связь, а это большое дело. Тут такие проекты разворачиваются, будь здоров! Постоянно что-то требуется: то продуктов завезти, то горючего, то специалистов разных... Вот я и обеспечиваю все это.

Костя внимательно слушал. Отец в его глазах превращался в очень важную фигуру. И сам он уже не просто мальчик, а участник важной миссии! Теперь он начнет помогать отцу, станет незаменимым и совершит что-нибудь такое, отчего все его товарищи ахнут, а учителя будут ставить его в пример. В жизни всегда есть место для подвига! Главное, хорошенько постараться, не упустить свой шанс.

Все эти мысли вихрем пронеслись в голове подростка. Но долго молчать ему показалось невежливым, и он снова спросил:

— А зачем две радиостанции? Наверное, это военная хитрость? Если одну станцию враги захватят, тогда мы отступим на вторую и будем оттуда передавать сообщения товарищу Сталину?

Отец согнал с лица улыбку, вдруг стал серьезен, строго глянул на сына.

— Не говори ерунды! Никто ничего не захватит. Это первое! — Он выразительно поднял указательный палец. — А главное, радиостанций должно быть две по регламенту. Одна передающая, а другая принимающая. Так полагается. — И, видя недоумение сына, похлопал того по плечу: — Ничего, скоро все узнаешь. Главное, никуда не лезь без спроса. Это тебе не Новосибирск. Тут кругом военные, строгий порядок. И приехать сюда просто так нельзя.

Костя выслушал отца, потом задумался, будто что-то припоминая.

— А эти люди, которые с нами на пароходе плыли, — кто они?

— Какие люди?

— Ну которые на берег сходили, когда ты меня ждал. Их там много было, целая толпа.

Отец внимательно посмотрел на него.

— А разве тебе радисты не сказали?

Костя отрицательно помотал головой.

— Странно. Я думал, ты уже знаешь... Это заключенные. Враги народа. Тут их много. Прямо в поселке стоят лагерные зоны. Да ты сам все увидишь. Только будь осторожен, к заборам близко не подходи! Там охрана на вышках, могут и пальнуть.

Костя приблизил лицо к крохотному окошечку, но снаружи все прыгало, в узкий просвет ничего нельзя было разобрать. Лишь по реву двигателя да по наклону пола можно было понять, что машина натужно ползет круто в гору.

К счастью, путь оказался не очень далеким, через двадцать минут они уже въезжали во двор склада связи. Машина дернулась последний раз, качнулась и встала; мотор смолк. Вдруг наступила звенящая тишина.

Отец распахнул дверцу.

— Выходите, милорд, мы уже на месте!

Костя выбрался из тесного салона, сделал несколько шагов по твердой каменистой земле и остановился. Они находились на огороженной со всех сторон покатою площадке. Напротив ворот расположилось несколько строений: высокий деревянный ангар, двухэтажные склады, длинный приземистый дом из потемневшего бруса и еще один домик, сколоченный из крепких свежеструганых досок. С левой стороны, поверх высокого забора, виднелся крутой склон горы, покрытый хвойным лесом. За этим склоном виднелся другой — он казался меньше и темнее, за ним — третий, и так до самого горизонта: убегающие вдаль покатые склоны в густом хвойнике. Надо всем этим океаном зелени широко раскинулось необъятное небо, до самой глубины заполненное прозрачной синевою. От этой картины веяло восторгом и жутью, девственная северная природа дышала вольно и широко, вызывая в душе смутные чувства. Костя опустил чемодан на землю; не отрывая взгляда от завораживающей картины, медленно выпрямился.

— Что, нравится? — спросил отец. — Ничего, привыкнешь. Тут всё леса да горы. Автобусы не ходят, поездов тоже нет. Глушь, одним словом. На тысячи километров во все стороны — никакого жилья.

Костя улыбнулся. Это было то самое, чего он и ждал! Чтобы никакой цивилизации, никаких благ, чтобы каждодневный риск и трудности, которые обычно человеку и не снились!

— А можно мне пойти туда? — спросил, кивнув на горы.

Отец удивленно посмотрел на него.

— Зачем?

— Посмотреть охота, что там.

Отец подумал секунду, потом кивнул.

— Хорошо, как-нибудь сходим. Хотя тут медведей полно, и вообще... Я тебе уже сказал: шибко тут не разгуливай. Пообвыкнешься чуток, тогда можно будет. А пока что сиди дома, занимайся уроками. Ты школу как закончил? Много троек?

Костя потупился.

— Есть чуть-чуть. Но я все исправлю!



— Вот-вот, я и говорю: налегай на учебу! Это на сегодняшний день твоя главная задача. Станешь инженером или геологом — и все дороги для тебя открыты. Тут полно полезных ископаемых. Золото в земле лежит, алмазы, олово есть... Надо только суметь взять все это. И тогда мы выстоим. Никакой враг нам будет не страшен, все преодолеем!

Отец по-прежнему улыбался, но в его взгляде появилось что-то такое, отчего лицо приобрело значительность. И сын вдруг почувствовал настроение отца, его одушевление и веру, какие срывают людей с насиженных мест и бросают на самый край земли — на подвиг. В эту минуту мальчик решил сделать все, чтобы не подвести отца, выполнить его наказ. Перед ним неоглядные дали, в которых таятся несметные богатства, которые так нужны Родине. И Костя овладеет всеми премудростями науки, научится находить золото в неподатливой земле, сделает так, что все удивятся его способностям, умению работать и выполнять труднейшие задания. Как же это хорошо, что он приехал сюда, не побоялся трудностей, не остался дома, где все одно и то же и где нет этого простора и этого щемящего чувства свободы, когда словно бы вырастают крылья и хочется взлететь к синим небесам, к ясному солнцу и любоваться оттуда чудесным миром, чувствуя себя его властелином!..

Отец смотрел на сына и видел эту причудливую игру чувств на скуластом подвижном лице. Глаза мальчика сверкали, ресницы трепетали. Отец вспомнил книгу «Пятнадцатилетний капитан» и ее героя — юного матроса Дика Сэнда, принявшего на себя командование китобойным судном. Его сын, пожалуй, тоже смог бы стать капитаном — вон как блестят глаза, сколько неподдельной отваги в лице, сколько отчаянной смелости! Его вдруг захлестнула волна нежности. Он вспомнил свое нелегкое детство, и все эти книги, которые читал длинными зимними вечерами при колеблющемся свете свечи, и то, как тоже мечтал о подвигах и путешествиях в дальние страны. И вот перед ним его сын — точно такой, каким он сам был тридцать лет назад. Но перед Костей открыты все дороги, ему не нужно бежать на фабрику ранним морозным утром и целый день работать на проклятых капиталистов. Первая в мире Страна Советов дала ему образование и широко распахнула двери: живи, работай, открывай новые земли, совершай подвиги во славу Родины!

Этот восторг, правда, омрачался знанием того, что за живописными сопками, среди темных распадков, по берегам ручьев и рек устроились во множестве исправительно-трудовые лагеря, в которых содержатся враги советской власти. Трасса уходила дальше на север, вглубь материка, и лагерей становилось все больше, они гнездились вдоль тысячеверстной дороги, расплзались от нее в обе стороны, словно раковые метастазы.

Каждую неделю из Владивостока приходил пароход с заключенными. Несколько тысяч человек неуверенно сходили на берег и брели в гору по усеянной камнями дороге, вздымая тучи пыли и кляня судьбу. Промаявшись несколько недель в огромном пересыльном лагере на шестом километре, этапы уходили дальше на север. Обрато никто не возвращался. А пароходы из Владивостока всё шли и шли. Колонны людей каждую неделю уходили в тайгу. Что с ними? Живы ли они? Этого Борис Иванович не знал. А если бы и знал, то не сказал бы сыну. Раз кого-то арестовывают и посылают в эту северную глушь, значит, так надо! Идет борьба двух миров, и все

они — солдаты. И сын его — тоже солдат, хотя еще не знает этого. Все они борются за правду, за лучшую долю, за справедливость во всем мире.

Вот только в последнее время стали закрадываться сомнения. Откуда в стране победившего социализма такая тьма врагов? И почему заговорщиками объявлены ближайшие соратники Ленина: Зиновьев, Каменев, Радек, Пятаков, Сокольников, Смирнов, Бакаев и сам Троцкий?

Этой зимой, в последних числах февраля, сотрудники НКВД пришли за Алексеем Ивановичем Рыковым. А несколько дней назад Кильдишев-старший получил радиogramму с новой поразившей его вестью: в Москве взят под арест Глеб Иванович Бокий! Обоих Борис Иванович знал лично. С первым долгое время работал в ЧК еще в двадцатые годы, а второй был его прямым начальником по ведомству радиосвязи. Рыков в двадцать четвертом году стал преемником Ленина на посту председателя Совнаркома. Бокий — член партии с девятисотого года, человек бесстрашный и решительный, ближайший соратник Дзержинского, лично создававший все эти революционные органы: ВЧК, ОГПУ и НКВД; его именем назывался огромный пароход, на котором плавал товарищ Сталин.

Видно, в мире происходит что-то такое, что выше его разумения. С другой стороны, солдат не обязан понимать замыслы главнокомандующего. Его дело — исполнять приказы. А думают пусть другие!

Отец испустил глубокий вздох. Улыбка сошла с его лица, словно растворялась в мягких чертах, уйдя в глубину. Лицо сделалось строгим и внимательным, взгляд — отсутствующим.

— Ладно, — сказал он раздумчиво, — пошли в дом. Подкрепимся, а потом ходим в поселок. Ты ведь, наверное, хочешь есть?

Костя с готовностью кивнул.

Отец с сыном прошли мимо складов и свернули к небольшой избушке, сложенной из толстых бревен. Костя во все глаза смотрел на это сказочное сооружение.

— Что, нравится? — спросил отец. — Это я сам тут все придумал! По моим чертежам этот домик построили.

Домик и в самом деле был хорош: крохотное крылечко с левой стороны фасада, выше его и правее — квадратное окно с двойными рамами. Высокая треугольная крыша, а под крышей — чердак с крошечной дверцей. Ни дать ни взять — сказочный теремок!

Внутреннее убранство также поразило Костю: медвежьи шкуры на полу и на стенах, тяжеловесные деревянные столы, стулья, лежанки. Большая русская печь, занимающая треть площади, крохотная кухонька с рукомошкой, по стенам на гвоздиках висит одежда...

— Располагайся. Вот твоя кровать, будешь на ней спать. — Борис Иванович показал на лежанку у дальней стены, возле окна. — Клади свои вещи и садись к столу. Я к твоему приезду борщ сварил. Я тут сам готовлю на печке. Дело-то нехитрое. Нужда заставит — всему научишься! У меня тушенки целый ящик. Первейший продукт в нашем деле!

Через несколько минут Костя оценил кулинарные способности отца. Густой наваристый борщ с тушенкой, гречневая каша с маслом, компот из сухофруктов — все было необыкновенно вкусным.



Затем они отправились в поселок. Погода стояла солнечная, ясная. С правой стороны дороги открывался чудесный вид на бухту в форме подковы; с моря то и дело налетал ледяной ветер, и тогда кусты стланика и деревья наклонялись, словно пытаясь укрыться от мертвящего дыхания северного моря. Прямо и левее как на ладони открывался округлый, словно в амфитеатре, пологий склон с хаотично разбросанными по нему деревянными строениями всех форм и размеров. В некоторых местах глаз видел замкнутые прямоугольные площадки за сплошным высоким забором, с длинными приземистыми бараками, большими армейскими палатками и еще чем-то таким, что издали разобрать было трудно. Уже в поселке Костя разглядел и сторожевые вышки, и колючую проволоку поверх ограждений, увидел множество военных в гимнастерках и в сапогах; попадались и гражданские лица, но этих было гораздо меньше. А еще на каждом шагу встречались заключенные, группами и поодиночке. Все они были в мятых серых штанах и в бесформенных бушлатах, в куцых шапчонках, все какие-то костлявые, с угрюмыми заросшими лицами и странно неподвижными взглядами.

— Это расконвоированные, — вполголоса объяснял отец. — Им разрешается ходить по городу. Но ты к ним не приближайся, в разговоры не вступай. Если будут спрашивать о чем-нибудь, сразу зови на помощь. Обращайся к военным. Милиции тут нет.

— А почему нет милиции? — последовал вопрос.

— Не успели еще. Да ты не переживай, все будет со временем. Дай только срок! — бодро отвечал отец.

Косте поселок не понравился. Везде какие-то халупы, высоченные заборы из кривых неокрашенных досок и такие же кривые улочки; всё сплошь косогоры, камни, едкая пыль под ногами. Холодный ветер гуляет поверх голов, солнце равнодушно светит с высоты, и вокруг как-то неуютно, не прибрано, отовсюду веет чем-то глубоко чуждым и враждебным. Костя ожидал совсем другого. Уж что-нибудь одно: или полный ужас — или волшебная сказка; или сплошное геройство — или совершенная жуть! А тут ни то ни се. Сказка, она вроде бы и есть — но где-то там, очень далеко, за горами и долами, в убегающей перспективе темнеющих сопок. А здесь какая-то дичь — почти то же, что в его родном городе, в рабочей слободке, где он родился и вырос. Считаю, такие же косогоры, камни, грязь, покосившиеся дома и синее небо над головой.

Но особо расстраиваться было некогда. Борис Иванович, как умел, рассказал сыну правила местной жизни, много говорил о бдительности и внутренней дисциплине в таких непростых обстоятельствах, объяснил в общих чертах внутреннее устройство поселка, а потом они вернулись домой. Наказав Косте никуда не уходить, отец взял планшетку с бумагами и отправился на работу; сказал, что вернется ночью.

С этого дня у Кости началась странная, ни на что не похожая жизнь. В школу ему ходить не надо было по причине летних каникул, но и дома не сиделось. Отец с утра до позднего вечера пропадал на службе, каждую неделю выезжал в командировки, нередко и с ночевками. Косте надоело торчать дома одному, и он стал упрашивать отца взять его с собой в поезд-

ку. Обещал вести себя тихо и никому не мешать, а напротив, помогать чем только можно и быть бдительным. Борис Иванович посмотрел на него с сомнением, но потом кивнул.

— Ладно. Завтра и поедем.

— А куда? — Костя в нетерпении вскочил с постели. — Золото будем искать, да?

Отец усмехнулся.

— Нет, золото геологи ищут. А мы связисты, мы тут связь устанавливаем. Только ты об этом не болтай. Здесь каждый делает свое дело и помалкивает!

— Я и не собирался никому говорить, — ответил Костя, опустив голову и вдруг смутившись.

Припомнилась недавно произошедшая драка, когда к нему привязались два каких-то местных оболтуса. Это было в поселке, днем, сразу после обеда. Костя прогуливался от нечего делать, как вдруг к нему подступил длинный белобрысый парень с нахальной мордой и развязно спросил, ткнув пальцем в грудь:

— Ты кто такой? Чего тут шарисься?

Костя в первую секунду опешил, отступил на шаг. Парень смотрел нагло и насмешливо. Рядом встал его приятель — худой, смуглый, с неприятным и словно бы перекошенным лицом.

— Я тут гуляю, — ответил Костя с вызовом. — А тебе какое дело?

— Гуляет он! — Белобрысый обернулся к приятелю. Тот выразительно хмыкнул, будто услышал несусветную чушь.

Белобрысый вперил немигающий взгляд в Костю.

— Вот что, еще раз увижу здесь — пинков навешаю. Всю жопу тебе распинаю. Понял?

Костя сжал кулаки. Слабаком он не был, а уж трусом и подавно. Иначе не приехал бы сюда. Отец у него герой, вот и ему нельзя отступать.

Пригнув голову, он яростно прошипел:

— Как бы я сам тебе пинков не навешал! Смотри, это у меня быстро! Потом неделю будешь задницу чесать!

Белобрысый опешил. Его спутник дернул кадыком. Последовала непродолжительная пауза, а потом все смешалось: и не понять, кто на кого бросился первым. Но через минуту белобрысый парень сплевывал кровь на землю, а его приятель стоял, мерно раскачиваясь и держась обеими руками за живот, словно внутри у него было озеро и он удерживал его, чтобы не расплескалось. Косте тоже попало по зубам, но не так чтобы очень сильно. Его противники не знали, что он три года занимался боксом в обществе «Локомотив» и кое-что вынес из спортзала, в котором проводил по восемь часов в неделю. С левой он бил хорошо и крепко, а с правой — вообще так, что лучше и не надо. Белобрысому Костя зазвездил правым хуком по зубам, его приятель получил хороший ударчик с левой в «солнышко». Обоим этого хватило, чтобы отступить и переменить тон.

— Ну смотри, мы с тобой еще встретимся! — прощамкал белобрысый разбитыми деснами.

— Я тебя урою, олень! — неуверенно поддакнул второй задира.



— Ага, давайте, буду ждать! — бросил Костя, повернулся и пошел своей дорогой.

Отцу он об этой драке не сказал. У того своих дел полно. Незачем ему вникать в подобные глупости.

Однако эта история имела продолжение. Белобрысый парень оказался сыном довольно высокого чина — начальника Колонбюро.

Отец его заправлял всеми так называемыми колонистами — крестьянами, получившими свои сроки по анекдотическому «закону о колосках». Таким осужденным было предложено освобождение из лагерей, если они согласятся жить без паспортов и примут обязательство не уезжать с Колымы на весь период неотбытого срока плюс еще два года. Тем, кто согласился, разрешили проживать в специальных колонпоселках, им предоставляли дом, сельхозинвентарь, скотину, они могли также вызвать к себе семью с материка. И хотя они все равно считались заключенными, но это уже был не лагерь, не золотой забой, не казарма в худшем ее варианте. Не удивительно, что почти все, кому предлагали, предпочли перебраться из ледяных бараков в избы, избавиться от конвоя и от произвола блатных. Хотя охрана в таких поселках и присутствовала, а режим был полувоенный, полулагерный, но это не шло ни в какое сравнение с золотыми приисками, где работали на износ.

Всем этим людям — бесправным, униженным, обманутым, оскорбленным творимым произволом — командовал отец белобрысого паренька. Чувство собственного превосходства, ощущение ничем не ограниченного могущества, как всегда бывает, исподволь передалось от отца сыну. И когда сын вдруг получил по зубам среди бела дня от какого-то фраера, это сразу стало известно не только отцу-начальнику, но и его подчиненным. В конце концов виновник расправы был установлен. Случилось это не сразу и могло иметь серьезные последствия не только для Кости, но и для Бориса Ивановича. Для него — в первую очередь.

Костя же вскоре забыл об этой стычке. Мало, что ли, он дрался дома? Эка невидаль! Почитай, каждую неделю то с соседней улицы шпана нагрянет, а то из-за реки припрется кодла с цепями и кастетами... Это время такое было, такая была у них у всех закалка. Отцы их воевали и никому не давали спуска, стало быть, и сыновья должны поступать так же.

Как бы там ни было, а на следующее утро Костя с отцом отправились в поездку. Отец разбудил его в половине шестого. За окном было уже светло. Выйдя на воздух, Костя с удивлением огляделся. Солнце еще пряталось, а от неба исходило странное свечение. Вокруг была полумгла-полусвет. Предметы не отбрасывали теней, и все контуры и масштабы изменились, все вокруг казалось нереальным, бесплотным.

Поеживаясь от ледяной сырости, Костя забрался в кузов полуторки и сел на низкую скамью возле правого борта. Отец устроился рядом, и еще несколько человек с хмурыми отечными лицами расселись вдоль низких бортов. Сверху на головы накинута кусок брезента, и машина, заурчав, поехала со двора.

Сначала довольно быстро катились под гору. Справа дышал холодом залив, а слева тянулся склон, поросший густым лесом. Въехали в поселок и сразу повернули. Полуторка стала подниматься в гору, натужно рыча

и дергаясь как в лихорадке. Через пять минут последовал еще один поворот, и машина пошла ровно, набирая скорость.

— На трассу выбрались, — тихо произнес отец, приблизив лицо.

Костя важно кивнул: мол, понял, знамо дело.

Борис Иванович поправил брезент над головой, чтобы не дуло. И во время. Полупортка уже неслась, подскакивая на мелких неровностях, из-под колес летели камни, позади стеной стояла пыль. С левой стороны виднелся океан, рассеченный надвое длинным выступом. Справа от выступа была Нагаевская бухта, а слева — бухта Гертнера. В обеих бухтах стояли на рейде корабли. Костя представил, что в трюмах томятся люди, скоро их выведут на палубу, и заключенные пойдут по качающимся сходням на берег, роняя в воду чемоданы, уворачиваясь от прикладов разъяренных конвоиров... Ему сделалось зябко, он прижал подбородок к груди, обхватил руками колени и крепко зажмурился. Не хотелось ни о чем думать, ничего видеть. Не такой он представлял себе эту поездку.

Их путь лежал в Палатку\*, до которой было восемьдесят километров. Там строился стационарный узел связи, нужно было принять на месте ответственные решения, дать задания техникам и рабочим, снабдить всех подчиненных чертежами и обеспечить необходимый настрой. Последнее было проще всего: настрой обеспечивался во время технического совещания, когда через каждые пять минут поминались решения партии и цитировались речи товарища Сталина и товарища Берзина. Первый (генеральный секретарь партии большевиков) был далеко и неизмеримо высоко, он казался солнцем, лучи которого достают повсюду. Второй (директор «Дальстрой»\*\*) был гораздо ближе и пониже рангом, но зато вникал в каждую деталь, не упуская ни одной, и хотя он почти никогда не повышал голоса и слыл человеком незлым, однако все его боялись и всякий раз ссылались на его непререкаемый авторитет. Заручившись поддержкой этих двух деятелей, можно было говорить все что угодно, то есть громыхать словами (не чураясь и матерных), стучать кулаком по столу и обещать отдать всех под суд, если только не будут вовремя установлены антенные фидеры и смонтирована приемопередающая аппаратура. Чем больше крику, тем лучше. Чем страшнее речи, тем усерднее будут работать те, кому эти угрозы адресовались. Закономерность эту вывели давно и пользовались ею постоянно, потому что на самом деле других рычагов у советской власти не было. Если бы они были, то людей не завозили бы сюда, словно скот, в трюмах грузовых пароходов и они не жили бы долгими зимами в огромных, насквозь замороженных бараках или даже в обычных брезентовых палатках, получая за каторжный труд пайку слипшегося хлеба, миску мутной баланды и обещание немедленной расправы, если не будет выполнен план по добыче золота, или по отсыпке дорожного полотна, или по разработке касситерита\*\*\*.

Костю на техническое совещание, понятное дело, не пригласили. Не только потому, что там решались вопросы государственной важности

\* Палатка — поселок в Магаданской области. В описываемое время в нем находилось три лагерных пункта.

\*\* «Дальстрой» — в начале 1930-х гг. государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы.

\*\*\* Касситерит — оловянная руда.

(почти все они были строго засекречены, хотя и не очень понятно, от кого все время таились в этом Богом забытом краю), но еще и потому, что почти все ораторы перемежали свою речь отборной матерщиной.

Пока Борис Иванович таким образом «совещался», Костя бродил вокруг одноэтажного деревянного дома, на крыльчке которого стоял красноармеец с винтовкой за плечом. На Костю красноармеец не обращал никакого внимания, а тот, в свою очередь, уже стал привыкать к сверкающим на солнце штыкам, кирзовым сапогам и выцветшим пыльным гимнастеркам. Ему даже стало казаться нормальным, что все вокруг ходят в военной форме, а кто не в военной — так это или заключенный, или какой-нибудь геолог. Впрочем, здесь и геологи старались одеваться так же, справедливо рассудив, что быть военным на этой суровой земле вполне естественно: ведь все они здесь не работают, а воюют, не живут, а борются. Не с врагами, так с природой, которая откровенно враждебна человеку и наказывает его за малейшую оплошность.

Палатка Косте тоже не приглянулась. Трудно было назвать поселком это хаотическое нагромождение деревянных строений посреди обширной равнины, заросшей чахлыми кустиками и травкой. Улиц в привычном смысле в поселке не было. Строения лепились как попало. На каждом шагу были караульные вышки, трехметровые заборы с колючей проволокой, приземистые серые дома с узкими оконцами и угрюмый люд: ни улыбки на лице, ни намек на легкомыслие. Все куда-то спешат, все чем-то озабочены. Костя с трудом дождался конца совещания. Борис Иванович вышел во двор с мрачным выражением на лице и, уже подойдя к сыну, продолжал о чем-то думать, глядя себе под ноги. Костя не решался заговорить, ждал, когда отец его заметит. Наконец тот словно бы очнулся, шумно вздохнул и поднял голову:

— Ну что, измаялся, поди? Пошли в столовую, пообедаем.

— А потом домой? — вспыхнув от радости, спросил Костя.

Отец помотал головой.

— Нет, у меня тут еще дел полно. Терпи уж, раз сам напросился. Вечером уедем. Или завтра утром. Если еще одно совещание не назначат...

Остаток дня Костя слонялся по поселку. Забыв про запреты, выбрался за крайние дома и долго шел по пыльной каменистой дороге, сам не зная куда и зачем. Слева расстилалась поросшая блеклой зеленью равнина, то и дело вспыхивала солнечными бликами небольшая извилистая речка; дорога уходила за горизонт, к далеким горам, казавшимся невысокими и нестрашными, но донельзя скучными. Как ни старался Костя, как ни ускорял шаг, горы почему-то не приближались, а были все так же далеки и пустынные.

Часа через два он добрался до развилки. Влево уходила довольно широкая дорога, невдалеке виднелся деревянный мост через речку; за ним среди хлипких деревьев громоздились какие-то строения и опять заборы с проволокой и охранные вышки. Костя подумал несколько секунд и повернул обратно. Перспектива заблудиться в этом диком краю ему совсем не улыбалась. Вот и отец наказывал не уходить далеко. А ему, видать, теперь долго возвращаться. Чего доброго, машина уйдет без него! Костя подтянул брюки и прибавил ходу.

Через несколько минут, когда он бодро шагал по обочине, махая руками и настороженно посматривая по сторонам, его обогнала полуторатонка. Про-

ехала с десятков метров и резко остановилась, свернув на обочину. Из кабины выпрыгнул на землю военный в длинной шинели и с офицерской планшеткой на правом боку.

— Ты кто такой? Откуда взялся? Куда идешь? Быстро отвечай! — произнес он скороговоркой, подойдя вплотную и неприязненно глядя на подростка.

— Я в поселок иду. Меня там отец ждет, — ответил Костя, отступая.

— Какой отец? Фамилия?

— Кильдишев. Борис Иванович. Мы утром приехали из Магадана. У отца тут совещание. Вечером домой поедем.

Военный скривился. Худощавое лицо сделалось уродливым, тонкие губы растянулись, обнажив большие кривые зубы.

— Ладно, разберемся. — Он рубанул ладонью воздух. — С нами поедешь.

— Я не поеду! Меня отец ждет...

По лицу военного заходили желваки.

— Стоять смирно! Ты задержан до выяснения личности. — И, обернувшись, крикнул сидящему в кузове бойцу: — Никифоров, быстро иди сюда!

Костя попятился.

— Дяденька, вы чего? Мне в поселок нужно. Меня отец потеряет, у него важное совещание, а я прогуляться пошел...

— Складно поешь, — кивнул военный. — Но я все равно должен тебя задержать. Может, ты из лагеря драпанул, почему я знаю? Или из спецпоселка...

— Да вы что! Я сюда неделю назад на пароходе приехал. Дяденька, отпустите меня, пожалуйста!

Но дяденька не отпустил. Вдвоем с красноармейцем они забросили упирающегося подростка в кузов грузовика. Костя, помедлив, присел на пол у заднего борта, а красноармеец устроился на скамье возле кабины, положив винтовку на колени и строго глядя на задержанного. Военный забрался в кабину, громко хлопнул дверкой, и машина тронулась.

Одно успокаивало: полуторка направлялась в Палатку. Костя решил, что если грузовик вдруг куда-нибудь свернет, то он сиганет через низкий борт и скроется в кустах. Ему не верилось, что красноармеец будет в него стрелять. Но он зря так думал. Сидевший напротив детина не сводил с него глаз. Он видел, что парнишка зыркает по сторонам, и подозрение его усиливалось с каждой минутой. Он бы не колеблясь применил оружие, если бы Костя вздумал бежать. Красноармеец хорошо знал, что бывает за утерю бдительности. Это ничего не значит, что пацан прилично одет. В местных лагерях полно малолеток, ведь с тридцать пятого года в СССР и двенадцатилетних детей судили по всей строгости революционного закона. А цивильную одежду можно выменять у вольных или просто украсть. И даже если малец ни в чем не виноват, это ничего не меняет. Приказ командира нужно выполнять, иначе сам загремишь под трибунал.

Хорошо, что Косте не пришлось сигать через борт. От пули сидевшего напротив ворошиловского стрелка он бы точно не ушел. Да и куда бы он

делся на этой бескрайней равнине среди чахлах кустов и реденькой травки? И не таких ловили! И не таким крошили позвонки метко пущенной пулей, ломали прикладом винтовки кости и сносили череп. От доблестных бойцов НКВД еще никто не уходил!

Машина на полном ходу въехала в поселок и свернула на первом повороте. Затем еще один поворот и...

— Вылазь! Приехали.

Костя неохотно поднялся с занозистого пола. Машина стояла перед длинным одноэтажным домом, сложенным из больших бурых бревен. Широкое крыльцо в пять ступенек, на верхней возле двери стоял часовой с винтовкой. Красноармеец, который ехал с Костей в кузове, уже был на земле и держал винтовку так, будто перед ним не испуганный подросток, а голова-рез, от которого можно ожидать всего.

Взявшись левой рукой за низкий борт, Костя спрыгнул наземь.

Его завели внутрь дома. Несколько шагов по коридору — и узенькое пространство вдоль правой стены, отгороженное железной решеткой с крупными клетками.

— Заходи!

— Мне к отцу надо! — запротестовал было Костя.

— Разберемся, — невозмутимо ответил сопровождающий. — Шуруй давай!

Опустив голову, Костя повиновался. Железная створка с лязгом хлопнулась у него за спиной. Красноармеец ушел, гулко стуча каблуками по деревянному полу. Костя шагнул в угол клетушки, постоял секунду, потом опустился на пол. Прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Ранняя побудка, долгая тряская дорога и впечатления длинного дня утомили его. В голове зашумело, мысли стали путаться, и, уронив голову на грудь, он незаметно для себя уснул.

Эта история закончилась для Кости вполне благополучно. Его не избили, не бросили в камеру к уголовникам, не успели даже как следует допросить. Главное, отец не подвел — приехал довольно быстро, Костя успел только немного вздремнуть. Когда мимо ходили по коридору сотрудники комендатуры, он не реагировал, но стоило загреметь ключам и заскрежетать железному засову — сразу же открыл глаза.

Конвоир распахнул створку, отступил в сторону.

— Выходи! Амнистия.

Костя быстро поднялся, шагнул за порог.

— Какая амнистия?

— Иди-иди, там тебе всё объяснят! — И конвоир подтолкнул подростка в спину.

В кабинете оперуполномоченного сидел Борис Иванович, закинув ногу на ногу. На его губах была не подходящая случаю улыбка. Он старался казаться веселым, как бы предлагая уполномоченному вместе с ним посмеяться над случившимся недоразумением. Но уполномоченный сидел с застывшим лицом и глядел в сторону.

Увидев Костю, отец быстро поднялся, сделал два шага навстречу.

— Ну вот что с тобой делать! — воскликнул он с деланным возмущением. — Я же сказал тебе никуда не отлучаться! Чего ты поперся за поселок? Скажи еще спасибо товарищу лейтенанту, что подобрал тебя. А то неизвестно, чем бы все закончилось!

— Ничем бы не закончилось, — буркнул Костя, отводя взгляд. — Я бы сам дошел.

— Сам бы он дошел! — обратился отец к уполномоченному, который все сидел с мрачным видом, и кивком указал на сына. Потом опять резко повернулся к Косте. — Ты что, не знаешь, что тут полно беглых заключенных? Тебя убить могли! Кругом лагеря, я же объяснял! А ты что делаешь? Ну ничего, вот вернемся домой, я тебе всыплю как следует! Завтра же отправлю к матери на большую землю, раз не умеешь себя вести.

Костя вспыхнул, хотел что-нибудь сказать в свое оправдание, но глянул на хозяина кабинета — и слова застряли у него в горле. Он понурился и тихо проговорил:

— Я больше так не буду...

Отец махнул рукой.

— Какой-то детский сад! — Покачал головой и вопросительно глянул на уполномоченного. — Ну что, товарищ лейтенант, вопрос исчерпан? Можно идти?

Тот кивнул как будто через силу. Казалось, он вот-вот передумает.

Борис Иванович живо поднялся, взял Костю за руку и увлек за собой из кабинета.

Несколько шагов по гулкому коридору, широкие ступени крыльца, и вот они уже идут по твердой земле. Отец больше не улыбался, он шел пружинящим шагом, напряженно глядя перед собой и не выпуская руку сына. Костя искоса поглядывал на него и отчего-то робел.

Отец вдруг остановился, повернул к сыну побелевшее лицо.

— Ты что, не понимаешь, где находишься? — произнес он свистящим шепотом. — Тебя запросто могли в Магадан увезти, в дом Васькова! Я бы неделю тебя оттуда вызволял!

Костя неуверенно улыбнулся. Его поразила эта мгновенная смена настроения.

— Но я ведь ничего такого не сделал! Просто шел по дороге. За что они меня арестовали?

— Никто тебя не арестовывал. Хотя могли бы. Тут, знаешь, шибко-то не разбираются. Посадят под замок, и будешь сидеть до второго пришествия. Так-то, брат! — Борис Иванович покачал головой и шумно выдохнул.

Костя понял, что буря миновала. И хотя он никак не мог сообразить, в чем его вина, но все равно чувствовал себя неважно. Если столько взрослых людей его стыдят, значит, он и в самом деле сделал что-то плохое. И он дал себе слово, что больше не станет огорчать отца, а будет слушаться во всем. Приняв такое решение, Костя сразу повеселел. А что думал отец, он так и не узнал.

Отец же чувствовал странное раздвоение. Он понимал в глубине души, что сын не совершил ничего предосудительного. Нельзя же считать преступлением обычное мальчишеское любопытство! Опять же, Колымская трасса

не принадлежала к числу секретных объектов. И по поселку свободно расхаживали люди... В то же время он чувствовал, что до беды было недалеко. Это простое везение, что сына отдали ему под честное слово, даже не стали составлять протокол. Здесь всякое бывало, уж он-то это хорошо знал. Еще ему было досадно оттого, что он извинялся и лебезил перед этим надутым лейтенантом, возмнившим о себе невесть что. Молодой, пороку не нюхал, а ведет себя так, будто он тут царь и бог!

Весь обратный путь до Магадана отец и сын провели в молчании, каждый был занят своими мыслями. Оба чувствовали безотчетную вину друг перед другом, и оба старательно это скрывали. Борис Иванович, кроме того, был озабочен еще и другими делами. Но не мог же он пожаловаться сыну, что работы невпроворот, нет ни одной свободной минуты! Такая уж у него служба...

Уже за полночь машина неслась по пыльной, тряской, усеянной камнями дороге. Ледяной ветер продувал насквозь, а с черного неба колко светили звезды — странно неподвижные, застывшие. Эти звезды точно так же будут гореть и через сто, и через тысячу лет... Что же здесь будет столетие спустя? Вообразить это у Бориса Ивановича никак не получалось. Все мечты о возможном обустройстве этой суровой земли тонули в каком-то странном тумане. Нельзя было представить даже картину ближайшего будущего Колымы, пусть и приблизительно! Когда отец Кости был в Новониколаевске, он очень хорошо представлял себе грядущее счастье. Когда работал в Москве вместе с Бокием, тоже видел все ясно и четко. А тут — словно какое-то наваждение... Или это безжизненные колымские просторы так подавляли дух, уничтожали всякую мечтательность и настраивали на сугубый прагматизм, на борьбу и неизбежные лишения? Было во всем здесь что-то очень тяжкое, донельзя мрачное. Несмотря на лозунги и призывы, бодрые рапорты и бешеную активность, оставалось в этой земле нечто мощное, незыблемое и глубоко враждебное человеку. Это чувствовалось не сразу — только спустя несколько зим и весен, прожитых в здешних краях, где месяц кажется годом, а год вообще тянется бесконечно.

Борис Иванович давно уже решил уехать с Колымы, но все никак не мог подать рапорт. Он часто представлял, как придет на прием к Берзину и тот внимательно посмотрит на него и спросит, подняв брови: «В чем дело, товарищ Кильдишев? Что вас не устраивает? Вы здесь работаете три года, со своими обязанностями справляетесь хорошо, я вами вполне доволен. Вы уже выдержали самый сложный период. Зачем же уезжать? Побудьте еще пару лет!» Такой вот разговор мерещился отцу, когда он думал об увольнении. Он мысленно спорил с Берзиным. Говорил, что на материке у него осталась семья и он очень скучает. Что ему смертельно надоела эта промерзшая земля, от которой даже в июльский полдень несет холодом, осточертели однообразные, бесконечные дали, при виде которых перехватывает горло, и бездонное небо, навевающее тоску. А еще он устал от непрекращающегося аврала, от множества военных чинов и от обилия заключенных, которых всё везут и везут сюда на пароходах, так что порой становится страшно... Откуда столько? И что их ждет на этой бесприютной земле?

Вопросов накопилось много. А ответов не было. Никаких.

И Костин отец тоже принял в этот день решение. Когда машина уже въезжала в поселок, он дал себе клятву вернуться домой к Новому году. Лето он как-нибудь отработает, осень перетерпит, а в конце декабря напишет Берзину заявление об увольнении. Получится вполне логично: в декабре тридцать четвертого он подписал контракт с «Дальстроём», в декабре тридцать седьмого уволится. Совесть его будет спокойна. Три года — немалый срок, особенно здесь, на краю света. Хотя, конечно, есть места и похуже: та же Чукотка, о которой ему рассказывали разные ужасы, тот же Сахалин — немногим лучше Чукотки. Или какой-нибудь Норильск, где, говорят, творится какая-то жуть. Как бы там ни было, а он свой долг выполнил. Пора и о семье подумать!

Когда они вернулись в домик, построенный по отцовским чертежам, им обоим стало почти весело. Инцидент в Палатке — теперь, когда больше никому ничего не грозило, — показался им забавным и совсем не опасным. Костя уже представлял, как будет рассказывать друзьям о пустынной дороге, где под каждым кустом таилась опасность, а среди деревьев прятались враги советской власти, о том, как его самого приняли за шпиона и допрашивали почти как в кино, но он держался молодцом. Борис Иванович тем временем составлял в голове текст заявления об увольнении и прикидывал, какую компенсацию ему выплатят за три года напряженной работы. Он вернется домой и больше в такую даль не поедет. На материке тоже полно работы. А сюда пусть направляют других — помоложе и пошустрее. Он свое отбегал, сорок пять лет — не шутка! Пора и остепениться.

Так он про себя думал, но вслух не говорил: жизнь приучила его держать язык за зубами. К тому же, сам того не замечая, он становился суеверным. Согласно его опыту, высказанное вслух намерение обычно не сбывалось. Тщательно разработанный план, которым поделился с товарищем, почему-то никогда не исполнялся. Но то, что созрело глубоко внутри и осталось невысказанным, почти всегда происходило в действительности. Поэтому отец ничего не сказал сыну, лишь загадочно улыбался и делал туманные намеки на то, что скоро их жизнь изменится и все снова будет хорошо.

Но до зимы было еще далеко. От службы Бориса Ивановича пока никто не освобождал. Нужно было терпеть и трудиться.

А тут еще новость: Косте надоело сидеть без дела, он стал проситься на работу! Отец поначалу воспротивился. В самом деле, какая может быть работа для пятнадцатилетнего подростка? Но он и сам понимал, что сына нужно чем-нибудь занять. В конце концов, это и опасно — расхаживать без всякой цели по поселку, заполненному военными и расконвоированными заключенными. Учиться летом не нужно, а друзей сын пока не завел. Да и с кем тут дружить?..

Отец подумал-подумал и вдруг вспомнил, что клубу НКВД требуется помощник киномеханика. Работа не оплачиваемая, но не беда. Главное, что это безумно интересно: новые фильмы, сложная киноаппаратура, новые познания, которые пригодятся в будущем. И сын будет под присмотром. Со всех сторон хорошо!

Сказано — сделано.

В последних числах июня они вдвоем отправились на машине в поселок. Клуб НКВД располагался на улице Дзержинского. Здесь, на покато́м склоне, силами заключенных был разбит отличный парк со стадионом и аллеями; у входа в него построили здание клуба, где заодно разместилось фильмохранилище. Сам клуб подчинялся культурно-воспитательной части УСВИТЛа\*. Со всей Колымы сюда собрали талантливых музыкантов, писателей, актеров, режиссеров, художников, декламаторов, танцоров и прочий творческий люд. Артисты и декламаторы ездили с концертами и спектаклями по лагерным приискам — поднимали боевой дух и укрепляли веру в светлое будущее. А до чего был хорош кинорепертуар! «Евгения Гранде», «Цезарь и Клеопатра», «Двенадцатая ночь» — это из мировой классики. Из наших, пролетарских, — «Бронепоезд 14-69», «Любовь Яровая», «Оптимистическая трагедия» и много чего еще.

Но обо всем этом Костя узнал чуть позже. А пока они с отцом зашли в клуб и сразу направились в фильмохранилище. Там прямо на полу лежали коробки с кинолентами: разудалые «Веселые ребята», пафосные «Заключенные», морализаторский «Великий утешитель», а еще «Встречный», «Аэроград», «Горячие денечки», «Бесприданница», знаменитый «Вратарь», «Депутат Балтики», «Балтийцы» и «Ленин в Октябре»... Фильмы привозили сюда пароходами как ценный груз. Не зря Владимир Ильич назвал кино важнейшим из искусств: идеологическая пропаганда для большевиков была второй по значимости задачей после диктатуры пролетариата. Косте предстояло приобщиться к этому ответственному делу.

Сказать по правде, кино для него было чудом. Два года назад он впервые увидел в железнодорожном клубе фильм «Веселые ребята» и испытал двойное потрясение: во-первых — от какой-то сказочной привольной жизни, какую он никогда не видал и вообразить не мог, а во-вторых — от самого кинематографа. Только что перед тобой был белый неподвижный экран, и вдруг открылась целая новая вселенная, которая двигалась, пела, смеялась! Это было так замечательно и захватывающе, что Костя долго не мог опомниться. «Веселых ребят» он посмотрел раз двадцать — убегая с уроков, экономя на завтраках, всеми правдами и неправдами попадая в местный клуб. Потом были другие фильмы, но этот запомнился особо.

И вот теперь Косте посчастливилось попасть в святая святых — туда, где происходит чудо превращения неподвижного экрана в играющее световыми бликами полотно. Заведовал фильмохранилищем инженер Александр Михайлович Мамалыгин. Он уже успел отсидеть в лагере три года и, освободившись досрочно по зачетам, решил не уезжать на материк. Время тревожное, никто не застрахован от повторного срока. А тут он на виду, работает при клубе НКВД. Обвинить его в каком-нибудь заговоре при всем желании невозможно. Это соображение стало для Александра Михайловича решающим. Все остальное — жена, семилетняя дочь, разные там знакомства и увлечение рыбалкой, да и вся прошлая жизнь — перевесить его не могло. Парадокс заключался в том, что стоило Мамалыгину вернуться или даже приблизиться на расстояние вытянутой руки к своей прошлой жизни — и он

\* УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.



мог опять ее потерять. Уж лучше хранить все это в голове, переживать в воспоминаниях: и ласковую улыбку жены, и вопрошающий взгляд дочери, и осторожную поклевку на охваченной рассветным туманом речке, — чем снова очутиться в грязном холодном бараке среди садистов-уголовников.

Прав ли он, проверить было невозможно. Оставалось просто жить, исполнять свои обязанности — в этом был ключ к спасению. И Александр Михайлович с головой окунулся в работу: чинил недавно присланный узкоплечный кинопроектор «УПО-5», всеми силами улучшал звук, тщательно выверял градусы наклона и фокусные расстояния, добивался стабильного напряжения и силы тока с помощью самодельного стабилизатора... Словом, делал много нужного и непонятного для зрителей, которые приходили каждый вечер на киносеансы. Фильмы подбирать ему не приходилось: их список был известен заранее и ничем не отличался от других, направленных из Москвы в тысячи городов и поселений по всей стране, в такие же фильмохранилища, клубы и кинобудки.

Костю Мамалыгин принял не ласково и не грубо, а совершенно равнодушно. Что он подумал, увидев невысокого худощавого паренька с густыми черными бровями и настороженным взглядом серых глаз, понять было невозможно. На Костиного отца инженер и вовсе старался не смотреть — по лагерной привычке не попадаться на глаза любому начальству, а если уж попался, стоять столбом и смотреть в землю, ожидая решения своей участи. Эту науку жизни в него вбили крепко. Начальника в Борисе Ивановиче он признал сразу, едва тот вошел в помещение — уверенно и ловко, как входят люди, которые ничего не боятся, кого не допрашивали по несколько суток кряду и не заталкивали в камеру к блатным, возлагая на тех задачу «перевоспитания гнилых интеллигентов».

Отец и сын, конечно, не могли угадать все это в сутулом человеке с задумчивым взглядом и сведенными к переносице бровями.

Узнав о цели их визита, Александр Михайлович произнес ничего не выражающим тоном:

— Да, мне требуется помощник. — Внимательно глянул на Костю и добавил с сомнением: — Только молод уж очень. Боюсь, не справится...

Отец сразу вскинулся:

— Это ничего! Ему скоро шестнадцать. Гайдар в его годы полком командовал. И я тоже кое-какие дела проворачивал... Было бы желание! Он у меня парень старательный, хваткий. Выучится — будет вам помощником. Денег не надо, бесплатно поработает. Дело ведь не в заработке. Пусть привыкает к труду, пусть учится строить коммунизм, как его отец!

Инженер бросил на Бориса Ивановича быстрый взгляд и тут же опустил голову, словно застыдившись.

— Что ж, я не против. Раз вы так хотите... — И медленно развел руки, показывая на стопки круглых металлических коробок с фильмами, на железный стол, где стоял кинопроектор, на полки вдоль стен, на которых лежали в беспорядке всякие детали и приборы.

Все это было непонятно и отчасти таинственно. У Кости сразу разгорелись глаза.

— Вы не сомневайтесь, я смогу! — выпалил он, глядя на инженера. — Я буду вас слушаться!

— Я и не сомневаюсь, — ответил тот. — Главное — это прилежание. Будет прилежание, будет и толк. Ты как в школе учишься? Много пятерок?

К вопросам об учебе Костя давно привык: ими его терзали с первого класса. Всех взрослых неизменно интересовали его школьные оценки, будто в этом был смысл всей жизни. Только обычно спрашивали про двойки — «Много двоек нахватал?» или даже: «Много колдов в дневнике?» — и при этом заговорщицки подмигивали: дескать, шутка. А этот дядька спросил про пятерки и при этом был очень серьезен... Вообще, он сразу понравился Косте. Немногословный, внимательный и, как видно, жутко умный. Только по-настоящему умные люди разговаривают так — не пытаясь острить и выглядеть всезнайками.

— Пятерок-то не очень много. Зато троек почти нет, — ответил Костя сдержанно. — А если понадобится, то совсем не будет!

Мамалыгин едва заметно улыбнулся, его пышные усы пепельного цвета дрогнули и немного разошлись.

— Хорошо, — сказал он. — Приходи завтра к девяти. Не рано будет?

— В самый раз, — ответил за Костю отец. — Первое время я сам буду его привозить. А там посмотрим.

После этого Борис Иванович и Костя зашли к Лаврентьеву — заведующему культурно-воспитательной частью. Тому было некогда долго говорить, он без лишних слов записал в журнал имя и фамилию, мельком глянул на подростка и произнес единственную фразу:

— Смотри, парень, отец за тебя поручился. Если что, с него спросим!

Борис Иванович заверил Лаврентьева, что все будет отлично, сын его не подведет. На том и расстались.

Так Костя стал сотрудником всемогущего УСВИТЛа — организации, при одном упоминании которой у людей отнюдь не робкого десятка бледнели лица, а язык пересыхал и становился шершавым. Организация эта в тридцать седьмом году уже обладала большой властью и внушала страх очень многим, особенно тем, кто жил на материке и в глаза не видал ни Колымы, ни бухты Нагаева с однообразными сопками, протянувшимися в бесконечность.

Косте же все было в новинку, казалось веселым и жутко интересным. Он рьяно принялся за дело. Быстро разобрался с устройством кинопроектора, научился вставлять пленку в лентопротяжный механизм и следить за тем, чтобы дуговая лампа горела ровно и не гасла посреди киносеанса. Когда такое случалось, зрители почему-то неизменно радовались, заливисто свистели в темноте, сунув в рот два пальца, и все как один дружно топали ногами и кричали: «Сапожники!» или «Включите свет, дышать темно!»

Но однажды лампа погасла в тот самый момент, когда по ходу фильма доблестные работники НКВД производили арест немецких шпионов на явочной квартире, — и последовало совсем другое продолжение. В кинобудку ворвались точно такие, как на экране, энкавэдэшники и с кулаками набросились на Костю, который как раз следил за этой самой лампой. За такие вещи могли не только уволить, но и завести дело о вредительстве. В тот раз пронесло: приняв во внимание Костину неопытность, чекисты ограничились парой оплеух.



Костя этот случай воспринял легкомысленно, и Борису Ивановичу пришлось сделать ему внушение. Он в деталях рассказал о внешних и внутренних врагах, напомнил о бдительности перед лицом империалистической угрозы, отругал подлеца Гитлера за все его выходки и призвал сына быть предельно внимательным во время показа кинофильмов.

— Больше такого быть не должно! — произнес Борис Иванович, строго глядя на Костю.

— Ладно, — отмахнулся тот.

— Не «ладно», а обещай мне, что это не повторится!

— Ну хорошо, я обещаю...

Так закончился этот разговор, оставивший в душе подростка неприятный осадок. Он не испугался сотрудников НКВД, угрожавших ему арестом и золотыми приисками: просто не воспринял их слова всерьез. Его не привела в ужас матерная ругань инспектора кинобазы Рубана, который был очень серьезен и убедителен, но не обладал карательными полномочиями. Зато отец не то чтобы испугал Костю, но расстроил и озадачил. Слишком уж близко к сердцу он воспринял это пустячное дело. Подумаешь, зрители немного посвистели да начальство повозмущалось... Эка невидаль! В новосибирском Клубе железнодорожников пленка рвется по нескольку раз за сеанс, и ничего. Все к этому привыкли и шумно радуются, когда вдруг гаснет экран... Отцу все это Костя говорить не стал, уже усвоив, что иной раз лучше промолчать. Однако случай этот запомнил и, действительно, решил сделать все, чтобы подобное больше не повторилось. Не хотелось расстраивать отца, да и с начальством объясняться тоже не бог весть какое удовольствие. Хоть он и работает бесплатно, но спрос с него настоящий, как со взрослого!

Единственным человеком, не сказавшим ему ни одного худого слова, был Мамалыгин. Неизвестно, что инженер думал про себя в продолжение всех этих разбирательств, но лицо его было непроницаемо, голос несколько не изменился и глядел он все так же спокойно и невозмутимо. Александра Михайловича стаскали к оперуполномоченному, где задавали навоящие вопросы: дескать, не он ли научил своего наивного помощника такой подлости, которая способствовала дискредитации советских чекистов? Однако Мамалыгин был тертый калач, на все вопросы он дал простые и ясные ответы, а угроз не испугался или, по крайней мере, не подал вида. Да и так было понятно — и ему, и дознавателям, — что неопытный пацан просто не доглядел за электродами. Мамалыгин в это время перематывал вторую бобину, чтобы сразу вставить ее в аппарат, как только завершится первая часть. Он находился в другой комнате, отделенной перегородкой, и никак не мог влиять на действия своего подопечного. А дуговая лампа — штука капризная, это всем известно. Нечего тут искать подвох.

Тем и закончилось это курьезное происшествие, которое, сказать по правде, могло иметь весьма печальные последствия.

В жизни Костиного отца тем временем произошли перемены. В конце лета его неожиданно избрали председателем профкома «Дальстроя» — и сразу предложили ехать в Москву на Всесоюзное совещание профсоюза рабочих по добыче золота и платины.

Это было явное повышение, знак доверия со стороны властей!

Борис Иванович, конечно же, согласился. Перемена должности, новые впечатления, возможность побывать в Первопрестольной — это были очень весомые аргументы.

Костя воспринял новость с восторгом.

— Пап, а мы правда в Москву поедем? На поезде?

— Правда, — отвечал отец, пряча довольную улыбку. — Сначала на пароходе, а потом на поезде. Забыл, как сюда добирался? Мы с тобой поедем в отдельном купе, как министры!

— Ты точно возьмешь меня с собой?

— Конечно, возьму! Ведь ты мой сын. К тому же ты сотрудник «Дальстроя», стало быть, имеешь полное право. Я уже договорился с Лаврентьевым, с работы тебя отпускают. Не будешь же ты жить тут один без меня. Это и по закону не положено, ведь ты несовершеннолетний.

Борис Иванович был в отличном настроении, повышение по службе воодушевило его. О своем решении уволиться он совершенно забыл. Вернее, не забыл, а как бы отложил в сторону, как убирают в дальний ящик ненужные или неприятные бумаги. Ситуация коренным образом переменялась, и теперь он считал себя не вправе покидать свой пост.

Второго сентября Костя с отцом отбыли из Магадана на пароходе «Дальстрой». Он почти ничем не отличался от того, на котором прибыл сюда Костя: те же широкогорлые трубы и квадратные палубные надстройки, такая же широченная деревянная палуба и такие же вместительные трюмы в самой глубине. Судно шло ходко. Трюмы были почти пусты, а корабельная команда и немногочисленные пассажиры торопились скорее попасть на материк. Среди последних были в основном вольные, но имелись и заключенные — инвалиды, списанные по причине полной непригодности к тяжелому физическому труду. Этим Костя не видел, они занимали один из отсеков трюма. Было их всего несколько сотен — никакого сравнения с тем, что творилось на рейсах Владивосток — Магадан.

Погода всю неделю держалась отличная. Море было темно-синим, и, хотя оно дышало холодом, воздух становился заметно теплее и ласковее по мере продвижения на юг. Небо тоже лучилось синевой, чайки с пронзительными криками проносились над палубой, молниями сверкали между труб и улетали прочь; пароход мерно раскачивался на тягучей волне, то мощно вздымая нос к небу, то почти зарываясь им в воду, и тогда казалось, что он вот-вот провалится в глубину и темные волны сомкнутся над ним...

Так до самого Владивостока.

А уж там все завертелось, как в калейдоскопе. Великолепная бухта Золотой Рог со множеством застывших на рейде кораблей, живописный причал, резкие крики вездесущих чаек, снующие во всех направлениях катерки и буксиры и неожиданно твердый берег, блестящая черным лаком служебная машина, вокзал и скорый поезд Владивосток — Москва!

Время в отличном двухместном купе пролетело незаметно. Поезд мчался по Транссибу под мерный перестук стальных колес и сиплый посвист паровозного гудка — сквозь тысячекилометровые пространства Дальнего Востока и Даурских степей, Восточной и Западной Сибири,

сквозь Уральские горы, по Среднерусской равнине — в самое сердце великой страны.

И вот она — Москва! Красная площадь, древние кремлевские стены — и Мавзолей Ленина! Костя не чуял под собой ног, когда передвигался в огромной толпе, тянущейся по булыжникам через всю площадь. Словно во сне, медленно сходил по гранитным ступеням. Еще несколько метров, и вот он в святая святых! Под хрустальным куполом лежит на своем ложе Владимир Ильич Ленин — гениальный революционер, основатель первого в мире социалистического государства, друг детей и непримиримый борец за правду и справедливость во всем мире, за всех угнетенных и обездоленных, против засилья мирового капитала, против буржуев и проклятых капиталистов. Так говорил отец, и то же самое безотчетно чувствовал Костя, когда передвигался в молчаливой толпе среди сосредоточенных лиц и горящих взоров. Ему отчего-то было жутко в этом полутемном помещении, где время, казалось, остановилось. Восторг в его душе мешался с ужасом, он смутно чувствовал что-то грандиозное и непостижимое, чему не мог найти название, словно прикоснулся к великой тайне, стал сопричастен общему стремлению к светлым идеалам и будущему счастью. Вокруг стеной стояли люди, а вдоль прохода вытянулись в струнку красноармейцы с отполированными штыками. У Кости кружилась голова, ему все труднее было дышать; он едва переставлял ноги и думал только о том, как бы не грохнуться без чувств на каменные плиты...

Этот пасмурный день крепко врезался ему в память. Он на всю жизнь запомнил массивный гранитный склеп и величественную Красную площадь, широкие московские проспекты и многоэтажные дома со шпилями, похожие на сказочные замки. Унылая осенняя погода и холодный ветер придавали городу вид грозный и величественный. Хотелось целый день ходить по нескончаемым улицам и вдыхать всей грудью холодный воздух, наполненный запахами сырой земли, мокрых деревьев, асфальта и проезжающих мимо автомашин.

Костя не знал, что в Москве идут аресты, каждую ночь по гулким улицам снуют черные воронки.

Три месяца назад закончился суд над героем Гражданской войны командармом Тухачевским. Двенадцатого июня первого советского маршала расстреляли как предателя и немецкого шпиона. Вместе с ним казнили других видных военачальников: Якира, Уборевича, Путну, Эйдемана, Примакова и Корка. В те же погожие летние деньки НКВД арестовывал и своих сотрудников — доблестных чекистов, чем-то не угодивших родной власти. В их число попал и Глеб Иванович Бокий — соратник Ленина и непосредственный начальник Костиного отца. Да что там Бокий, когда врагом народа и предателем объявили бывшего главу НКВД Генриха Ягоду! Бокия расстреляют в ноябре тридцать седьмого, Ягоду — в марте тридцать восьмого. Всего же на протяжении полутора лет будут замучены и казнены без долгих разбирательств сотни тысяч людей по всей огромной стране. Каждый день в застенках НКВД погибали по тысяче и более человек.

Этот абсурд совершался втайне от населения. Взрослые ходили на работу. Дети исправно посещали школу и делали уроки. Ездили по привычным маршрутам трамвай и автобусы; восхищал своими размерами только что от-

крытый метрополитен; театры каждый вечер показывали спектакли, а синемаатографы радовали публику веселыми комедиями. В московских магазинах можно было купить белый хлеб и колбасу, сахар и конфеты — то, чего давно уже не видели в провинции.

Так жила Москва осенью тридцать седьмого года.

В Магадан Борис Иванович и Костя вернулись как раз к началу зимы. Плыли с комфортом — на большущем пароходе, носящем гордое и грозное имя «Николай Ежов»\*. Это был настоящий океанский лайнер — со стремительными линиями, с хищным заостренным носом, огромной трубой посреди палубы и снастями, в которых могло запутаться стадо слонов, если бы оно вдруг здесь очутилось. Корабль был английской постройки: его внутренние помещения, отделанные мореным дубом, блестели лаком, металлические поручни сверкали, во всем чувствовалась основательность и благородство, надежность и внутренняя мощь.

На этом же пароходе плыли на Колыму какие-то важные чины: пузатый круглолицый военный, то и дело бросавший вокруг настороженные взгляды, и широкогрудый крепыш с постоянно откинутой назад головой, вечно думающий о чем-то своем. Были еще несколько человек — все военные, важные и неприступные, с суровыми лицами. Окружающие заметно их побаивались, во время разговора с ними пригибали голову и вымученно улыбались.

Борис Иванович все сильнее хмурился, наблюдая эту группу, и однажды обронил:

— Берзина снимать едут. Порядок будут наводить на Колыме.

— А Берзин — это кто? — спросил Костя.

Отец повернул к нему удивленное лицо.

— Разве ты не знаешь? Это на Колыме самый главный человек! Он здесь все построил, с тридцать первого года тут работает.

Костя подождал, не скажет ли отец чего-нибудь еще, но тот замолчал.

— А почему его хотят снять? Он что-то замышляет против Сталина?

Вместо ответа Борис Иванович взял его за плечо и поспешно увел с палубы.

— Больше мне таких вопросов не задавай! — строго произнес он, когда они были уже в каюте. — И вообще, зря я тебе сказал. Но раз уж проговорился... Смотри теперь, держи язык за зубами, а то и мне не поздоровится!

Костя обиделся на такую отповедь, но вида не показал. Он уже свыкся с тем, что кругом сплошь секреты, тайные задания и опасные миссии. Раз решили Берзина снять — значит, так надо. Да и какая ему, Косте, разница, кто тут всеми командует...

Когда пароход прибыл к месту назначения, на Колыме уже стояла настоящая зима: сопки покрыты непролазным снегом, берег затянут крепким льдом, с низкого неба сеется мелкая белая крупа; холодно, промозгло и неприятно. Холод намертво сковал землю, обратив ее в камень. Промывка

\* Пароход «Николай Ежов» (впоследствии «Феликс Дзержинский») получил свое название в 1937 г. в честь наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова, одного из организаторов «Большого терора» 1937—1938 гг. В 1939 г. Ежов был репрессирован и спустя год расстрелян.

золотоносных песков стала невозможной, и бригады шурфовщиков и забойщиков, откатчиков и землекопов перешли на зимний график работы. Всем выдали теплую одежду и сократили рабочий день.

Никто еще не знал о катастрофе, которая разразится после того, как «Николай Ежов» высадит на берег своих пассажиров. Беда коснется всех: и тех, кто жил в арестантских бараках и утепленных на зиму армейских палатках, и тех, кто, подобно Берзину, ночевал в добротных домах, спал в мягкой теплой постели и был облечен всею полнотою власти.

В первый день зимы тысяча девятьсот тридцать седьмого года на замерзшую колымскую землю уверенно ступили два природных палача, два подлинных душегуба: полковник Гаранин и старший майор госбезопасности Павлов. С ними прибыли их помощники — под стать своим патронам: заместитель Павлова — комбриг Ходырев, начальник политчасти Гаупштейн, прокурор Метелев и начальник НКВД по «Дальстрою» Сперанский.

Новое начальство готовило множество самых неприятных сюрпризов. Избежали их немногие, успевшие уехать на материк: отбывшие срок, комиссованные инвалиды и те заключенные, кого этапировали на допрос или в какую-нибудь шарашку.

Полковник Гаранин возглавит громадную сеть колымских лагерей, сменив на этом посту Филиппова, а Павлов заменит Берзина, став директором «Дальстроа». Филиппов и Берзин будут вскоре расстреляны, а для сотен тысяч заключенных наступит настоящий ад. Нормы труда в одночасье вырастут и станут непосильными. Будут отменены зачеты рабочих дней и всяческие выплаты за ударный труд, уйдут в прошлое «ударные» пайки и премиальные блюда. И без того скудное питание резко ухудшится, а медицинской помощи не станет вовсе. Успевшие обустроиться колонисты будут загнаны обратно в лагеря, расконвоированные утратят последние остатки свободы, а та видимость законности, которая существовала при Берзине, обратится в полный произвол властей. На приисках войдут в практику ежедневные расстрелы заключенных (метко прозванные «гаранинскими») — за невыполненный план, за отказ выйти на работу из-за болезни, за косою взгляд или неуместную шутку в присутствии начальства (или просто потому, что у начальника плохое настроение). Специальные бригады будут день и ночь рыть могилы в жесткой колымской земле, а измученные, оклеветанные, проклятые своей страной люди — тысячами ложиться среди холодных камней и песка, чтобы пролежать там до Страшного суда, когда пред очами Всевышнего предстанут все без исключения: те, кто стрелял, и те, в кого стреляли, подлецы по службе и страстотерпцы поневоле...

Но все это случится потом. А пока, в первых числах декабря, на Колыме все было так же, как и год, и два, и три года назад.

Костя давно мечтал посмотреть на настоящую северную зиму, узнать, что такое полярная ночь и пятидесятиградусные морозы, царство снегов и бескрайние белые просторы. Эта его мечта осуществилась даже с избытком: ему предстояло вынести такое, чего он не мог увидеть и в страшном сне. Было бы безопаснее для него, если бы он послушал Бориса Ивановича и сошел с поезда в Новосибирске. Но тогда Костя жил бы, многие годы не зная,



что случилось с его отцом, и никогда бы его больше не увидел. В эпоху абсурда нельзя уверенно сказать, что лучше: оказаться в гуще событий и пытаться влиять на них (хотя и без всякой надежды на успех) или находиться вдали, терзаясь неизвестностью.

Конечно, Костя ни о чем таком не думал, сходя по трапу на заснеженный берег Нагаевской бухты, а лишь оглядывался вокруг, вдыхал резкий ледяной воздух, от которого кружилась голова и резало грудь. Борис Иванович хотя и предвидел зловещие перемены, но вслух ничего не говорил. Он чувствовал, что совершается что-то такое, чему он не способен помешать, даже если бы захотел. Держа сына за руку, он тяжело ступал по заснеженному берегу, пряча лицо от задувающего сбоку ветра. Никто не встретил их на берегу, и это его неприятно удивило. Зато встречали приехавших с ними чинов: Павлова, Гаранина, Ходырева, Гаупштейна, Метелева и Сперанского. Те вели себя уверенно, по сторонам смотрели по-хозяйски; от этих взглядов окружающие ежились и отводили глаза.

Был среди встречающих и Берзин; держался с достоинством, улыбался, но не заискивал. Он еще не знал, что через три дня покинет неласковую колымскую землю, чтобы больше никогда сюда не вернуться. Этому суровому краю он отдал шесть лет своей героической жизни. При нем здесь стали добывать золото в промышленных объемах, при нем заключенные получали зачеты, достаточное питание и теплую одежду. Да, жизнь была трудной и зачастую опасной — но без бессмысленной жестокости, без массового уничтожения людей. Напротив, создавалась более или менее разумная система, которая оставляла каждому шанс оставаться человеком даже в таких жесточайших условиях.

Несколько первых дней прошло относительно спокойно. Костя ходил в школу, наверстывая упущенное, а его отец каждое утро уезжал на работу и возвращался за полночь. Борис Иванович входил в дом угрюмый, долго отряхивался и обхлопывался от снега возле порога в прихожей, затем снимал шубу и валенки и направлялся к столу. Костя отчего-то робел, боялся спросить отца, как у него дела. А тот все молчал и отводил взгляд; с тем же мрачным выражением лица резал хлеб и сало, садился и, тяжело вздохнув, приступал к ужину. В какой-то момент поворачивал голову и говорил со значением:

— Так-то, брат!

Не получив отклика, спрашивал:

— Как твоя учеба?

— Нормально, — уклончиво отвечал Костя, хотя нормально не было.

Он утратил всякий интерес к урокам и отчаянно жалел, что не остался с матерью в Новосибирске. Теперь он точно знал: его дом там! Там его друзья, знакомые с детства улицы и родная школа, в которую он ходил с первого класса и в которой знал каждый уголок. Он даже с какой-то нежностью вспоминал учителей и свои детские тетрадки с прописями, в которых когда-то делал кляксы и выводил каракули. В Новосибирске все было теплое, родное, понятное. А здесь — один лишь холод и недоброжелательство. И еще нарастающая тревога. Костя стал бояться каждого стука в доме, вдруг зазвеневшего стекла, подъехавшей машины. Он и сам не мог понять, чего опасается и откуда взялся этот страх. Но видел, что отец тоже неспокоен: по но-

чам встает и курит, сидя на табурете у печки и отвернувшись в угол, тяжело вздыхает и все думает о чем-то...

Однажды вечером отец сообщил как бы между делом:

— Протасова арестовали!

Костя, не дождавшись пояснения, спросил:

— Кто это?

Борис Иванович едва заметно усмехнулся.

— Мой заместитель. Карьерист и трепач, но не враг, это я точно знаю.

Ему в прошлом году даже орден дали. Хватило же ума переплыть ледяную реку в самый мороз! Нужно было провод прокинуть на другой берег, вот он и полез... Выслужиться хотел перед Берзиным. Ну, получил «Красное знамя», добился своего! А теперь его обвиняют во вредительстве... Да какой же он вредитель? Дурак, карьерист и больше ничего. Этак и меня можно обвинить в чем угодно!

Костя вскинулся:

— Но ты же не враг?

Отец посмотрел на него с удивлением.

— Конечно нет. А ты что, сомневаешься?

— Да нет, ты меня не так понял.

Отец устало покачал головой, на лице показалась виноватая улыбка.

— Ты вот что... Если со мной что-нибудь случится, сразу езжай домой, к матери. Один тут не живи.

— А что с тобой может случиться?

— Я этого не знаю. На всякий случай тебе говорю.

Борис Иванович отвернулся. Видно было, что эти слова дались ему с трудом. Он не хотел пугать сына, но должен был дать ему свой отцовский наказ: мало ли что...

А события происходили все диковинней. В конце декабря поползли слухи об аресте Берзина. Шепотом передавали друг другу подробности: сняли с поезда под самой Москвой. Теперь он в тюрьме и уже дает показания!

Никто ничего не мог понять. Поверить в вину бывшего комдива латышских стрелков Эдуарда Петровича Берзина было невозможно, слишком хорошо все знали его преданность революции и высокую личную порядочность. Арест казался нелепицей, абсурдом. Тем упорнее были разговоры и пересуды: все искали доводы и причины. Но разумных объяснений не было. К тому же арестовали не только Берзина. Еще раньше, в середине декабря, взяли Филиппова, только что снятого с должности начальника Севвостлага\*. Этого допрашивали тут же, в Магадане, и он сразу стал давать нужные показания: о заговоре с целью свержения правительства, о шпионаже в пользу Японии, Германии и еще бог весть кого... Этот бред, выбитый жесточайшими пытками, послужил поводом для массовых арестов и казней по всей Колыме. Уцелеть в этом разгуле абсурда было очень сложно, и так же невозможно заранее предугадать, кого судьба пощадит, а кому выпадет смертный жребий.

Пытаясь отвести от себя угрозу, Борис Иванович сдал в комендатуру свой именной пистолет. Партия требует разоружиться перед ней, вот он

\* *Севвостлаг* — Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь, существовал на территории «Дальстроя» как его производственное подразделение в 1932—1951 гг.



и разоружился — в буквальном смысле этого слова. Но он не мог предугадать универсальности новой сталинской терминологии: всех этих «разоружиться перед партией», «враг народа», «вредитель», «кулак», «шпион», «террорист», «двурушник» и прочая, и прочая... Террористом могли признать и двенадцатилетнего мальчика, шпионом — никогда не выезжавшего за пределы своей деревни полуграмотного мужика, вредителем — толкового инженера, усомнившегося в выполнимости спускаемых сверху пятилетних планов. А «разоружиться», как оказалось, значило не только сдать оружие или признать свои ошибки, но и взять на себя несуществующую вину, сознаться в небывальщине, в самых фантастических вещах, какие и в голову нормальному человеку не придут... Костин отец не мог предвидеть того, что с ним случится в самое ближайшее время, просто потому что это было лишено логики, находилось за гранью справедливости и элементарных человеческих уложений.

А случилось вот что: однажды вечером, в январе, Бориса Ивановича Кильдишева пришли арестовывать.

Костя был дома один и читал интересную книжку, лежа на кровати. Вдруг он услышал звук подъехавшего автомобиля. Хлопнули дверцы, закрипел снег под сапогами, и в дом решительно вошли двое военных.

Костя быстро поднялся и с раскрытой книгой в руках вышел в прихожую. Удивленно глянул на запорошенных снегом незнакомцев: головы и плечи их были белыми, и даже на лицах сверкали снежинки. Холод на улице стоял изрядный, метель мела вторые сутки.

— Отец дома? — быстро спросили вошедшие.

— Он на работе. Придет не скоро, — сурово ответил Костя. — Что ему передать?

Военные многозначительно переглянулись. Тот, что был ближе, снял шапку и стряхнул снег на пол. Второй стоял истуканом, только глаза рыскали по комнате.

— Не скоро, говоришь... — задумчиво протянул первый. Помедлил секунду, затем водрузил шапку на голову и глянул на товарища. — Поехали в Управление! — И оба поспешно вышли на улицу.

Костя выбежал за ними на крыльцо. Задыхаясь от ледяного ветра, прокричал в спину:

— А вы зачем приходили? Что отцу-то передать?

— Не надо! Мы сами! — донеслось из темноты.

Военные залезли в салон «эмки». Заурчал мотор, вспыхнули желтые фонари, и машина покатила. Костя проводил ее взглядом, потом вернулся в дом. Этот визит ему страшно не понравился. Вдруг вспомнился тот лейтенант, который допрашивал его в Палатке. Он точно так же смотрел на Костю, как эти двое: пристально и недружелюбно. Так же цедил слова и ничего не объяснял. Тогда на выручку пришел отец, но сейчас его не было. Хуже того: теперь, похоже, требовалось выручать самого отца.

Костя остановился посреди комнаты. Сердце гулко стучало, на душе было муторно. Он должен немедленно что-то предпринять... Но что? Бежать к отцу в Управление? Это почти три километра. В такую метель он будет добираться целый час и все равно не успеет... Но и оставаться дома

невозможно. Костя больше не мог думать о книге про индейцев, не мог лежать на удобной мягкой кровати; и не сиделось ему, и не стоялось на месте.

Мальчик начал поспешно одеваться. Натянул валенки, продел руки в рукава теплой шерстяной кофты, намотал на шею длинный верблужий шарф, нахлобучил шапку и сдернул с вешалки белый тулупчик. Вышел на улицу, плотно затворил входную дверь, чтобы ее не распахнуло порывом ветра и не намело в дом снега. Спрыгнул с крыльца и, увязая в рыхлых сугробах, побежал к распахнутым настежь воротам.

Сердце отчаянно билось, косо летевший навстречу снег сек лицо. Впереди распахивалось мутное пространство без конца и края, в этом пространстве беспорядочно летали мириады снежинок; подхваченные ветром, они неслись из жуткой тьмы, словно армия злобных существ — безжалостных, равнодушных, неудержимых в слепой ярости. Но Костя и не думал отступать. Через несколько минут он перестал чувствовать и холод, и неудобство, и липкий снег на лице.

Ничего, это только поначалу бывает больно и страшно! Нужно перетерпеть первое время, и тогда уже ничего не будешь бояться. Сможешь целую вечность идти сквозь ледяную ночь, одолевая и холод, и сбивающий с ног ветер, и свою слабость. В такие-то минуты и проверяется, проясняется до конца характер: наружу выступает то, что таится глубоко в душе человека, его суть. Не у всех людей есть такой внутренний нестигаемый стержень, но у Кости он был.

Мороз в эту ночь резко усилился. Казалось, что небеса разверзлись до самых дальних пределов, космический холод всей мощью обрушился на незащитную землю — и земля обратилась в камень. Оледеневший воздух со свистом врвался в легкие, разрывая грудь; глаза слезились, и все вокруг представлялось Косте размытым и нереальным, словно он попал в жуткую сказку. Шагая по глубокому снегу, он временами забывался. Ему казалось, что он уже давно идет по уводящей во тьму белой дороге, что весь мир погрузился в ночь и холод, что солнца и тепла больше никогда не будет, а ему суждено так идти, пока он не свалится без сил. Позади остался опустевший дом, а впереди ждало что-то невыразимо страшное, и он двигался навстречу неизвестности, обмирая от ужаса, но понимая, что должен идти и принять все, что ниспошлет ему судьба.

К счастью, Костя не сбился с пути в эту ночь, не замерз и не остался лежать в придорожном сугробе. Он из последних сил одолел обледенелые ступени деревянного крыльца двухэтажного дома и постучал в дверь кулаком. Открывать никто не спешил, но через минуту все же послышались шорохи и приоткрылась щель. Выглянул вахтер, с удивлением глянул на гостя.

— Тебе чего, малец?

Костя едва унял дыхание.

— Я к отцу пришел... Отец мой тут работает... Начальник он...

— Какой еще начальник? — Дверь отворилась чуть шире, вахтер наполовину высунулся на улицу.

Костя узнал его: видел раза два, когда приезжал сюда с отцом. Фамилия у вахтера была странная — Рябоконь. Отличался он неряшливостью, а еще подбострастностью перед начальством любого ранга. Но теперь вел

себя иначе: смотрел холодно, ни тени сочувствия не было на окаменевшем лице с грубыми неприятными чертами.

— Борис Иванович Кильдишев! — задыхаясь, выкрикнул Костя. — Это мой отец. Я к нему... Да пропустите же! — И он сделал попытку пройти внутрь.

Но вахтер встал у него на пути.

— Да погоди ты, куда лезешь? Нельзя сюда! Отца твоего тут нету, забрали его. А ты иди домой, нечего шляться по ночам!

Костя отодвинулся.

— Как забрали? Куда?

— А я откуда знаю? Тебе видней, — был ответ. — Яблочко от яблоньки недалеко падает.

— Какое еще яблочко?

— Давай-давай, двигай отсюда! А то позвоню куда следует — тоже загремишь, узнаешь тогда, где твой батя! — Вахтер отступил и резко захлопнул дверь.

Костя с силой ударил по ней рукой.

— Где мой отец? Немедленно откройте!

— В доме Васькова он, — глухо донеслось изнутри.

— Какой еще дом Васькова?

Вахтер высунулся снова, насмешливо глянул на Костю.

— Тюрьма это, понял? Арестовали твоего батю. За дело, стало быть. У нас зря никого не арестовывают. А ты больше сюда не приходи!

И дверь захлопнулась, на этот раз окончательно. Костя постоял несколько секунд, потом медленно спустился по ступенькам. Ледяной ветер задувал за воротник, снег облепил щеки и ресницы; Костя этого не замечал. Новость оглушила его, он вдруг утратил все чувства: не ощущал ни холода, ни неудобства; не сознавал себя и плохо понимал, где находится. Машинально повернулся и побрел в кромешную тьму. В эту минуту он ничего не боялся, и если бы перед ним разверзлась пропасть, он без колебаний шагнул бы в нее. Ему было все равно. Но заснеженная дорога возникала словно ниоткуда, и Костя все шел и шел вперед, не замечая времени, сам не зная, куда и зачем идет. В какой-то момент ощутил внутренний толчок и резко остановился. Провел ладонью по замерзшему лицу, стал осматриваться... Он стоял посреди ночной улицы. Все это время он шел под уклон, просто потому что это было легче. Но что там впереди? Костя присмотрелся. Вдали угадывались дома, окна их были темны. Стояла глубокая ночь, все давно уже спали.

Его вдруг обожгло: отец! Где же он? А что, если он уже вернулся? Да, конечно, отец наверняка теперь дома, а Рябокоть за чем-то соврал про тюрьму. А может, и не соврал, а просто не так все понял. Отца пригласили на беседу, а потом отпустили. И даже отвезли домой на служебной машине! И теперь он пьет чай из своей любимой кружки и с беспокойством поглядывает в окно, недоумевая, куда подевался его сын...

Костя стал оглядываться, пытаясь понять, в какой стороне их дом. По всему выходило, что он забрел в самый дальний конец поселка, перелезал через макушку горы и движется к бухте Гертнера. А раз так, нужно поворачивать назад. Он развернулся и побрел обратно в гору. Ветер с новой

силой ударил в лицо, на секунду ослепив глаза и сбив дыхание. Костя прижал подбородок к груди, крепче запахнул воротник и заботился только о том, чтобы не упасть в сугроб. Так он шел, задыхаясь, несколько минут, пока не оказался на самом верху. Ветер здесь задувал с удвоенной силой. Улица по-прежнему была пуста. Тяжело бухая валенками, Костя шагал теперь под уклон, думая лишь об одном: как бы поскорее попасть домой. Отец может пойти его искать, и тогда они разминутся. Надо было оставить записку — мол, так и так, ушел в поселок, скоро вернусь, — тогда Борис Иванович не стал бы беспокоиться, а теперь он точно уйдет... Нужно поскорее очутиться на той единственной дороге, которая ведет в поселок. Тогда отец заметит Костю, даже если поедет на машине. Заметит, посадит в теплый кузов, и они вместе вернутся домой...

Этим мечтам не суждено было осуществиться. Борис Иванович Кильдишев в это время сидел в кабинете следователя на втором этаже каменного здания на улице Дзержинского. Ярко светила двухсотваттная лампочка, в черные окна бился ветер со снежной крупой, дробно стучала печатная машинка, сизый дым от папирос «Казбек» струился к потолку. В кабинете находились четверо: два следователя, подследственный и машинистка. Последняя заправила в машинку очередной печатный лист, ее длинные костлявые пальцы резко ударяли по твердым клавишам, отчего раздавался сухой перестук, отдаленно напоминающий пулеметную очередь.

Следователь, сидевший за столом, неотрывно смотрел на арестованного, словно тот мог в любую секунду испариться. Другой энкавэдэшник все время оставался на ногах, он то подходил к окну и рассеянно вглядывался в черноту ночи, то вставал у стола, то приближался к подследственному — и тогда на его лице читались презрение и брезгливость.

Подследственный (а это был Костин отец) переводил вопрошающий взгляд с одного следователя на другого. Он никак не мог взять в толк, чего от него требуют эти люди. Еще вчера они отдавали ему честь на улице, а сегодня задают странные вопросы. Битый час он им втолковывает очевидные вещи, и все напрасно!

— Значит, продолжаете упорствовать! — внушительно произнес тот, что сидел за столом. — Не желаете разоружиться перед советской властью!

Машинистка задвигала пальцами, раздалась очередная «пулеметная очередь».

Борис Иванович подался всем телом вперед.

— Товарищи дорогие, о чем вы говорите? Я ничего не понимаю! Какой заговор? Против кого? Что за ерунда?

Машинистка быстро оглянулась и, что-то решив для себя, снова застучала по клавишам.

— Вы полностью избалованы вашими подельниками, — бесстрастно ответил следователь за столом.

— Какими подельниками? Вы с ума сошли!

— Ваш заместитель Протасов дал против вас развернутые показания.

— Да не мог он ничего такого сказать! — вскинулся Борис Иванович. — Это все клевета!

— Допустим, — кивнул следователь. — А что вы скажете про вашего бывшего начальника Бокия?

— А он тут при чем?

— Вы ведь работали под его руководством?

— Да, работал, еще в Москве. Это что, преступление?

Следователи быстро переглянулись, на лицах появились кривые ухмылки.

— Этого мы пока не знаем. Но обязательно выясним. А лучше вам самому во всем признаться.

— Еще раз повторяю: мне не в чем признаваться! Я тут работаю третий год, все время на виду. В чем вы меня обвиняете?

— Вы обвиняетесь в организации Колымской антисоветской шпионской, повстанческо-террористической вредительской организации.

— Впервые слышу о такой.

— Не прикидывайтесь! Нам все известно.

Борис Иванович внимательно посмотрел в лицо следователя за столом. Ему вдруг показалось, что все это шутка, нелепый розыгрыш. Вот сейчас этот следователь живо поднимется, подойдет, хлопнет с размаху по плечу и рассмеется: «Ловко мы вас разыграли! А вы и поверили... Ну ничего, считайте, что это тренировка. Если попадете в лапы врагов, вам этот опыт пригодится. Вы должны будете вести себя так, как и сегодня, — мужественно и непреклонно, как настоящий советский человек, преданный делу великого Сталина!»

Но следователь продолжал сидеть и все так же сверлил Кильдишева взглядом; его скуластое лицо казалось высеченным из камня. Вдруг он с размаху ударил кулаком по столу:

— Ты нам все расскажешь, сволочь! Отвечай быстро, кто твои сообщники!

Борис Иванович ничего подобного не ожидал. Столь резкая смена настроения поразила и оглушила его. Возникло чувство полной нереальности происходящего. Он быстро оглянулся, посмотрел на входную дверь. Но там никого не было, следователь обращался к нему, именно его назвал сволочью! Это звучало так дико, несуразно, что он даже обидеться не успел.

— Послушай, лейтенант, — Борис Иванович чуть придвинулся к столу, наклонился. — Не надо на меня кричать. От крика толку не будет. Я уже сказал, что ни в каких организациях не участвовал и признаваться мне не в чем. Свое личное оружие я сдал в комендатуру на прошлой неделе. Да вы сами посудите, — он перевел взгляд на того следователя, что стоял сбоку, — зачем мне бороться с советской властью? Ко мне сын приехал полгода назад, я теперь за него отвечаю. Он сейчас один остался, не знает, что со мной. Совсем еще малец, всего шестнадцать лет парню!

— О сыне заботишься? — мрачно усмехнулся следователь. — Вот признаешься — и сразу пойдешь к сыну... Ну, говори быстро! Нас тоже дома ждут, не один ты такой.

Борис Иванович раскрыл было рот — и не смог выдавить из себя ни слова. Он готов был повиниться в каком-нибудь реальном промахе, но не объявлять же себя предателем или террористом! Когда-то он сам работал в ВЧК и отлично знал все эти методы. Если он сейчас признает себя за-

говорщиком, то сразу же начнутся вопросы о сообщниках и его не отпустят, пока не вытянут все ниточки, смешивая правых и виноватых. Фактически от него требуют, чтобы он впутал в это дело своих знакомых, придумал для них вражеские роли, сочинил провокационные речи, составил планы по свержению советской власти... Нет, соглашаться на такое никак нельзя! И он решил стоять до конца.

В первый день его не били и даже не оскорбляли (если не считать оскорблением само обвинение в терроризме). Но и домой не отпустили. Дело его только начало раскручиваться — согласно обычному сценарию сотрудников НКВД, успешно применявших эту нехитрую схему по всей огромной стране в разных, даже самых замысловатых случаях. Ситуации случались всякие, и люди все наособицу, но метод разоблачения всегда был одинаков. Сначала следовали стандартные вопросы и требования признаться в несуществующей вине. От вопросов очень быстро переходили к угрозам, которые тоже не отличались разнообразием: страшали физической расправой (что и происходило через непродолжительное время), пугали арестом близких людей (члены семей подсудимых становились заложниками и тоже шли в лагеря или на расстрел). Еще применялся такой иезуитский способ: обвиняемым предлагали признать вину в интересах партии и ее борьбы с многочисленными врагами советской власти. И совсем уже подлый прием — это когда человека обещали отпустить в обмен на признание несуществующей вины. Такое практиковалось на публичных процессах, когда уродовать обвиняемых было нельзя, а единственным доказательством их вины был самоговор. Те, кто соглашался, в конечном итоге все равно получали пулю в затылок, их расстреливали сразу после вынесения приговора.

Отец Кости мало что об этом знал, даже несмотря на то, что сам когда-то был чекистом. В начале двадцатых тоже избивали и расстреливали, особо не разбираясь. Но тогда шла Гражданская война и уничтожали подлинных врагов: попов, бывших князей и разную интеллигентскую сволочь, которая только и ждала, когда придут белые и перевешают всех, кто бьется за дело рабочего класса. А теперь хватали своих — героев Гражданской войны, ветеранов ЧК, секретарей крайкомов и большевиков с дореволюционным стажем.

Уже сидя в камере, видя избитых заключенных, которых Борис Иванович знал как честных, преданных партии людей, он с ужасом стал осознавать, что мир, похоже, перевернулся с ног на голову. Его допрашивают и судят бывшие товарищи! Ему приписывают преступления, которых он не мог совершить даже гипотетически! Все это на полном серьезе, с непоколебимой верой в его вину. Как тут быть, что делать и что говорить, Кильдишев придумать не мог. В других обстоятельствах он бы просто отвергал все обвинения, не признавал вздорные вымыслы и предоставил следователям самим искать улики и доказательства, которых не существовало. Но в том-то и заключалась подлость нынешних дознавателей: никаких улик они искать не собирались. Вина считалась установленной заранее, ее требовалось лишь закрепить собственноручным признанием. И этого признания добивались во время следствия всеми мыслимыми и немыслимыми способами.



Но чуть ли не больше собственной участи Бориса Ивановича беспокоило, чем занят его сын, оставшийся один-одинешенек в доме на краю света, в краю так мало пригодном для людей вообще и для оставшегося без призора подростка в частности.

Костя, с трудом добравшись в ту выюжную ночь до дома, никого там не нашел. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: отец не приходил. Костя все же внимательно осмотрел все углы, потом замер в глубокой задумчивости, не зная, на что решиться. Его тянуло немедленно бежать куда-то, что-нибудь предпринять... Но разумнее было подождать до утра, пойти в поселок и там все разузнать.

Наметив такой план, Костя немного успокоился и занялся печкой. Это была привычная работа, которая не требовала особых усилий. Руки машинально подбирали поленья по размеру и складывали их в топку, затем брался кусок бумаги, подносила зажженная спичка — и вот уже занялся крошечный огонек, послышалось потрескивание, вкусно запахло дымком. Костя захлопнул дверцу и выпрямился. В доме сразу стало уютнее, и даже метель снаружи словно бы поутихла, уже не так сильно билась в окна. Теперь, когда дверь была на крепком запоре, а в печке шумело пламя, мальчик расслабился и начал приходить в себя.

Отца отпустят завтра — не могут не отпустить! Эта вера помогла Косте пережить первую ночь в его жизни, когда он остался совсем один и понял, что помощи ждать не от кого.

А утром над миром как ни в чем не бывало блистало солнце. Метель угомонила, небо очистилось, и все вокруг играло разноцветными искрами. Стоял крепкий мороз, воздух был неподвижен и яростно покусывал нос и щеки. Костя вышел на минуту проверить температуру и, убедившись, что холод не шутит, поспешил обратно в тепло. События вчерашнего вечера казались страшно далекими и нереальными, будто все это было во сне: темнота, злобная метель, путешествие в поселок среди ночи, ужас и отчаяние в душе... Вот сейчас он разогреет чайник на плитке, напьется горячего чая и побежит в поселок — напрямик в Управление. Отца, наверное, уже отпустили, и он теперь на службе, занимается важными делами. Костя не станет ждать до вечера, забежит на минутку, проверит, что с отцом все в порядке, а потом поспешит в школу. Попроется потихоньку в класс и сядет за парту. Быть может, Ида Григорьевна и не заметит его отсутствия.

После уроков он вернется домой по скрипучему снегу. Короткий отдых, затем нужно будет быстренько протопить печь, расчистить большой лопатой снег во дворе, вымыть в тазике посуду и подмести пол. А уж потом делать уроки, разогревать ужин и ждать с работы отца. Отец обычно приходил поздно, но сегодня он наверняка вернется пораньше и подробно расскажет о случившемся недоразумении. Они, конечно, посмеются, но и подумают вместе о скорейшем возвращении домой в Новосибирск.

Костя как-то разом осознал, что ничего интересного в этом суровом краю нет. Совсем не так он представлял себе Крайний Север! Вместо необъятных просторов — сплошные запреты; вместо многодневных переходов и каждодневного риска — обычная жизнь в довольно скучном поселке, шко-

ла, уроки, учителя... Никакой романтики и героизма. Уж лучше тогда учиться там, где закадычные друзья и ласковая природа! Да и с отцом дома ничего не случится, не то что здесь.

В таком приподнятом настроении Костя согрел чайник, выпил два стакана сладкого чая и съел два куска хлеба с маслом. Потом, чувствуя растущее нетерпение, облачился в свои «доспехи» — шубу, шапку и валенки — и выскочил на улицу, на мороз. В первую секунду дыхание перехватило, голова закружилась, а глазам стало больно от сверкающего снега и ослепительного солнца.

Костя побежал в поселок, иногда замедляя шаг, чтобы перевести дыхание. На душе было и тревожно и радостно, ледяной воздух обжигал легкие, глаза слезились. Временами Костю переполнял восторг — и тут же подступал к сердцу ужас. Он гнал свои страхи прочь, старался подавить их усилием воли, и это как будто удавалось, но стоило отвлечься — и ноги тяжелели, уже не хотелось никуда идти, а хотелось упасть лицом в снег, ничего не видеть и не знать.

Когда он подходил к Управлению связи, его сердце бешено стучало. Скорее всего, отец работает как ни в чем не бывало в своем кабинете, разбирает бумаги. Увидев на пороге сына, он живо поднимется, подойдет и начнет объяснять, где был и почему не пришел домой. Но это будет уже не важно — главное, с ним все в порядке!

Костя взошел по ступенькам и потянул на себя тяжелую, обитую войлоком дверь. На него пахло теплом, он переступил порог и остановился. Перед ним тут же словно из-под земли вырос красноармеец с винтовкой.

— Тебе чего? — спросил он, оглядывая подростка с ног до головы.

— Я к отцу пришел, он тут работает! — задышавшись от волнения, проговорил Костя.

— К какому еще отцу? Как фамилия?

— Кильдишев. Борис Иванович.

— А-а... Нету его! Иди домой, тебе сюда нельзя.

Лицо красноармейца сделалось брезгливым.

— Погодите! А где он? Я его ищу!

Костя сделал порывистое движение и остановился. Дальше хода не было. Красноармеец сверлил его взглядом и явно решал, как с ним поступить.

— Отца твоего вчера арестовали. Больше сюда не ходи, а то и тебе не поздоровится.

— Где он? — в отчаянии воскликнул Костя. Он готов был заплакать и держался из последних сил. — Пожалуйста, скажите! Мне очень нужно!

Красноармеец словно бы заколебался, взгляд его стал отстраненным, и он тихо произнес, едва шевеля губами:

— В Управление увезли... — Потом добавил, заметив недоумение подростка: — В дом Васькова. Там ищи. — И отвернулся.

Костя плохо помнил, как вышел на улицу и спустился по усыпанному снегом ступенькам. Свет словно померк. Голова была пустой и тяжелой, а внутри все замерло и окаменело. Сначала он взбирался в гору, потом спускался, машинально обходя встречных и не интересуясь, кто перед ним.

Вдруг, как будто кто-то дунул ему в лицо, тяжесть отступила. Он поднял голову — и узнал место. Здесь он летом ходил на работу в клуб НКВД. Если немного пройти назад и свернуть в парк, то сразу будет фильмохранилище. Быть может, там еще работает инженер Александр Михайлович Мамалыгин.

Костя воспрянул духом. Вот кто ему нужен! И как он сразу не подумал о Мамалыгине? Этот немногословный человек знает так много, он и подскажет, что теперь делать!

Костя развернулся и ускорил шаг. Пройдя полтора метра, он перебежал дорогу и, свернув под круглую арку, ведущую в парк, увидел слева знакомое каменное здание. На крыльце было пусто, вход никто не охранял. Спустя минуту Костя уже с трудом открывал массивную дверь.

Александр Михайлович был занят привычным делом — просматривал коробки с фильмами, тряпочкой стирал с них пыль и неспешно раскладывал по полкам. Из Москвы то и дело поступали специальные депешки, и приходилось перебирать все коробки, откладывая в одну сторону те, что попали под запрет (или вообще подлежали уничтожению), а в другую — рекомендованные к просмотру. Всякий раз Мамалыгин делал это неторопливо и вдумчиво: ошибка могла стоить ему свободы и даже головы.

В последнем полученном из столицы предписании говорилось о немедленном изъятии из оборота фильма «Заключенные», снятого по пьесе Погодина «Аристократы». Мамалыгин хорошо помнил этот фильм. Картина ему жутко не понравилась, в ней было много вранья — того, чего в действительности происходить не могло. Но запретили ее не из-за лживости (это как раз устраивало советскую цензуру), а потому что в одном из эпизодов мелькнул портрет бывшего начальника НКВД Генриха Ягоды. По ходу фильма начальник лагеря беседует в своем кабинете с вором-рецидивистом Костей Капитаном — проводит, так сказать, воспитательную работу с «друзьями народа». И все бы ничего, но позади него со стены смотрит бывший глава чекистов, непримиримый борец с многочисленными врагами советского государства, а ныне — враг народа, арестованный и дающий признательные показания в том, что он агент десяти иностранных разведок, много лет готовил покушение на товарища Сталина и мечтал о свержении советской власти. Той самой, за установление которой сам же боролся с пятнадцатилетнего возраста, попал на царскую каторгу и едва не сгинул в горниле Гражданской войны. Это настолько противоречило здравому смыслу, что хотелось просто взять и застрелиться, чтобы не видеть весь этот абсурд и всю эту мерзость.

Неспешно перекладывая круглые металлические коробки и грустно усмехаясь своим мыслям, Мамалыгин не услышал, как открылась дверь и в помещение вошел посторонний.

Костя постоял несколько секунд у порога, потом осторожно кашлянул. Мамалыгин резко обернулся, вскинул брови.

— Костя, ты? Каким ветром тебя занесло?

Мальчик сделал пару шагов и остановился. Губы его задрожали, на скулах заходили желваки.

Александр Михайлович отложил коробку, лицо стало очень серьезным. Он внимательно посмотрел на подростка.

— Что случилось? — спросил тихо.

Вопрос был излишним, он уже все понял. В поселке каждый день шли аресты, и до Мамалыгина уже дошли слухи о Костином отце. Кроме того, инженер видел такие лица, как теперь у Кости. Такое же выражение было у его жены, когда его самого уводили из дома ночью пять лет назад.

Костя силился что-нибудь сказать, но с трудом выдал лишь одно слово:

— Отец...

Горло перехватила судорога, и он отвернулся, изо всех сил прижимая ладони к лицу, чтобы не расплакаться.

Мамалыгин быстро подошел, взял мальчика за плечи.

— Ну-ну, не надо так! Ну чего ты?

Прижал Костю к себе, чувствуя содрогания худенького тела. Сердце болезненно заныло, вспомнилась дочурка. Сейчас ей должно быть восемь лет. Пятый год без отца... Чтобы самому не заплакать, инженер отвернулся, отошел в угол. Глухо произнес:

— Ты вот что... Не хорони отца раньше времени! Может, еще и отпустят. Всякое бывает.

Сказать правду убитому горем подростку он не решился. Тех, кого взяли за политику, никогда не отпускали, это он знал слишком хорошо. Если человека арестовали — значит, он виноват. Советская власть никогда не ошибается, потому как она за народ и за высшую справедливость!

Костя с мольбой смотрел ему в спину.

— Александр Михайлович, что же мне делать?

Мамалыгин медленно повернулся.

— Езжай домой, к матери.

— Как же это? А отец?

— Отец потом придет, когда все выяснится и его отпустят.

Костя замер от неожиданности.

— Но я не могу его бросить. Я должен быть с ним!

Инженер отвел взгляд.

— Ты ему ничем не поможешь. Только хуже сделаешь.

— Хуже? — переспросил мальчик. — Но почему? Мой отец ни в чем не виноват!

Мамалыгин уже пожалел, что затеял этот разговор. Надо было сослаться на занятость и ничего не слушать. Мало ему своих проблем!

— Ты вот что, — произнес он отстраненно. — Иди сейчас домой и жди отца. Если к вечеру не вернется, тогда утром ступай напрямик в Управление НКВД. Знаешь, где это?

Костя кивнул. Конечно, он знал. Отец несколько раз показывал ему это здание на центральной улице поселка. Там всегда стояли красноармейцы, подъезжали и отъезжали черные «эмки» и все были страшно озабочены и куда-то спешили. Косте было отчего-то не по себе, когда он бывал рядом. Но теперь он твердо решил, что войдет в это здание любой ценой.

С минуту длилось молчание. Наконец Мамалыгину стало неловко, и он спросил:

— Как у тебя с продуктами? Деньги есть?

Костя неуверенно кивнул.



— Есть немного.

— Вот и хорошо. Ты приходи, если что понадобится.

Костя подумал секунду, потом в упор посмотрел на инженера.

— Александр Михайлович, возьмите меня обратно на работу!

— Зачем это? Тебе учиться нужно! Какая работа?

Костя горько улыбнулся.

— Сами говорили про деньги. Как закончатся, что я буду делать?

Мамалыгин неопределенно повел плечами.

— Отец к тому времени вернется.

— А если не вернется?

Александр Михайлович внимательно поглядел на Костю. Он вдруг увидел, что это уже не ребенок. С худого скуластого лица на него смотрели глаза взрослого человека. В этом взгляде читалась неизмеримая боль, но было и твердое намерение бороться. Инженеру стало как-то неудобно. Перед ним стоял подросток, который — это он понял с предельной отчетливостью — не отступит перед страшной силой, что ломала судьбы, превращала в ничто мечты, уничтожала любовь и привязанности. Выходит, не все готовы пресмыкаться перед нею и не все можно уничтожить! Эта надежда прозвучала внутри Александра Михайловича как глас Божий. А источником ее был худенький мальчик, так не по-детски решительно смотревший на него...

Мамалыгин подошел к Косте, взял его за руку.

— В общем, так. Я тебя с удовольствием возьму помощником. Ты ведь уже работал, дело знаешь. Завтра вместе ходим к Лаврентьеву. Он должен тебя помнить. Возьмет, куда не денется! — И уверенно кивнул головой, подкрепляя свои слова.

На самом деле он вовсе не был уверен, что Костю примут на работу. Борис Иванович Кильдишев арестован, и его сын теперь не просто мальчик, он теперь сын врага народа. Его и самого могут арестовать вслед за отцом, а если оставят на свободе, то поместят в детдом. Или вышлют на материк. Или он просто умрет от голода: на работу его не примут и даром кормить тоже никто не станет. А будет побираться или воровать — конец тот же: арест, приговор, и марш в лагерь хлебать баланду и кайлить с утра до ночи мерзлый камень, пока не околеешь!

Всего этого бывший заключенный ГУЛАГа, конечно, вслух Косте говорить не стал. Сам все узнает, когда придет пора. А может, и не доведется ему испить эту горькую чашу. Вон как грозно смотрит! Волчонок — ни дать ни взять! Может, так и надо себя вести с этой властью? Когда тебя уничтожают — бороться, отвечать ударом на удар! Даже если не получится уцелеть, все равно это лучше, чем покорно идти на заклание. Чудовище никогда не насытится. Нужно его извести, развеять по ветру, отправить в ад, в геенну огненную! И, может, тогда спасутся хотя бы будущие поколения...

Мамалыгин поразился самому себе. Ни в момент ареста, когда он был возмущен несправедливостью, ни во время следствия, когда его обвиняли во всевозможных злодеяниях и били смертным боем, ни в лагере, ни даже теперь, когда он относительно свободен и размышляет спокойно, — его не посещали такие мысли.

Мальчик ушел, а инженер все думал, все ходил по комнате, машинально перекладывая предметы с места на место. Ему вспомнился покинутый дом, с детства знакомая улица, он видел летнее ленинградское небо и висящие в нем легкие облачка... Где это все? И почему он стоит в этой темной комнате, не смея сделать то, к чему стремится всем сердцем? Почему его дочь растет без отца, а жена работает с утра до позднего вечера и едва сводит концы с концами? Отчего все вокруг объята страхом и ждут от нового дня чего-то плохого? За что им такое?

В нем поднималась горечь, а ответа не было.

Костя в это время спешил домой. Внутри него зрело новое, пока непонятное ему самому чувство — злость, непреклонность, бесстрашие? Словно откуда-то из тайных глубин его естества сейчас проросло что-то важное, пробивалась некая истина. Понятнее он не смог бы сказать, потому что не придумали еще таких слов. Обычные слова бессильны, когда речь заходит о жизни и смерти. В такие моменты чувства сумбурны, мыслей почти нет, а в душе клубятся странные, туманные вихри; и что-то там, на глубине, постепенно складывается — и рождается новый человек, какого до этого не было, о котором и догадываться никто не мог!

Вот что Косте предстояло вскоре пережить — или же сломаться и погибнуть.

Но сейчас он, ни о чем таком не помышляя, приближался к дому. Да, он будет ждать отца. Тот вернется среди ночи, загремит железным замком... Костя подбежит к нему, прижмется к осыпанной снегом шубе. Потом отец разделенется, сядет к столу и станет рассказывать о том, что с ним приключилось. Он будет говорить медленно, раздумчиво, отводя взгляд, словно бы погружаясь в прошлое. Все объяснит, успокоит Костю, вернет ему веру в справедливость. Уже под утро вдруг рубанет воздух рукой и скажет решительно: «Ну все, давай укладываться. Поспим чуток, а потом будем собираться. Баста! Домой поедем, к матери! Я уже обо всем договорился с начальством. Через неделю придет пароход, и мы на нем поплывем во Владивосток. А там на поезд и — фьють! — прямо до дома. Вот мать-то обрадуется!..»

Костя представлял лицо матери и счастливо улыбался. Они войдут в дом, поставят на пол чемоданы; мать бросится к отцу, обнимет и долго будет так стоять, причитая и вздрагивая от сдерживаемых рыданий. Да, так все и будет!..

Но ни в эту ночь, ни утром, ни в последующие дни и ночи отец не пришел. Костя крепился из последних сил, придумывал всяческие оправдания и причины задержки. Он выходил на улицу и до рези в глазах всматривался в сверкающую даль. Мир словно оцепенел. Время застыло. Ничто не двигалось; укрытые снегом горы уснули. В сердце Кости проникала острая тоска. Казалось, никогда не наступит лето, не растают льды, всегда будут сугробы, мертвые холмы и это холодное солнце, словно вплавленное в небосвод. И он всегда будет жить в этой избушке, ждать отца, а отец не придет. Никогда.

Костя леденел от таких мыслей, от этих жутких предчувствий. Торопливо возвращался в дом, захлопывал дверь и несколько минут стоял, медленно приходя в себя. Потом, словно опомнившись, обводил комнату удивленным



взглядом, снимал шубу и садился за стол. Голова клонилась на грудь, он закрывал глаза и погружался в полусон-полуявь. Дом выстывал, угли в топке прогорали, печально потрескивая. Все обволакивала тишина. Чувствуя пронизывающий холод, Костя с трудом поднимался и шел к печке. Подбрасывал поленья и подолгу смотрел на огонь, ни о чем не думая.

Так протекали его одинокие дни и ночи в неприветливом краю, где сама природа, казалось, обрекала человека на жестокость и забвение всего, что дорого и близко.

О том, что происходило с Борисом Ивановичем Кильдишевым, мы не будем говорить подробно. Все это и так хорошо известно: садистские избиения во время допросов; «выстойки», когда человека держат на ногах несколько суток кряду, не позволяя сесть или прислониться к стене; имитации расстрелов, когда ему объявляют приговор и ведут в подвал, где наводят винтовки, но в последний момент стреляют мимо... Власть над ближним, оказавшаяся в руках малограмотных следователей, разбудила в их нестойких душах звериные начала, ранее таившиеся на самом дне, и породила в головах самые извращенные фантазии.

Костин отец прошел все эти круги рукотворного ада. Его не убили лишь потому, что он не признал своей вины в тех фантастических преступлениях, в которых его обвиняли, не подписал ни одного протокола допроса. Он выжил, но какой ценой... Ему выбили все передние зубы, сломали несколько ребер, изуродовали лицо. Все это время он почти ничего не ел и не получал никакой медицинской помощи. Психика его была сломлена, в свои сорок шесть лет он превратился в изможденного, трясущегося от слабости старика, хотя до ареста был дороден и силен...

К счастью для себя, Костя ничего этого не знал. В таких ситуациях неведение — благо. Не имея никакой информации об отце, подросток сохранял веру в то, что тот когда-нибудь вернется и все станет как раньше. С этой надеждой он и жил все последующие месяцы, по этой причине не уехал домой. Он не мог бросить отца в беде и решил дожидаться его во что бы то ни стало.

Когда он снова появился в клубе УСВИТЛа, вошел в фильмохранище и предстал перед инженером Мамалыгиным, тот опять понял все с одного взгляда: отец мальчика проходит круги пыточного следствия, никаких сведений об отце сыну не предоставляют и отовсюду гонят, в том числе выгнали и из школы — как сына врага народа. Теперь у него нет ни средств к существованию, ни веры в справедливость. Осталась лишь злость, а еще — чувство долга, которое у таких людей умирает только вместе с ними. Мог ли Александр Михайлович отвернуться от этого паренька?

Мамалыгин шагнул к подростку, который смотрел на него не то с ожиданием, не то со злостью. Так смотрит зверь, вышедший из леса к людям в смутной надежде на спасение от голода или стужи, но не доверяющий им. Александр Михайлович положил ладонь ему на голову и чуть пригладил волосы, успокаивая. Это получилось само собой.

Костя понял его бессознательное движение: «Не бойся! Теперь мы вместе, я тебе помогу». Горло мальчика перехватил спазм, в груди стало жарко. Костя задохнулся от пронзительной жалости к себе, из его глаз брызнули

слезы. Он закрывался рукавом, стыдясь, но не в силах с ними совладать. Инженер, этот крепко битый жизнью человек, обнимал его и сам готов был заплакать — от бессилия. Он понимал, что изменить ничего нельзя. Все, что он сейчас мог сделать для Кости, — это помочь ему устроиться на работу.

Но и здесь не все зависело от него. Заведующий контрольно-воспитательной частью клуба Лаврентьев хорошо помнил, как оформлял Костю восемь месяцев назад. И, уж конечно, знал о том, что приключилось с его отцом. Брать на работу сына врага народа он не мог. То есть мог, но не хотел. А сказать правильнее — боялся. В то же время заведующий понимал, что его отказ означает для Кости детский дом, а то и что-нибудь похуже. Находиться в режимном поселке без родителей и без определенного занятия несовершеннолетним было запрещено.

Лаврентьев призадумался. Он вдруг представил, что однажды к нему пойдет Борис Иванович Кильдишев, его старый товарищ, посмотрит в упор и сурово спросит: «Почему ты не помог моему сыну, когда он остался совсем один?» Такой возможности исключать было нельзя. И, представляя этот разговор, Лаврентьев зябко поводит плечами. Вся его мясистая фигура колыхалась, грузная голова беспокойно ворочалась на короткой толстой шее. Он то порывался встать и выйти вон, то едва сдерживался, чтобы не прикрикнуть на смиренно стоящих перед ним просителей, но все не мог принять определенного решения.

Наконец, надумавшись до изнеможения, он спросил Костю:

— А в детский дом ты не хочешь? Тебе ведь нельзя одному.

Костя решительно помотал головой.

— В детский дом не пойду! Мне это уже предлагали. Там одни детишки, а я взрослый. Вам ведь нужен помощник киномеханика? Я уже работал у вас. Вы что, забыли?

Мамалыгин согласно кивнул, неотрывно глядя на Лаврентьева. Инженер прекрасно видел внутреннюю борьбу, которая отражалась на лице заведующего клубом, читалась в его фигуре, в неуверенных порывистых движениях. Он не осуждал своего начальника, лишь надеялся, что совесть для того окажется весомее, чем страх.

— Прошу принять Кильдишева на работу! — твердо произнес Александр Михайлович. — Он знаком с аппаратурой. Уже работал у нас и показал себя с самой лучшей стороны. Так что не вижу никаких причин...

Он не закончил фразу, лишь пожал плечами, как бы давая понять, что тут и обсуждать нечего. Не стал напоминать заведующему про мизерную зарплату помощника киномеханика и про то, что они уже несколько месяцев не могут найти желающих на эту довольно ответственную и совсем не простую работу.

Заведующий все это знал и сам. И, сказать по чести, ему было жалко парня. Просто время теперь такое, что нужно держать ухо востро и хорошенько все взвешивать, прежде чем... В конце концов он шумно выдохнул и вдруг гаркнул:

— Ладно, черт с тобой! Быстро пиши заявление. Только смотри, ежели чего — вот где ты у меня будешь!

И он поднял перед собой крепко сжатый кулак с побелевшими костяшками. Что он хотел этим кулаком показать, он и сам не вполне понимал.

Но ему вдруг стало легко и радостно, как будто он сломал у себя внутри некий барьер, который раньше не позволял ему свободно вздохнуть и расправить плечи. Все-таки выбор, сделанный по велению совести, многое значит!

Так Костя вступил во взрослую жизнь, теперь уже безо всяких оговорок. Пока рядом был отец, Костя знал, что ничего плохого с ним не случится. Двойка по математике, драка с одноклассником, невыученные уроки, детское непослушание — все это вдруг умалилось, обратившись в ничто. Он бы и хотел теперь сделать что-нибудь такое, за что его пожурили бы взрослые, но понимал, что это невозможно. Детство ушло безвозвратно. На Костины плечи легла самостоятельная жизнь со всеми ее тяготами.

Идя утром на работу, он с трудом отрывал ноги от земли, как будто сила притяжения увеличилась втрое. Заправляя бобину с кинолентой в проектор, дрожал от слабости и никак не мог надеть тяжелый круг на железную ось. Часто присаживался отдохнуть, чувствуя себя вконец измотанным. Ему постоянно хотелось спать. Минуты, когда он склонял голову на подушку и погружался в сон, были самыми благодными. Зато утренние часы превращались в настоящую пытку. Жизнь потеряла краски, сделалась серой и однообразной.

Мамалыгин видел мучения подростка и поддерживал его как мог. Кипятил утром воду на плитке, и они вдвоем пили чай из больших алюминиевых кружек, обжигая губы и постепенно сбрасывая с себя сонную одурь. К чаю добавлялся кусок черного хлеба и пара кусочков пиленого рафинада, о который с непривычки можно было сломать зубы. Костя навсегда запомнил вкус этого чая, а еще то, как он прихлебывал кипяток из пол-литровой кружки, как смачно хрумкал сахар и каким необыкновенно вкусным был этот черный, не до конца пропеченный хлеб. Горячий напиток согревал внутренности, и Костя словно оттаивал с мороза. Уже не так мрачно смотрел на окружающее, в душе его снова просыпалась вера, что рано или поздно все образуется.

Так миновали два зимних месяца — январь и февраль тридцать восьмого. Жуткая колымская зима заканчивалась, словно истаивая, неслышно уходя сквозь камни в почву. Солнце с каждым днем поднималось все выше, небо распахивалось во всю ширь и насыщалось лучистой синевой, а ветер с залива приносил незнакомые запахи, которые отзывались в душе смутной надеждой на что-то не выразимое словами, но заставляющее душу трепетать и стремиться вдаль. Суровая северная природа очнулась от бесчувствия и жадно потянулась к теплу и свету.

Но не всем весна тридцать восьмого года несла добро и лучшую долю. Волна арестов, прокатившаяся по Колыме, по всем ее лагерям и командировкам, по наспех созданным совхозам и поселкам и по судьбам самых разных людей, вся эта вакханалия бессмысленной жестокости имела свое продолжение. Никто из десятков тысяч арестованных и обвиненных в самых фантастических преступлениях не был оправдан. Половину расстреляли сразу. Другая половина отправилась в лагеря — искупать свою мифическую вину вполне реальным трудом до кровавого пота, до полного упадка жизненных

сил и до смерти, которая для многих стала благом, потому что избавляла от нечеловеческих мук. Отец Кости не избежал общей участи, даже несмотря на то, что не признался ни в одном преступлении из тех, которые ему предъявляли. Если гражданин арестован доблестным НКВД, то это само по себе доказательство его вины.

Бориса Ивановича Кильдишева не расстреляли, а всего лишь отправили в лагерь. Благо и ехать далеко не пришлось, ведь все лагеря были тут же, на безжизненном Колымском нагорье. Колымская трасса тянулась от бухты Нагаева точно на север, затем отклонялась на запад, образуя гигантскую дугу, замыкающую безлюдную и бесплодную территорию в несколько миллионов квадратных километров. Усеянная белесыми камнями дорога пересекала промороженные долины и распадки, взбиралась на открытые всем ветрам перевалы и, скатываясь на равнину, вытягивалась среди дикой, словно бы придушенной травы, чахлах кустиков и множества речушек и ледяных ручьев, в которые даже летом нельзя войти без дрожи, — и так две тысячи верст до Якутии. Строительством трассы занимались заключенные. Лагерь — а их здесь несколько сотен — также были построены ими. В ту пору все на Колыме возводилось руками советских граждан, насильно привезенных в это царство холода и смерти и обреченных здесь на непосильный труд, какой и не снился каторжанам царского времени.

Костиному отцу повезло. Он закончил следствие без передних зубов, с переломанными ребрами, с безобразными шрамами на лице и со страшной душевной травмой, но все же стоял на своих ногах, мог обходиться без посторонней помощи и не сошел с ума. Последнее было почти чудом, но Борис Иванович каждую минуту помнил про сына и выжил ради него. Эта тоненькая нить удержала его сознание, помогла выстоять там, где ломались многие другие.

Костя не догадывался, что отца жестоко избивают на допросах, заставляют признать несуществующую вину, грозя арестовать сына и привезти на очную ставку жену. Все это не было пустой угрозой. Будучи на свободе, Борис Иванович знал и про казнь Тухачевского, и про арест Бухарина, и про повальное уничтожение сторонников Троцкого — подлинных и мнимых; но эти новости скользили мимо его сознания, как тучки, что рано или поздно уйдут за горизонт, оставив ясный небосклон. Теперь, когда его самого схватили и пугали арестом жены и сына, он начал прозревать истинную суть творящейся на его глазах истории. И хотя он еще сопротивлялся, спорил со следователями и пытался внушить им очевидное — что никакой он не враг и может принести много пользы советской власти, — но уже понимал, что все это ни к чему не приведет. В ответ на заверения в преданности он получал только новые оскорбления и побои.

Мамалыгин подбадривал Костю, хотя понимал, что надеяться не на что. Уж он-то знал, как добываются «чистосердечные» признания и фабрикуются следственные дела. Косте инженер ничего об этом не говорил и на все вопросы туманно отвечал: дескать, нужно немного подождать, «там» должны во всем разобраться. Мол, дел таких очень много и все страшно перепуталось, но все равно нужно набраться терпения и верить.

— А давай-ка попьём чайку! Как ты на это смотришь? — вдруг предлагал инженер, и они откладывали коробки с фильмами и переходили в дальний темный угол, где размещалась самодельная плитка с нагревателем из витой проволоки, стоял металлический чайник и большие алюминиевые кружки. В чайник наливали холодную воду, плитку включали в розетку, садились на табуретки и ждали, когда кипяток забурлит и пойдет пузырями.

Но однажды Мамалыгин затеял непростой разговор. Он готовился к нему давно, да все не мог подобрать нужные слова. Боялся, что Костя не так поймет и натворит что-нибудь такое, чем погубит и себя, и отца, и самого Мамалыгина. План был очень зыбкий и чрезвычайно опасный, хотя шансы на успех имелись... Неизвестно, сколько бы инженер еще откладывал, но сама жизнь его поторопила. И Александр Михайлович решился.

— Вот что... — проговорил он буднично, отодвигая кружку.

Подросток глянул на него таким ясным, испытующим взглядом, что инженер тут же смешался.

— Вы хотите что-то сообщить про моего отца? — спросил Костя дрогнувшим голосом.

Он все время ждал, что откроется дверь и в комнату войдет улыбающийся отец. Но одновременно боялся, что ему вдруг сообщат об отце что-нибудь ужасное — такое, от чего жизнь разом закончится. Это мог сделать кто угодно, любой знакомый или вовсе посторонний человек.

Мамалыгин понял его волнение и поспешил успокоить:

— Да нет, я не об этом! Тут, понимаешь, такое дело... — Он снова замялся и пошевелил пальцами, как бы подыскивая нужные выражения. — В общем, говорю тебе по большому секрету! — Приблизил лицо и, приглушив голос, забубнил, пристально глядя на Костю: — Сегодня утром к Лаврентьеву приходил оперуполномоченный. Оттуда! — Он сделал выразительное движение бровями куда-то вверх и в сторону. — Ты меня понимаешь?

Костя насторожился и кивнул.

— Ну так вот, — продолжил Мамалыгин. — Он выспрашивал про тебя!

— Зачем? Чего ему надо?

Инженер усмехнулся.

— Помнишь, летом был случай, когда дуговая лампа погасла во время сеанса?

— Это когда мы про шпионов крутили? — с готовностью подхватил Костя.

— Точно! Нас еще к Лаврентьеву тогда вызывали, всё допытывались, не было ли злого умысла с нашей стороны.

— Ну да, я помню, — ответил Костя. — И что с того? Опять про дуговую лампу спрашивали? Мы же всё объяснили. Чего им еще?

Мамалыгин печально вздохнул.

— Лампа — это лишь предлог. Они теперь под тебя подкапываются!

— Как это? — не понял Костя.

Александр Михайлович задумался на секунду, потом встряхнул головой.



— В общем, так, дорогой Костя. Ты уже взрослый, и говорить с тобой я буду как со взрослым. Скажу тебе все как думаю. А уж ты сам решаешь.

Костя рывком придвинул табуретку, резко выпрямился, будто в спину вогнали железный штырь.

— Этот уполномоченный все подводил к тому, что ты неблагонадежный элемент и тебя надо хорошенько прощупать. Яблочко от яблоньки недалеко падает, и все такое... — Мамалыгин внимательно смотрел на Костю, а тот слушал, внутренне леденея и не вполне понимая сказанное. — Нет, ты не подумай! — вдруг вскинулся инженер. — Лаврентьев ничего плохого про тебя не сказал. Но им и не нужны доказательства. Арестуют тебя, а там поминай как звали.

— За что меня арестовывать? — удивился Костя. — Я ничего плохого не сделал!

— Да пойми ты, дурья башка! Ведь это ничего не значит — сделал или не сделал! — быстро заговорил Александр Михайлович. Глаза его лихорадочно блеснули в полутьме. — Я же тебе говорю: им все равно. Отец твой сидит. Этого вполне достаточно!

— Отца скоро выпустят! — дрожащим голосом выкрикнул Костя.

— Да, пожалуй, — смущенно пробормотал Мамалыгин. — Но ведь это когда еще будет! А тебя могут арестовать прямо сейчас. Войдут вот в эту дверь, и адью! Отец вернется, а тебя нет! Что мы ему скажем?

Костя открыл рот, но так и не нашелся, что ответить.

Александр Михайлович почувствовал его неуверенность и заговорил быстро, с напором:

— Тебе нужно срочно уехать. На некоторое время! Пойдем прямо сейчас к Лаврентьеву, напишешь заявление, получишь расчет — и быстро мотай из поселка! Отсидишься где-нибудь, пока все уляжется, а потом вернешься. Послушай опытного человека, я тебе теперь вместо отца. Верное дело говорю! Потом благодарить меня будешь.

Инженер выпалил эту тираду на одном дыхании, будто боялся, что ему не дадут закончить.

Костя оторопело смотрел на него. Он никак не мог взять в толк, почему он должен куда-то уезжать. Да и куда ему ехать? Не было у него здесь ни друзей, ни знакомых. Он даже паспорт еще не успел получить...

Но Мамалыгин уже все решил.

— Я дам тебе записку к одному человеку. Поедешь к нему, он выручит в первое время. А если тут что-то изменится, я сразу дам тебе знать. Ну же, соглашайся! Эти ироды не отстанут, уж я знаю! В тридцать четвертом тоже так было: кто оказался пошустрее — уехали из Ленинграда. Их не тронули: про них просто не вспомнили. А всех остальных загребли. Я тогда дурак был, не послушал умных людей, вот и загремел сюда... У чекистов ведь так: им надо план выполнять. Берут подряд всех, кто под руку попался. А если проскользнул сквозь пальцы — твое счастье! Через год эта муть осядет — и все про тебя забудут, живи дальше. Если сможешь, конечно...

Мамалыгин крепко сжал кулаки, устремил невидящий взгляд на щелястый пол. На скулах заходили желваки, несколько секунд он сидел неподвижно, словно борясь с чем-то внутри себя. Потом шумно выдохнул и просветлевшим взглядом посмотрел на Костю.

— Ну что, по рукам али как?

Костя еще думал. На самом деле он и сам уже догадывался, что оставаться здесь опасно. И спорил больше для вида, а еще от обиды и бессилия. Поэтому, когда Мамалыгин встал, Костя решительно поднялся и пошел за ним.

Лаврентьев сидел за столом и, склонив на грудь тяжелую голову, изучал лежащий перед ним циркуляр. Услышав шорох, несколько секунд смотрел на вошедших пустым взглядом. Потом очнулся и коротко кивнул:

— Чего вам?

Мамалыгин сделал пару шагов по ковровой дорожке и остановился.

— Вот, мальчика привел. Поговорить нужно.

Лаврентьев оглядел Костю с ног до головы.

— Поговорить... это можно. Только давайте быстро. Некогда мне. Что там у вас?

Инженер повел плечами.

— Да вот... — промолвил он как бы с сомнением. — Костя наш увольняться надумал. Учиться ему надо, экзамены сдавать. Сегодня последний день у нас работает.

— Как последний день? — вскинулся заведующий. — А заявление где, почему я ничего не знаю?

— Заявление он сейчас напишет! — с готовностью подхватил Мамалыгин и повернулся к подростку. — Умешь писать? Научили в школе?

— Научили, — усмехнулся тот.

— Тогда бери вот бумагу, садись и пиши! Так, мол, и так, прошу уволить меня с первого марта тысяча девятьсот тридцать восьмого года... в связи с тем... э-э-э... что мне нужно, стало быть, учиться. Фамилию внизу напиши и дату поставь... сегодняшнюю. Помнишь, какое сегодня число?

Александр Михайлович говорил безостановочно, обращаясь главным образом к помощнику, но краем глаза наблюдая за Лаврентьевым. Тот сидел молча, думая о чем-то своем. Это и хорошо. Незачем ему знать, что Костя увольняется неспроста. Станут заведующего потом спрашивать: куда девал малолетнего агента мировой буржуазии? И он честно ответит: ничего не знаю! Агент уволился, потому как имел на то право. А куда уж он потом делся, никому не ведомо.

И Лаврентьеву поверят, ведь он будет говорить с полной убежденностью и с неподдельным чувством. Свидетели, если понадобится, подтвердят, что прямых контактов с подростком он не имел, договориться ни о чем не мог: тот сразу пришел с заявлением, и Лаврентьев это заявление подписал без всякой задней мысли. А значит, и придаться к нему нельзя!

Все эти размышления вихрем пронеслись в голове Мамалыгина. Опыт старого лагерника подсказывал ему верные решения, которые приходили откуда-то изнутри уже в готовом виде. Если его самого начнут мотать, он скажет то же самое: парню было не с руки ходить каждый день по три километра на работу да обратно столько же. Жил он один-одинешенек, ни поесть сготовить, ни постирать для него некому. Вот и плюнул на все, решил уехать. Что же тут удивительного?

Костя тем временем заполнил каракулями тетрадный листок в синюю клетку и подал его Лаврентьеву. Тот принял трепещущий лист двумя руками, поднес к лицу и стал разглядывать, хмуря брови и морща лоб, потом протяжно выдохнул:

— Что ж, все с тобой ясно. Стало быть, я тебя увольняю. Катись на все четыре стороны! Учиться тебе надо. Нароботаешься еще, когда подрастешь...

Заведующий взял со стола перьевую ручку, обмакнул в стоявшую тут же чернильницу и нацарапал на бумажке несколько слов.

— Все, свободен! — провозгласил он, откидываясь на спинку. — И ты тоже свободен! — перевел взгляд на Мамалыгина. — Чтобы завтра вечером все было в полном ажуре! Начальство к нам придет кино смотреть. Со звуком там помаракуй, а то вечно слов не разобрать... Все, шуруйте оба! Мне еще отчет писать нужно.

Инженер и Костя двинулись к двери, но на пороге Мамалыгин задержался. Обернувшись, спросил как бы между прочим:

— А расчет ему когда получать? Хорошо бы сегодня. Зачем он завтра сюда попрется? Сами же сказали, начальство тут будет. Увидят пацана, разные вопросы станут задавать... Вам же еще и влетит за него!

Лаврентьев досадливо поморщился. Никак он не мог приступить к своему отчету. Захотелось вдруг выругаться и врезать изо всей силы кулаком по столу. Но он сдержался, лишь поджал губы и буркнул:

— Пусть к пяти в кассу подходит. Я скажу Клаве, чтоб выдала ему зарплату за февраль. И чтоб я его тут больше не видел!

Александр Михайлович послушно кивнул, попятился вон из кабинета, подтолкнул Костю локтем, и они оба вывалились в коридор. Несколько секунд молча смотрели на затворившуюся дверь. Наконец Мамалыгин обернулся и произнес с важным видом:

— Так-то, брат! Я сейчас нацарапаю записку нужному человеку. Получишь расчет в кассе — забирай из клуба все свои вещи, чтобы ничего не оставалось, и дуй домой. Хорошо бы тебе сегодня же уехать, но не получится. Тут не Москва, трамваи не ходят. Завтра с утра от нас пойдет машина на двести восьмой километр. Я попрошу, чтобы тебя посадили в кузов. Прокатишься с ветерком... Ты молодой, выдюжишь! Приходи утром ровно к восьми. Только в клуб не заглядывай, а жди на улице, чтобы никто не видел. Я сам к тебе выйду. Да смотри не опоздай! Тебе сейчас нужно так укрыться, чтобы ни одна живая душа не знала, где ты. Даже я! — Александр Михайлович едва заметно усмехнулся и посмотрел сверху вниз на Костю. — Не бойся, я тебя не выдам. На двести восьмом долго не сиди. Там транспортная база, народу полно. Поживешь пару месяцев, до тепла, а потом езжай дальше по трассе. Где-нибудь перекантуешься, пока тут все уляжется! Езжай на Стрелку, а еще лучше — на Левый берег. Там большая больница. Может, санитаром тебя возьмут... Не знаю, сам смотри, не маленький уже. До лета как-нибудь перетерпишь, пока навигация начнется. А там и на материк можно рвануть, если, к примеру, отца твоего не отпустят. Ну а отпустят, тогда вместе решите, как вам быть...

Костя согласно кивал. Последняя реплика ему понравилась.



— Я все понимаю, — сказал он. — Работать буду, в автомастерские попрошусь... Я тут, в поселке, познакомился с ребятами, помогал им моторы чинить. Они мне все объясняли. Я уже многое умею. Машину могу сам водить!

— Вот и хорошо, это то что надо! — одобрил Мамалыгин. — Автослесари везде нужны. Трасса большая, машин много, ломаются часто. А ремонтировать не каждый умеет. Тут, брат, нужно разбираться! Ну да ничего, ты парень толковый, научишься. Главное, слушайся взрослых! Что тебе говорят, мотай на ус, а сам знай помалкивай. Станут про родителей спрашивать, скажи, мол, ничего не помню. Или лучше скажи, что нет у тебя ни папы, ни мамы — сирота, и весь сказ! — Он вдруг замер, пожевал губами и махнул рукой. — В общем, сам гляди. Начнут копать — все равно разнохают. Уж больно громкая у тебя фамилия. Отца твоего тут многие знают, да и про тебя небось слышали. Не все отцы своих детей сюда привозят, а вот твой батя не побоялся. Эх, знал бы он, что так обернется, не стал бы тебя зазывать! Сидел бы ты дома возле мамки, в школу свою ходил, девчонок дергал за косы. Принесла же тебя нелегкая, теперь вот выпутывайся...

Инженер еще что-то бормотал, но Костя уже не слушал. Он понял одно: в его жизни наступает перелом. Не будет больше домашнего уюта и родителей, не будет школы. К матери он не поедет, чтобы не навлечь на нее беду. А отца теперь долго не увидит. С отцом случилось страшное несчастье, и помочь ему ничем нельзя. Опасность для себя мальчик не столько понимал, сколько чувствовал, как зверь чует опасность и покидает привычное место, как кедровый стланик загодя опускает ветви, предугадывая близкую стужу. И Мамалыгин советует Косте уехать как можно дальше — стало быть, тоже не верит в счастливый исход. Вон как смотрит — печально и сочувственно. Это ничего, что он ворчит. Костя уже научился подмечать эту двойственность в поведении взрослых: губы произносят одно, а глаза говорят другое...

Чтобы не видеть этого взгляда, Костя отвернулся и стал собирать в мешок свои вещи: потемневший от чая граненый стакан и гнутую ложку, тетрадку, химический карандаш и круглое зеркальце. Больше ничего у него тут не было. Он бы и этого не взял, но инженер настоял, чтобы ничего не осталось. Видно, в этом тоже был некий смысл. Костя не спорил. Мамалыгину он подчинялся беспрекословно, потому что знал: этот человек его не подведет, не выдаст. Наоборот, он за Костю переживает, старается помочь, хотя ему самому несладко.

Да и кому здесь сладко? За все эти месяцы Костя не видел ни одной улыбки на лицах. Все были чем-то встревожены, все куда-то спешили и вообще вели себя так, будто через минуту случится что-то ужасное. Костя чувствовал всеобщее напряжение, которое нарастало с каждым днем, но не понимал, что же в действительности происходит. Раньше было по-другому. Учителя и воспитатели говорили правильные слова о любви к Родине и о том, что лучше этой Родины нет ничего на свете. Дети с упоением читали стихи на утренниках, пели хором песни, приносили клятву верности и были горды тем, что живут в такой замечательной стране в такое прекрасное время... Косте все это вспоминалось как сказка или сон. А теперь он проснулся, увидел реальность, и она оказалась совершенно другой — безжалостной и непонятной.

В этой реальной жизни не было ни утренников, ни песен и стихов, ни улыбок и ободряющих взглядов. Совсем наоборот: все смотрели друг на друга насто-роженно, оценивающе, будто каждую секунду ждали подвоха. И Костя тоже научился так смотреть. Общий настрой подействовал и на него, проник в его душу, и Костя больше не улыбался, а ждал от жизни только плохого.

В этот же день в пять часов пополудни Костя получил в кассе клуба свою последнюю зарплату — сто сорок семь рублей. Эта сумма показалась подростку громадной, он никогда не держал в руках столько денег разом! И, возвращаясь домой, он по совету Мамальгина зашел в продуктовый ма-газин и накупил себе продуктов на дорогу. Продавщица — полная женщина с усталым лицом — отвесила ему по килограмму «подушечек» и сахарных пряников, затем поставила на прилавок две бутылки лимонада. Подумала несколько секунд и поинтересовалась:

— А деньги у тебя есть?

Костя вытащил из кармана мятые купюры.

— Откуда столько? — изумилась продавщица.

— Зарплату получил! — гордо ответил Костя.

— Так ты работаешь?

— Ага.

— А где? Что-то ты больно молод.

— В клубе, помощником киномеханика. Кино показываю.

— А-а-а, — протянула продавщица. — Знаю. Бывала у вас, «Веселых ребят» смотрела. Так ты, стало быть, кино крутишь? — Оперлась двумя ру-ками о прилавок, едва заметно улыбнулась. — А есть у вас там фильмы про любовь?

— Есть. Только я в клубе больше не работаю. Уволился сегодня. Завтра уезжаю.

— Во как! — опешила продавщица. — И куда же ты собрался?

— Пока еще не знаю, — соврал Костя.

Он вдруг вспомнил наставления инженера. И хотя продавщица не по-ходила на шпионку, но ведь всякое бывает. Вот и в фильмах показывают: уж так они маскируются, что никогда не догадаешься, кто шпион, а кто чест-ный человек. Ему припомнился красочный плакат с надписью: «Не болтай!» На нем была нарисована точно такая же женщина, как эта продавщица; на голове у нее был красный платок, а к губам она крепко прижимала палец и смотрела так, что хотелось от нее куда-нибудь спрятаться.

— На материк ты сейчас не уедешь, — рассуждала продавщи-ца. — На прииск тебя не возьмут... А может, ты мне все тут врешь? — вдруг встрепенулась она. — Стащил у кого-нибудь получку и пошел тратить? Ну-ка, быстро говори, где столько денег взял?

Костя насупился и отстранился от прилавка.

— Ничего я не стаскивал! Чего вы придумываете? Спросите вон у Лав-рентьева, если не верите. Я сегодня в кассе расчет получил. Мне продукты нужно купить на дорогу, я завтра в Атку еду! — выпалил он.

Продавщица с шумом втянула воздух, расправила плечи и согласно кив-нула:

— Ну ладно, коли так. В Атку так в Атку. Далековато... Только чего же ты одних конфет набрал? Ты лучше хлеба возьми, тушенка вон есть... Крупы бери побольше! Одними конфетами сыт не будешь. — Она подождала, что ответит подросток, и, не дождавшись, решительно сказала: — Дай-ка я лучше сама тебе продукты соберу!

И направилась к полкам у стены, где расположились в виде ромба замасленные банки с тушенкой. Тут же стояли большие склянки с крупами и мукой.

Через минуту на прилавке разместилось пять банок тушенки, три буханки ржаного хлеба, несколько кульков с сахаром, пшеном, гречкой и мукой.

Продавщица придвинула счеты и звонко защелкала костяшками.

— С тебя пятьдесят рублей! — объявила она, отодвинув счеты и подняв взгляд на Костю.

Тот отсчитал деньги, положил на прилавок.

Продавщица взяла купюры, несколько секунд внимательно их разглядывала, потом небрежно бросила в выдвижной ящик.

— Можешь забирать. Дотащишь до дому? Небось тяжело тебе будет!

— Дотащу, — ответил Костя, складывая покупки в большую холщовую сумку, которую ему в клубе предусмотрительно сунул в руки Мамалыгин. — До свидания! — крикнул с порога.

— Будь здоров! — ответила продавщица. — Заходи, если чего еще нужно будет.

Костя коротко кивнул и толкнул дверь свободной рукой. В лицо ему дохнуло холодом, он покрепче перехватил матерчатую ручку и бесстрашно шагнул в мороз.

Мамалыгин исполнил свое обещание: уговорил водителя трехтонки взять с собой в поездку пассажира. Водитель был рослый парень с веселым нравом. Он сам недавно освободился из лагеря, и ему не надо было растолковывать прописные истины. Он все быстро понял и произнес, широко раскрывая рот и обнажая на удивление крепкие белые зубы:

— Да пусть едет, мне-то что! Посажу его в кузов. Помчим так, что он и замерзнуть не успеет!

Александр Михайлович довольно улыбнулся. В который раз он ловил себя на мысли о том, что завидует такой простоте и непосредственности. Эх, зря он мучился в институте электротехники, напрасно зубрил диамат и сопромат! Шел бы лучше учиться на шофера (была такая мысль в самом начале). Голова бы теперь ни о чем не болела — вот как у этого простодушно-го парня. Отсидел свой трешник, и все ему нипочем, радуется жизни. Оно и не удивительно: проходил он по бытовой статье и жил неплохо в сравнении с «политическими». Даже если снова посадят, так же будет водить машину или устроится в авторемонтную мастерскую, станет расконвоированным. Не жизнь, а малина!

— Ничего, не дрейфь! — продолжал водитель. — Доставлю пацаненка в лучшем виде.

И в подтверждение своих слов с размаху хлопнул инженера по плечу, отчего тот покачнулся и невольно отступил.

Таким образом дело уладилось.

Ранним утром Костя тащился со своей поклажей через весь поселок. Было морозно, безлюдно и оттого как-то дико. Все его чувства теперь противились этой затее. Почему он едет не домой к матери, а совсем в другую сторону — вглубь материка, в неоглядные дали, которые только в первый день показались ему привлекательными, а теперь страшили? Что ждет его в этих дебрях, среди безжизненных сопок, на промерзшей земле, среди чужих людей? Почему он убегает и прячется, хотя не сделал ничего плохого? При мысли об отце болезненно сжималось сердце. Борис Иванович тоже ничего дурного не совершил, сын свято в это верил. Но все равно сидит в тюрьме, и что с ним будет, никто не знает...

Костя шагал по сыпучему снегу. В руках его были две тяжелые сумки, и он едва не волочил их за собой. Но эта тяжесть была ничто по сравнению с той, что лежала на душе. Тропинка под ногами нудно поскрипывала, каждый вдох отзывался болью в легких, а засыпанная снегом сопка выглядела зловеще; да и весь этот поселок на покатоном склоне хребта, протянувшегося на несколько километров, внушал подростку страх. Костя знал одно: нужно скорее добраться до клуба, сесть в машину и убраться как можно дальше от этого места. Что потом — неведомо. Но благодаря извечному оптимизму юности он подспудно надеялся, что все беды как-нибудь разрешатся и завтрашний день будет лучше сегодняшнего.

Так он и дотащился до центрального городского парка. Прошел под каменной аркой и свернул в боковую аллею, опустил сумки на снег, вытер рукавом покрытый испариной лоб. Лишь тогда стал оглядываться. До клуба было метров двести, и он видел, как по крыльцу прохаживался часовой с заиндевевшей винтовкой за спиной. Два шага вправо, затем разворот и два шага обратно. Недолгая остановка, брошенный вскользь взгляд на центральную аллею — и снова два шага туда и два обратно... Костя знал часового, но не стал подходить, помня наказ инженера. Раз Мамалыгин сказал, что сам к нему выйдет, значит, так и будет. И он терпеливо ждал, кутаясь в свою шубейку и потирая мерзнувшие щеки.

Прошло очень много времени, как показалось Косте; он уже хотел зайти в клуб и спросить Мамалыгина, но тот наконец появился. Он подошел сзади и дернул Костю за рукав. Подросток в испуге отпрянул, потом увидел знакомое лицо и радостно вскрикнул.

— Тихо, не кричи! — быстро произнес инженер. Лицо его было сосредоточено. — Бери свои мешки и дуй за мной, машина ждет!

Он сам подхватил обе сумки и заторопился к выходу из парка. Костя бросился за ним. Миновали каменную арку, и Костя, приотстав, увидел невдалеке грузовичок — обычную трехтонку с открытым кузовом. Инженер быстро шел к машине, на ходу обернулся и крикнул:

— Чего ты там копаешься?

Костя ускорил шаг. Мамалыгин забросил сумки в кузов, потом посадил пассажира, помог ему перевалиться через борт. Костя упал боком на жесткий деревянный настил, прополз между ящиками и забился в угол за кабиной, у правого борта. Сумки он подтянул к себе и крепко держал двумя руками, словно боялся, что их утащат. Но кроме него в кузове никого



не было. Машина уже катилась по снежной дороге, мелко трясясь и подпрыгивая на неровностях; двигатель натужно ревел, поверх бортов в кузов задувал холодный ветер. Костя втянул голову в плечи и лег на доски. Грузовик набирал ход, вдоль бортов вилась снежная пыль, ящики и тюки то и дело подпрыгивали на досках, Костя тоже то и дело подлетал на несколько сантиметров, хватаясь за борт и чувствуя внутри сосущую пустоту. Повернув голову, он увидел далеко позади крошечную фигурку человека, неподвижно стоящего посреди дороги. Тот поднял руку и помахал вслед уходящей машине. Костя приподнялся на досках и махнул в ответ.

Сердце болезненно сжалось. Из его жизни уходил еще один хороший знакомый. Так странно получилось, что все добрые, хорошие люди куда-то исчезли один за другим, и Костя вдруг остался один на один с неласковой жизнью. Теперь только от него зависело, придавит она его своей страшной тяжестью, заглушит чувства, лишит воли — или он выстоит в этой борьбе и останется человеком. Теперь он сам будет решать свою судьбу. Одни в шестнадцать лет командуют полками, поступают в университеты, ставят рекорды, а другим приходится проверять крепость характера в дальних краях и отстаивать свое право на существование. Примерно так думал Костя, когда тряский грузовичок уносил его в снежную пустыню.

Почти все поселки на Колыме имели двойные названия. Огромный пересыльный лагерь на сопке Крутая сразу за Магаданом назывался «шестой километр». В двух километрах дальше по трассе расположился совхоз Дукча, который чаще называли «восьмым километром». Центральная Колымская больница на тысячу коек именовалась «двадцать третьим километром». Поселок Уптар располагался на сорок первом километре, Сокол — на пятидесятом, Палатка — на восемьдесят втором, Атка — на двести восьмом, Дебин — на четыреста сорок восьмом. Дальше вдоль Колымской трассы расположились поселки Ягодное (пятьсот двадцать третий километр), Сусуман (шестьсот двадцать седьмой), Кадыкчан (семьсот двадцатый), Аркагала (семьсот двадцать седьмой) и еще несколько десятков поселков и больших лагерей, превышающих населением небольшой уездный город, — так до самого конца двухтысячеверстной, постоянно петляющей меж скалистых гор и распадков трассы.

Все это неспроста. Ведь коварный враг не дремлет, поэтому нужно шифроваться и скрывать истинные названия поселков и лагерей, маршрутов и вернейших планов освоения громадной территории, до которой на самом деле никому в целом мире не было никакого дела. Мало ли на свете оледеневшей земли, на которую не ступала нога человека! Никто по доброй воле не отправится в эти ледяные копи, в эту глушь, где нет места людям со всеми их слабостями, с извечной жаждой покоя и комфорта.

На советской Колыме все было не так: людей сюда завозили огромными пароходами, словно скот, и здесь, среди безжизненных пространств, заставляли строить лагерь, в которых они в большинстве своем должны были умереть. Это напоминало крупномасштабную войсковую операцию со всеми ее атрибутами: решительностью, безжалостностью, грубым произволом, беспрекословным подчинением любому, самому вздорному приказу и полным от-

сутствием человеческого сочувствия, да и обычного здравого смысла. Вся эта бестолковость отразилась и в обыденной речи. Так все и говорили: «Направляемся на сорок седьмой километр». Или: «Приказываю доставить партию заключенных в количестве пятисот человек в лагерь такой-то на четыреста сорок восьмой километр» (в поселок Дебин, стало быть).

Костя в такие дали не собирался. Путь его лежал в поселок Атка, что находится на огромной заболоченной равнине в районе двести восьмого километра Колымской трассы. Трехтонный грузовичок «ЗИС-5» преодолел двести восемь километров за девять часов. И это было довольно быстро, особенно если учесть две остановки на обед и ужин — в Палатке и на Яблоновом перевале. В Палатке они пообедали в придорожной столовой, возле которой останавливались все проходящие машины, будь в них гражданский груз, военное оборудование или небольшая партия заключенных по спецнаряду. В столовой Костя и жизнерадостный водитель срубали по тарелке супа и по котлете с макаронами. Это было в половине двенадцатого. А без четверти четыре, когда грузовик, трясясь от натуги и оставляя за собой едкий черный дым, одолел крутой подъем знаменитого Яблонового перевала, они съехали с трассы и подождали, пока не остынет мотор; за это время они съели по два холодных пирожка с капустой и выпили по кружке крепко заваренного чая, который прямо в кабине ловко вскипятил у себя на коленках на все гораздый шофер.

— Вот так вот! — подмигнул он Косте, бросая выдавшую виды кружку в стоящий в ногах деревянный ящик. — Поживешь с мое — всему научишься! Ты, главное, ничего не бойся. Держи хвост пистолетом!

С этими словами он запустил двигатель и выехал на трассу. До Атки оставалось каких-нибудь сорок километров — пустыки по местным меркам.

Когда въезжали в поселок, Костя снова крепко пожалел, что согласился на это путешествие, а не остался в Магадане. Вот если бы ему предложили добираться на собачьих упряжках до Северного полюса, или ползти, изнемогая, по глубокому снегу сквозь вековой лес, или идти на лыжах без остановки вокруг земного шара — он бы согласился без раздумий. Это было бы страшно и почти невозможно — зато жутко увлекательно, романтично, мужественно! Он бы стал героем, и даже если бы замерз насмерть среди вечных льдов, как Витус Беринг, все равно оставил бы о себе героическую память. О нем слагали бы песни, его ставили бы в пример, как Павлика Морозова, злодейски убитого кулаками, или Аркадия Гайдара, командовавшего полком в шестнадцать лет. Но что ему делать в этом жутком поселке, где дома по крыши завалены снегом и все так серо и скучно, что не высказать словами? Как он будет жить в этой глуши, для чего? В этом нет никакого героизма и ни капли романтики. Зачем он здесь?

Он уже откуда-то знал, а может, просто чувствовал, что бессмысленность и бездействие быстрее всего убивают душу, отнимают силы и глушат жизнь в самой ее основе. Лишь когда человек продолжает сражаться, когда он деятелен и бодр, когда не сдается — у него есть шанс на спасение. И даже если надежда на самом деле призрачна, само движение, отчаянная борьба становятся смыслом и порой избавляют от гибели наперекор всему: обстоятельствам, логике и козням врагов. К тому же это гораздо благороднее — бо-



роться до конца, стремиться к цели до последнего дыхания! Это именно то, что выделило человека из сонма когтистых и зубастых тварей и сделало его царем всего живого на планете, заливаемой потопами, сжигаемой вулканами, сотрясаемой тектоническими сдвигами, иссушаемой палящими лучами расположенной рядом звезды.

Судьбе было угодно забросить Костю в этот Богом забытый поселок на краю огромного материка. Справедливости ради надо сказать, что в те страшные годы десятки тысяч его сверстников содержались в исправительных лагерях наравне со взрослыми. Расстреливали несовершеннолетних не часто (в сравнении, опять же, со взрослыми, с которыми власть не церемонилась). Но и пребывание за колючей проволокой не сулило подросткам ничего хорошего. Косте казалось, что несчастнее его нет никого на свете. Но если бы он заглянул в один из тех лагерей, что попадались ему на пути, если бы провел там пару дней и попробовал баланду из общего котла, которую не всякая собака станет есть, если бы пообщался с потерявшими человеческий облик блатарями и покатал двенадцать часов кряду неподъемную тачку в золотом забое, то он бы не так сокрушался о своей незавидной доле. Он бы понял тогда, что судьба оставила ему шанс остаться человеком. Он шел по краю бездны, но не падал в нее. Что его удерживало от падения? Помощь добрых людей или незримая сила, имя которой — родительская любовь? Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ на этот вопрос.

В небольшом поселке, расположенном посреди безжизненного Колымского нагорья на замороженной до самых недр земле, Косте предстояло прожить несколько месяцев весны и лета тридцать восьмого года. Этот наступивший год стал самым жутким, самым жестоким на Колыме. Страшное слово «гаранинщина» прочно вошло в обиход и стало символом эпохи. Установленный на этот год для Колымы «лимит первой категории»\* в сорок тысяч человек был многократно превышен расстаравшимся сталинским сатрапом. Сам он, правда, тоже не уберется от расправы, но это уже не имело значения для десятков тысяч загубленных на Серпантинке, в Мальдяке, Штурмовом, Бурхале, Аркагале, Скрытом, Ударнике, Бутугычаге, Ледяном, Диком, Торфянке, Ветвистом, Известковом, на приисках имени Горького и Водопьянова и в других местах. В тот самый день, когда Костя со страхом озирает гигантскую равнину, замкнутую зловещими скалами и придавленную свинцово-серым небом, почти во всех лагерях Колымы шли расстрелы. Над всей этой землей незримо витал Дух Скорби, и те, кто безвинно сходил в могилу, чувствовали его мертвящее дыхание. Но его также чувствовали и палачи! Где-то в глубине своего естества они знали непреложный, от века данный нам закон, по которому тот, кто убил своего собрата, будет навеки проклят Богом и людьми. Потому что нельзя исправить содеянное, как нельзя взрослому снова стать ребенком и как невозможно дважды прожить свою единственную, неповторимую жизнь.

Наш рассказ близится к безрадостному концу. Мы не будем подробно рассказывать, как шестнадцатилетний подросток мыкался по углам и спа-

\* «Лимит первой категории» — количество «врагов народа», подлежащих расстрелу.

сался не только от голодной смерти, но и от недремлющего ока советских чекистов. Скажем об этом всего несколько слов.

Письмо Мамалыгина сыграло свою роль: хорошие люди в Атке приютили Костю на время. Его взяли на работу учеником в авторемонтные мастерские. Не то чтобы он был большим специалистом по этой части. Но в любом деле требуются расторопные помощники, которых очень точно характеризует известная присказка «принеси-подай». С утра до поздней ночи Костя пропадал в мастерских, выполняя поручения чумазых автослесарей: подносил инструмент, подметал пол, протирал детали промасленными тряпками, подкручивал гайки и собирал с пола разлетевшиеся железки. Работяги относились к нему по-отечески. Половина недавно освободилась из лагерей, а вторая половина были сплошь расконвоированные заключенные из числа «бытовичков». Узнав о том, что Костя тут совсем один, а отец его сидит, эти суровые люди мягчали сердцами и старались подбодрить подростка. У многих остались на материке семьи, и, разговаривая с Костей, они словно видели перед собой своих детей, которым приходилось ненамного легче. Быть может, думали они, их сыновьям тоже кто-нибудь протянет руку помощи, не даст умереть с голоду.

Так прошло четыре месяца. А летом Косте неожиданно предложили работу киномеханика в Северном горно-промышленном управлении, на прииске Штурмовом, где имелась своя киноустановка. Недолго думая, Костя согласился: все-таки это была интересная работа, связанная с поездками и новыми впечатлениями. Однако действительность оказалась не столь радужной. Прииск Штурмовой, расположенный в восьмидесяти километрах к северу от поселка Ягодное, был настоящим лагерем смерти. И все лагеря вокруг него — прииски имени Водопьянова и Горького, Челюскин, Ледяной, Свистопляс, Хатыннах, Таскан, Джелгала, Эсчан, Саганья, Бурхала и многие другие — были ничем не лучше. В этих лагерях заключенные добывали из непокорной колымской земли золото. Объемы выработки в начале тридцать восьмого были резко увеличены, а нормы питания доведены до самой нижней черты. Ээки вымирали целыми бригадами в течение промывочного сезона; для них не успевали рыть могилы, трупы складывали штабелями, как дрова, в каком-нибудь заброшенном бараке или прямо на улице. Все это Костя видел каждый день, и от этого зрелища у него сжималось горло. Он до дрожи боялся встретить здесь отца.

Но Бориса Ивановича Кильдишева в этих местах не было. Он находился в инвалидном лагере на пятьдесят шестом километре. Отправили его туда, потому что он был искалечен во время допросов с пристрастием. Но еще неизвестно, что хуже: попасть относительно здоровым в какой-нибудь Хатыннах и погибнуть там в течение трех месяцев или мыкаться с выбитыми зубами и переломанными ребрами в инвалидном лагере, где все равно приходится работать, питаться баландой из сгнившей капусты и мерзлой картошки, — и в конце концов умереть от истощения и нежелания жить после всего, что довелось испытать...

Глядя на измученных людей, напоминавших восставших из могил мертвецов, Костя не мог не думать об отце. При мысли о нем сердце юноши стискивала ледяная рука, он весь покрывался холодным потом и не мог успокоиться, пока усилием воли не заставлял себя вернуться к работе.



Это был уже не тот восторженный подросток, который два года назад ступил на прибрежный песок бухты Нагаева и с волнением и любопытством взирал на уходящие вдаль сопки. Вот он и попал в эту даль, увидел, что там, — и увиденное не принесло ему ничего, кроме горечи и душевной боли... Однако Костя не делал попыток уехать домой. Ведь здесь оставался его отец и юноша до сих пор ничего не знал о его судьбе. Однажды, правда, ему передали скомканную записку от Бориса Ивановича, в которой он с трудом разобрал несколько слов. Смысл их сводился к тому, что Костин отец жив и ни в чем не виноват. Расспросить посыльного не удалось: тот сразу куда-то исчез, не назвав даже своего имени. Но Костя все равно был ему безмерно благодарен, ведь тот сильно рисковал, передавая записку на волю, и к тому же потратил время и силы, чтобы найти Костю на этих тысячекилометровых просторах. В любом случае эта весточка от близкого человека уже была сродни чуду.

А другим чудом — без всякого преувеличения — стало то, что Косте все же удалось повидаться с отцом! Их встреча произошла летом тридцать девятого. Костя получил записку от Миши Кирсанова, с которым они учились в одном классе, когда Костя жил с отцом в Магадане. Миша писал, что один из заключенных, некий Виктор Чайкин, киномеханик, обслуживающий лагерь вокруг Магадана, располагает сведениями о Костином отце. Подробнее в записке Миша сказать не мог, но настоятельно звал друга приехать в Магадан и лично поговорить с Чайкиным, который может ему устроить встречу с отцом. Как понял Костя, этого нового киномеханика взяли на работу в клуб НКВД вместо Мамалыгина, который все-таки решил вернуться домой к семье, в Ленинград.

Едва прочитав Мишину записку, Костя уже не мог усидеть на месте. Он сразу пошел к начальству и упросил отпустить его на несколько дней в Магадан по личной надобности. Потом был двухсуточный переезд на попутках. К вечеру второго дня, преодолев более шестисот километров по страшно пыльной, усеянной камнями Колымской трассе, одурев от пронизывающего ветра и жуткой тряски, Костя выпрыгнул из кузова на землю и, с трудом переставляя затекшие ноги, направился в клуб НКВД, где на правах расконвоированного теперь работал киномехаником Виктор Петрович Чайкин — бывший главный механик крупного авиационного завода, попавший на Колыму за «вредительство на производстве».

С Костиным отцом Чайкин познакомился во время следствия. Конечно, он знал о Кильдишеве-старшем гораздо больше того, что сказал Косте. Он не стал упоминать про зверские избиения и каждодневные унижения, справедливо решив, что если Борис Иванович захочет, то сам все расскажет сыну. А его дело — устроить им встречу.

План был простой, хотя и рискованный: Чайкин согласился взять Костю с инспекционной поездкой в инвалидный лагерь на пятьдесят шестом километре. Они должны были проверить имевшуюся в лагере киноаппаратуру и решить, возможна ли на ней демонстрация фильмов. Администрация лагеря была заинтересована в такой «культурной работе среди заключенных», да и сама бы не отказалась посмотреть киноленты, доставленные гидропланами из Москвы. Трудность заключалась в том, что Бориса Ивановича в лагере



хорошо знали, поскольку он работал в столярной мастерской и делал для начальства мебель по индивидуальным заказам. Если бы у Кости спросили документы, то сразу заметили бы совпадение фамилий. Последствия могли быть плачевными как для отца, так и для сына, а заодно и для Чайкина. Но Виктор Петрович согласился рискнуть. Для Кости же вопрос, ехать или не ехать, и вообще не стоял; он предчувствовал, что второго шанса может не быть.

Костя Кильдишев и Виктор Петрович Чайкин приехали в лагерь на передвижной кинобудке в третьем часу дня. Охранник проверил пропуск и впустил машину внутрь. Кинобудка проехала через уродливые четырехметровые ворота с извечным транспарантом, гласящим, что «труд есть дело чести, славы, доблести и геройства», и, повернув направо, медленно покати-лась под уклон по ухабистой дороге. Чайкина здесь хорошо знали, поэтому поверили ему на слово и документы у Кости проверять не стали.

Сначала киномеханики для вида посетили аппаратную в местном клубе, походили вокруг проектора, покрутили рукоятки и протерли ветошью объектив. Потом Чайкин отвел Костю в расположенный рядом с клубом барак и велел ждать. Сорокаметровый барак с двухэтажными нарами по обеим сторонам был пуст. Кто в нем живет и куда все подевались, юношу абсолютно не интересовало. Он прошел на середину и присел на узкую скамью возле протянувшегося во всю длину стола, сколоченного из плохо пригнанных занозистых досок. Думать Костя ни о чем не мог. Сердце сильно стучало, временами он как будто забывал дышать, и тогда на него нисходила тьма; он судорожно втягивал воздух, напрягая грудь; мрак рассеивался, и он снова видел нары с каким-то тряпьем и деревянную дверь напротив. В эту дверь должен был войти отец.

Стояла мертвая тишина. Костя знал, что в лагере больше пяти тысяч заключенных, признанных инвалидами; их свезли сюда со всей Колымы. Но сейчас казалось, что лагерь пуст, что все заключенные и все конвоиры, все начальство и злобные собаки вдруг исчезли и он никого не увидит. Быть может, он даже хотел, чтобы время остановилось, чтобы все в этом мире замерло и ничего не происходило. Да пусть бы и вовсе прекратилась на планете та крошечная жизнь, которую он видел вокруг себя, в которой участвовал и которую ненавидел всей душой!

Но лагерь вовсе не был пуст. Все, кому положено, были на своих местах; и чему предназначено было свершиться, то и свершилось.

В какой-то миг входная дверь дрогнула и медленно отворилась. На пороге показался сгорбленный человек, одетый в какие-то лохмотья. Помедлив секунду, он двинулся неверной походкой по проходу прямо на Костю; а тот все смотрел и никак не мог понять, кто это. Ему казалось, что какой-то старик случайно забрел в чужой барак, не разобрав сослепу, куда попал. Сейчас он приблизится, постоит несколько секунд, а потом, поняв свою ошибку, развернется и так же медленно уйдет...

Человек подходил все ближе; вот уже слышно шарканье его изношенных чуней и хриплое дыхание, видны глубокие морщины на иссушенном лице; голова подрагивает при каждом шаге, а слезящиеся глаза смотрят пристально, не отрываясь.

Костя все не узнавал...

Наконец старик приблизился вплотную, постоял секунду, словно раздумывая, и вдруг упал на колени, обхватил обеими руками ноги юноши и затрясся в беззвучных рыданиях. Лишь тогда Костя понял, кто перед ним. Его словно пронзило раскаленной иглой, воздух вспыхнул ярчайшим свечением — и разом все исчезло и погасло. Он жалобно вскрикнул, как подстреленный, упал грудью на это сторбленное, безжалостно смятое пережитыми пытками тело, крепко обхватил его руками и уже не помнил ничего, не чувствовал, не знал, где он находится, что с ним...

Об этом нельзя доподлинно рассказать.

Что чувствуют близкие люди, расставаясь навечно? Какую муку испытывает мать, когда прощается со своим ребенком? И какая буря неистовствует в душе сына при виде отца, которого превратили в калеку, в жалкое подобие человека?

Не дай нам бог это узнать...

В жизни бездна ситуаций, которых не должно быть, тьма переживаний, для которых невозможно подобрать точные слова... Поэтому — помолчим. Склоним скорбно головы в память о миллионах разбитых судеб, о безвинно погибших, о невысказанных страданиях, которые ничем не оправданы и ничему не служат.

Костя плохо помнил, как покинул этот жуткий лагерь. Но воспоминание об отце, стоявшем на коленях, он пронес через всю жизнь. Ему не потребовались рассказы о том, что делали с самым дорогим и близким ему человеком: результат этой бессмысленной жестокости он увидел собственными глазами — и содрогнулся от этого зрелища, словно прикоснулся обнаженным сердцем к чему-то страшному и непостижимому в своей жути. Так всегда бывает с истинно любящими людьми: им легче погибнуть самим, чем видеть мучения близких...

Историю не повернуть вспять, а жизнь не переписать заново. Мертвых не поднять из могил, и ослепшим от слез глазам не вернуть зрение. Миллионы детей утратили отцов, а их матери не дождались мужей — несмотря на мольбы, слезы, отчаяние и бесконечное терпение. Те, кто ушел, не вернулись домой ни через десять, ни через двадцать, ни через восемьдесят лет... И не вернутся уже никогда.

Костя больше не видел своего отца — ни живым, ни мертвым. Судьба подарила им эту последнюю встречу, и, как она ни была безрадостна, воспоминание о ней каждый из них берег в душе, как нечто сокровенное, до последнего вздоха.

Костя прожил довольно долгую жизнь и умер в Москве полвека спустя.

Его отец упокоился среди сопек бескрайнего Кольимского нагорья. Все оставшиеся ему годы он хранил в памяти минуты, когда видел сына и не мог вымолвить ни слова из-за сотрясавших его рыданий. С этим он и покинул грешную землю.

Мир его праху!

Александр ФРАНЦЕВ  
**С КРАЮ ИМПЕРИИ**

Выписка

1.

Несвежий снег на станции. Зима.  
Прощай, психушка, простыня тугая.  
Кого теперь доводишь до ума,  
к неправде здешней приучая?

Что там гадать, мы вновь сюда придем.  
И пусть в прокисший день в отчизне шалой  
сгодится мне наваленный кругом  
скупой зимы товар лежалый.

2.

Больничный отряхая прах,  
из каменных палат  
ты выпущен, а что дурак —  
никто не виноват.

Еще полжизни впереди —  
потрать на ерунду.  
Не думай ни о чем, гляди —  
черемуха в цвету.

Ты раб и червь — живи один.  
Чего еще тебе?  
Иди в знакомый магазин  
и не пеняй судьбе.

Никто ни в чем не виноват.  
Не думай ни о чем.  
Нам выпадало наугад —  
не глядя и берем.



\* \* \*

Кто такой человек? И зачем по ночам  
он стоит у окна в темноте?  
Он о чем-то забыл, поклоняясь вещам,  
и кого-то оставил в беде.

Он уходит платить за квартиру и свет  
и, вернувшись домой в тишине,  
вновь на что-то никак не находит ответ  
и лежит, отвернувшись к стене.

### Командировка

Вчерашняя снедь прокисла,  
под вечер в глазах темно.  
Ни в чем ни аза, ни смысла  
не видишь, глядя в окно.

В каком-нибудь Барнауле  
очнешься в бессчетный раз.  
Зачем это все, в натуре? —  
забыли спросить у нас.

В поганой гниешь общаге,  
ругаясь на белый свет.  
Обещанной на бумаге  
зарплаты в помине нет.

Стреляешь курить в сортире:  
похоже, дела не айс.  
Все схвачено — в этом мире  
давно обошлись без нас.

Да впрочем, и сам дурак ты,  
все стало до фонаря.  
Без денег садишься в карты —  
ей-богу, ты это зря...

Чужая, не зная чура,  
срывается речь на крик.  
Блатная литература,  
типун тебе на язык!

Вербованный отовсюду,  
без дела звереет люд.  
Когда я уже забуду,  
Евразия, твой уют?

Какому молиться богу —  
не знаю, взглянув окрест,  
чтоб выдали на дорогу —  
убраться из этих мест.

\* \* \*

Все какая-то снится очередь,  
не поймешь ее — кто за кем.  
И быть первым никто не хочет, ведь  
если выйдешь, то насовсем.

Еще жаль тепла человеческого,  
но уже говорят: пора  
все оставить как есть — да нечего:  
не останется ни хера.

Ведь ни сзади уже, ни спереди,  
а посмотришь — и за душой.  
Сколько тут обреталось нелюди,  
а теперь коридор пустой.

В нем последнее что-то тратится,  
время трудится на износ,  
и, похоже, никто не хватится  
выходящего на мороз.

\* \* \*

Смурное небо над конторой.  
По осени невзрачен мир,  
очнувшийся за рваной шторой,  
когда глядишь в одну из дыр  
на долгую равнину с краю  
империи, и день-деньской  
стена колхозного сарая  
маячит черною доской.

Когда же за душу к обеду  
возьмет унылая пора,  
принюхавшись, пойдешь по следу  
и будешь третьим до утра.  
На посошок под утро примешь  
и двери в темноте найдешь,  
на улицу вслепую выйдешь,  
к речонке мутной подойдешь,

и там, где облетает ива,  
признаешь Родину в упор:  
поселок городского типа,  
калитку, сломанный забор,  
веревку бельевую с робой  
и мостовые, в никуда  
ведущие — по ним и шлепай  
в носках — для пущего стыда.



## Переезд

Половицы скрипели в пыли,  
и разбитая хлопала дверь.  
И по лестнице черной вели  
в никуда — за ступенью ступень.

Печь разломана: пепел да гарь,  
коридор стеклотарой забит.  
И на серой стене календарь  
девяностого года висит.

Отсыревший достань «Беломор».  
Это Родина. Скоро пройдет.  
Закури, и навязчивый вздор  
понемногу из глаз пропадет.

Так и время, глядишь, проведем.  
Все честней да никчемней, зане  
пропадать не за легким баблом,  
а за словом в огромной стране.

За дешевым вином, до утра  
темной речью марая тетрадь.  
Ну а там и на выход пора —  
за бессвязный базар отвечать.

\* \* \*

Служебного окошечка проем.  
Больничный бланк из недр регистратуры.  
Я распишусь в бессилии своем  
перед лицом казенной дуры.

Послать бы к черту все, да дело швах  
уже и без того; все те же песни:  
«Откуда и зачем? ты что, дурак?  
где пропал?» — не стали интересней.

Где пропал — там нет; с глухим окном  
больничный коридор теперь да койка  
железная — вот здесь и пропадем  
за чай вчерашний, отдающий хлоркой,

за чей-то кашель по ночам и ту  
неслышимую музыку — тебе ведь  
написано не это на роду,  
да все равно исправленному верить.

Роман СЕНЧИН

## БАНАЛЬЩИНА

Р а с с к а з

Примерно через полгода после свадьбы Алина заговорила о кошке.

— Тебе со мной скучно? — Матвей не был рад этой идее.

— Ну что ты, любимый? Но представь, как будет хорошо: кошечка мурчит, мягонькая, ласковая.

— Не все они ласковые.

— Она нас полюбит. Мы ведь хорошие. — И показывала Матвею селфи инстаграмных красавиц с длинношерстными, короткошерстными, а то и вовсе лысыми подружками.

Матвей особо не сопротивлялся: оба они были фрилансерами, сутками дома, вдвоем. Тут немудрено друг другу осточертеть, несмотря на любовь. А кошка будет отвлекать, забавлять. Как ребенок, только вариант помягче.

— Ну давай заведем. Это будет мой подарок на Новый год. О'кей?

Алина бросилась целовать Матвея:

— О'кей, милый!

— Только возиться с ней будешь сама.

— Конечно! Она станет моим питомцем. Питомицей, — уточнила Алина и засмеялась.

Она по-прежнему много времени проводила за письменным столом, но теперь, как отмечал Матвей, заглядывая в экран ее ноутбука, в основном не редактировала чужие колонки, а выбирала питомицу.

За едой или после секса делилась находками:

— Смотри, какой персик! Чудесная. Хотя лучше короткошерстная, да? Чтоб шерсти было поменьше... Вот как тебе эта?.. А эта?..

Матвей пожимал плечами. Ему, в общем-то, было все равно. Житель мегаполиса в четвертом поколении, он не имел никакой тяги к животным. Даже в детстве. Пару раз родители водили его в зоопарк, однако он больше пугался, чем интересовался и удивлялся всем этим лисам, львам, соболям, павлинам; в контактном зоопарке, который открылся в торгово-развлекательном центре рядом с их домом, когда ему было лет двенадцать, Матвей не погладил даже кролика. Матвею нравились игрушки в компьютере и телефоне.

— Ну вот симпатичная, — вымученно изображал он увлеченность, — и эта ничего... Но какие-то они все взрослые.



— Им почти по три месяца. Раньше заводчики не продают. Нужно все прививки сделать, еще разное... — Алина красиво помахивала рукой.

— Три месяца — это, слушай, уже сформировавшаяся кошка.

— Да ладно! Маленькие еще, плюшевые.

После недели изучения разных сайтов и каталогов Алина выбрала пятнистую кошку породы оцикет.

— Вот эта, Васса. Она моя, я чувствую. Смотри, какой гордый взгляд.

Принцесса настоящая!

Матвей снова пожал плечами: как хочешь.

— Ура! Заводчица просит перевести ей пять тысяч — аванс.

— А вообще сколько она?

— Двадцать пять. Плюс корм, к которому привыкла, витамины...

Матвей с трудом проглотил возникший в горле ком горькой слюны.

— Хорошо.

...Заехала навестить тещу. Алина показала фото кошечки:

— Подарок на Новый год. От Матвея.

— Зачем вам это надо? Скучно жить стало?

Теща Матвею нравилась — реалистка без романтических закидонов.

Но ни слова своей матери, ни Матвеевой, ни бабушки не убедили Алину не заводить кошку. Впрочем, и аргументов весомых они не приводили.

Алина сводила Матвея в зоосалон. Купили розовый лоток, чесалку, кормушку, поилку, когтеточку, двухэтажный домик, мышку и рыбку на резинках, шлейку, чтобы гулять весной на улице. Все самое лучшее и дорогое.

Дней через десять после Нового года заводчица привезла Вассу.

— Высоко живете. Двадцать четвертый этаж. Не страшно? Вот, принимайте.

Из сетчатого окошка переноски на Алину и Матвея глядели два круглых недобрых глаза.

— Вассочка, Вассочка, это мы-ы, — засюсюкала Алина, — твои новые хозяева и друзья.

— Странное имя для кошки, — заметил Матвей.

— Я всем подобные даю. Они и сами серьезней от имен становятся. Дворянистей... Этот помет у Инессы третий, и все детки на «в»: Васса, Виллиса, Василиса, Велес. Так, — заводчица спохватилась, — к делу. Мне еще Витуса отвозить...

Помимо кошки, у нее был с собой мешок сухого корма, несколько паучей\*, витамины, наполнитель для лотка и горстка использованного в полиэтиленовом пакете.

— В новый насыпьте, чтоб поняла, куда ей свои дела делать.

Матвей тут же это исполнил. Поставил лоток рядом с унитазом.

— Вот сюда, Вассочка, — сказала заводчица, — сюда, поняла?

Кошка обнюхала лоток и, вроде кивнув, отправилась на кухню.

Заводчица дала несколько советов по уходу, погладила воспитанницу и даже слегка всплакнула, забрала деньги и ушла.

\* Пауч — упаковка влажного кошачьего корма.

— Ведь прелесть же, а? — тиская полосатую Вассу, безвольную от неожиданной перемены в жизни, говорила Алина. — Скажи!

— Симпатичная.

Минут сорок она не выпускала кошку из рук, позируя с ней так и этак. Матвей давил на белый кругляшок на дисплее айфона.

В конце концов жена спустила Вассу на пол:

— Отдохни, красавица. — И стала постить лучшие фотки в «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», «ВКонтакте»; Матвей пошел в комнату работать.

Только увлекся переводом с айтишного языка на русский статьи про новую компьютерную программу — на кухне раздался визг. «Поцарапала!» Матвей вскочил.

Алина застыла с перекошенным от ужаса лицом. Кошка возле двери на лоджию деловито скребла ламинат.

— Что случилось?

— Она... Она написала. Взяла и написала.

Матвей выдохнул.

— Ну и что?

— Мы же ей показали куда... Почему она так? — В голосе Алины зажурчали слезы.

— О господи... Привыкнет.

Она посмотрела на Матвея растерянно; ее двадцатитрехлетнее личико сделалось совсем детским. Матвею представилась Катя Самбука, и он передернул плечами от неожиданного отвращения и возбуждения.

— Вытри, пожалуйста, — попросила Алина.

— Хм! Кажется, ты обещала за ней все делать.

— Ну я не могу сейчас. Мне надо привыкнуть.

Продолжая хмыкать, Матвей нарвал бумажных полотенец, впитал в них желтоватую лужицу, потом протер ламинат влажными салфетками. Взял в руки Вассу.

— Только не бей ее, пожалуйста, — испуганно попросила жена.

— Ты за кого меня принимаешь?

— Извини...

Отнес ее в туалет и посадил в лоток.

— Вот сюда надо ходить. Сюда, ясно?

Кошка, брезгливо поднимая лапы, выбралась на пол.

— Может, ей не нравится, что там использованный наполнитель есть? — предположила Алина.

— Может... Но не после же каждого пописа его меняют?

— Ну да, наверно...

С того дня кончилась для них спокойная жизнь. Васса лоток не признавала напрочь. Выбрала место и ходила туда. Раза по четыре в сутки по-маленькому и утром и вечером по-большому.

— Надо поставить что-нибудь, — сказала Алина на третий день. — Вассочка увидит, что ее место занято, и пойдет на лоток.

— А если туда лоток поставить? И постепенно его двигать к туалету?

— Точно! Ты гениальный мужчина.

Алина обняла Матвея и поцеловала его; позже ему вспоминалось, что это был последний искренний, по-настоящему страстный поцелуй.

Лоток не помог: кошка стала гадить в прихожей.

— О, это ближе к туалету! — обрадовался было Матвей и, морщась и содрогаясь от брезгливости, убрал какашки, поставил на это место лоток.

На другое утро Васса опросталась в комнате.

Матвей с Алиной еще спали, когда послышался уже знакомый им скрёб по ламинату. Энергичный, быстрый. Во сне Матвею представилось, что это умелый мастеровой шпатлюет стену их квартиры. Они делают ремонт, наняли рабочих, отличных, профессиональных, и вот кипит работа...

Он открыл глаза. Правой передней лапой Васса энергично засыпала несуществующим песком вполне реальные колбаски.

— Да что ж это? — закричал Матвей.

Кошка оглянулась на него и не стала убегать. Смотрела зло и серьезно, словно говоря: я буду испражняться там, где считаю нужным.

Этот взгляд Матвея взбесил. Соскочив с кровати, он схватил Вассу за загривок.

— Сколько можно? Ты офигела вообще!..

Васса зашипела как-то по-змеиному, извернулась и вцепилась зубами ему в запястье. Он рефлекторно ударил ее свободной рукой по голове.

— Перестань ее бить! — закричала Алина.

— Да я ее!..

— Отпусти быстро! Отпустил, сказала!

Матвей швырнул Вассу в прихожую.

— Ты живодер, я тебя боюсь.

Матвей устало сел в кресло. Сказал глухо:

— Иди лучше говно убери.

— Сам убери!

— Твоя кошка.

— Она ко мне даже не подходит. Спит где-то под диваном. Теперь понимаю: ты ее запугал.

— Я ее пальцем не трогал.

— Аха, видела. И это при мне. А без меня вообще ее лупишь.

— Я, — повторил Матвей, четко отделяя каждое слово, — ее не трогал.

Какашки наполняли комнату своим запахом. Алина лежала в кровати, натянув одеяло на нос, без всякой нежности смотрела на Матвея.

Он сходил в туалет, нарвал бумажных полотенец. Убрал твердые, еще теплые колбаски, протер ламинат влажными салфетками.

Умылся. Проходя на кухню, покосился на розовый, с ровным слоем наполнителя лоток.

Только стал варить кофе, появилась Васса.

— Мя!

Обнюхала миску для паучей и повторила нагло и требовательно:

— Мя!

Матвею захотелось выругаться. Вообще-то материться он не любил да и не имел привычки, но тут прямо затрясло. Пересилил себя, поднял миску — кошка тут же легла на ее место, такой у нее был обряд, — помыл, вы-

давил туда содержимое пакетика «Brit». Поставил миску в микроволновку, включил на десять секунд и спросил:

— Ты когда будешь в лоток ходить?

Васса сурово и смело смотрела на него. Взгляд говорил: вот вырасту — ты у меня получишь.

Звенькнули часы микроволновки, Матвей вынул миску. Потрогал пальцем кошачью еду. Горячевата. А Васса поднялась, задрала хвост и ждала.

— Мя! — не выдержала. — Мя-а!

— Сейчас остынет...

Вспомнил про турку на плите. Метнулся, и как раз вовремя: кофе поднимался коричневой шапкой. Успел.

— Мя-а!

— Что я тебе — слуга, что ли? — прыгающим голосом сказал Матвей и закричал: — Алина, корми свою кошку!

— Накормлю, когда встану! — злой, совсем чужой крик в ответ.

— Она тут мякает!

— Ну так накорми — не надсадишься!..

Их семейная жизнь давала трещинки. Мелкие, но частые. Потрескивала с каждым походом Вассы не в лоток. А лоток она попросту не замечала. Замечала, изучала, обнюхивала все, кроме лотка.

— Вы скажите, — на грани истерики требовала Алина по телефону у заводчицы, — вы сами — сами! — видели, что Васса ходила в лоток?.. Вы — видели?.. — Некоторое время слушала, теребя вышитую бабочку на домашнем худи\*, потом резко оборвала стрекочущую из трубки скороговорку: — Вы, получается, нас обманули. Да, обманули. Сказали, что Васса приучена, а на самом деле это не так. И все, до свидания! — Бросила телефон на тахту, повернулась к сидящему в кресле Матвею: — Говорит, типа, у кошки стресс, нужно подождать. У меня тоже стрессы, однако я не ссу где попало... Помнишь, какая от нее вонь была?

Матвей хотел уточнить от кого, да не стал, чтоб лишний раз не раздражать жену. Наверняка от заводчицы. Кивнул.

— Ну вот. У них там в одном помещении тридцать кошек — разве проследишь, кто куда ходит?

На кухне послышалось знакомое царапанье, и Матвей бросился на него, надеясь опередить кошку. Сначала Васса как будто разгребала ламинат, а потом присаживалась... Схватил за шкуру, понес к лотку. Опустил на наполнитель. Но из той уже все вылилось по дороге.

— Да сколько можно?!

Алина сходила в зоосалон и принесла две пластиковые бутылочки. В одной был спрей для приучения котенка к лотку, в другой — корректирующий его поведение, отпугивающий. Первый пшикнули, естественно, на наполнитель, второй распылили по полу квартиры.

Не помогло: лоток был по-прежнему чист, а на ламинате возникали желтые лужи и коричневые то колбаски, то лепешки...

Васса осваивалась. Стала прыгать на подоконник — это было переносимо, так как цветов они не держали, — на письменные столы, на кухонный,

\* *худи* — трикотажная кофта с капюшоном.

роняя салфетницу, соль. Затем нашла себе карусель: забиралась на шторы и качалась, оставляя на ткани борозды-стрелки. Алина истошно кричала, Матвей хватал кошку за шкуру, и тогда жена переключалась на него:

— Не трогай Вассочку!

Матвею стали сниться кошмары. Вернее, один и тот же. Он идет в сумерках по лесу. Деревья толстые-толстые, но мертвые, ветви скрипят, что-то ухает, машут большими крыльями невидимые птицы. И тут начинается скрёб, режущий уши, раздирающий души... Иногда скрёб во сне совпадал со скрёбом, который производила Васса наяву.

Работоспособность Матвея упала. Он не мог сосредоточиться, чувствовал непроходящую усталость, желание отвлечься, развеяться. Впервые года за два посмотрел ролики Кати Самбуки.

До близости с Алиной он мало общался с девушками, предпочитая порносайты. Самой любимой моделью была эта самая Катя Самбука. Может, потому, что она занималась не совсем порнухой, только ее ролики были круче и горячее.

Катя Самбука выходила на сцену совершенно голой и танцевала, дразня стоящую внизу, почти дотягивающую до нее руки толпу парней. Это было как аниме, Катя Самбука казалась не совсем настоящей: слишком хороша у нее была фигура, и личико тоже, и грудь, да и та простота, с какой она показывала всю себя, кукольно улыбаясь, раздавала воздушные поцелуи, — напоминала мультик. Но при этом она была живой, из костей, мяса, кожи, и ее очень хотелось. Возникла уверенность: окажись вместе с такой девушкой — и жизнь твоя станет легкой, простой, счастливой. Начиная с секса и заканчивая деньгами. Или наоборот.

Алина не была похожа на Катю Самбуку. Впрочем, типаж одинаковый: такие живые куколки. Миниатюрные, нежные, чистенькие, с хлопающими глазками. И вот выяснилось, что Алина другая. Она может быть злой, способна орать, приказывать. Она попросила эту чертову кошку, обещая ухаживать за ней, а сама свалила на него, Матвея.

И Матвей снова стал крутить ролики с голой куколкой-блондинкой, такой доступной, но недостижимой, идеальной, радующейся толпе тянущих к ней руки самцов. Теперь он понимал, почему многие мужчины фанатеют от Мэрилин Монро, Анджелины Джоли, Саши Грей, Анны Семенович, Кати Самбуки: им отвратительна та реальность, в какой они пребывают. Квартиры, жены, кошки...

Половая жизнь у Матвея и Алины расстроилась. Она не горела желанием, и он тоже. Вечером ложились в кровать будто выжатыми, избитыми и засыпали, прислушиваясь к шорохам.

Постепенно Матвею стало интереснее с Катей Самбукой, чем с женой. Он стал искать возможность оставаться с Самбукой наедине. Испугался этого, попытался приласкать Алину. Та сначала прильнула, а потом отстранилась:

— Не могу.

— Почему?

— Ты стал какой-то другой.

Нежность мгновенно сменилась в Матвее раздражением. Он усмехнулся:

— И ты тоже!  
 — Да? В чем же, интересно, я стала другой?  
 Произошла ссора. Алина оделась и ушла.

Матвей думал, что она поехала к родителям, надеялся, что все им расскажет. Соберутся, обсудят, он внятно и понятно расскажет про кошку, про то, что Алина не убирает ее дерьмо, хотя обещала, — и теща наверняка встанет на его сторону. И проблема как-нибудь разрешится.

Но Алина ездила не к маме с папой. Вернувшись, сказала:

— Я была у своего психиатра.

— Что?

Матвей от неожиданности не осознал смысла фразы. Или не захотел.

— Я была у своего психиатра, — стальным, но на грани визга голосом повторила жена. — И он выписал мне направление в больницу. Завтра утром я ложусь.

— Куда? В психушку?

— Называй это психушкой, если тебе доставляет удовольствие.

— погоди, ты серьезно?

Алина смотрела на него взглядом Вассы — суровым и смелым.

— Я рассказывала тебе, что у меня подвижная психика.

— Одно дело — подвижная, а другое — в больницу.

— Иногда лечение необходимо. И не только мне, кстати. — И спросила слегка потеплевшим голосом: — Ты меня проводишь?

Матвей дернул плечами: куда деваться...

Он сидел на кухне, а она укладывала вещи в сумку. Как-то слишком энергично, почти радостно, словно ехала не в больницу, а на море. Матвею хотелось нажраться. Он иногда выпивал, но так, по-детски — бутылочку-другую пивасика. Сейчас же организм требовал пузыря водки. Влить и отрубиться. Ничего не чувствовать, не понимать. А утром умирать с похмелья. Это лучше, чем идти и искать кошачьи лужи и колбаски, потом везти жену в психушку.

Пересилил себя, не побежал в магазин «Красное и белое». Пообещал себе: завтра.

Его разбудил уже привычный скрёб по ламинату. И если раньше Матвей срывался на выворачивающий нутро звук, то теперь, в последние дни, поднимался медленно, надевал треники, совал ноги в шлепки. Покорно устранял плоды кошачьей жизнедеятельности.

Айфон Алины запиликал в восемь утра. Она быстро умылась, оделась и, с изумлением посмотрев на мужа, будто только теперь обнаружив его присутствие в квартире, сказала:

— Собирайся, пожалуйста, через пять минут такси подъедет.

Психбольница находилась на окраине города, в сосновом бору. Несколько кирпичных зданий за забором из металлических прутьев.

Алина уверенно шагала к ближайшей от ворот одноэтажке, каблуки сапожек стукали о почищенные от снега бетонные плиты. Матвей тащил большую синюю сумку. Жизнь с каждым метром движения по этой территории рушилась все сильнее. Обвал, град из осколков.

Внутри одноэтажки оказалась регистратура или приемный покой — в общем, там оформляли больных; Алина заглянула в кабинет с открытой дверью и протянула бумажку.

— А, да, — услышал Матвей приветливый, как старой знакомой, голос, — придется подождать, Алина Витальевна, сейчас тут с одним персонажем разберемся... Посидите в коридоре.

Матвей присел первым на мягкую скамейку. Оглядывался, слух работал напряженно. В конце коридора шипел душ и мужской тенорок, веселый и как бы насмешливый, повторял:

— Голову мыль получше. Голову... Мыль голову, не жалея. У нас чистота.

Потом провели крупного, но с лицом пупса подростка.

— Вот сюда, — велел высокий плечистый дядя в белом халате, и они скрылись в кабинете напротив того, куда заглядывала Алина.

Через полминуты в кабинете раздался нечеловеческий крик. Пупс выскочил в коридор с закатанным рукавом на левой руке. Побежал, продолжая кричать. Дядя догнал, мгновенно скрутил. Увел обратно.

Матвей глянул на жену. Она сидела спокойно, с прямой спиной, смотрела в стену.

— Ты здесь была уже? — спросил.

— Да, немного.

Ответ был сухой и равнодушный.

— В каком смысле — немного?

— Полежала две недели. В одиннадцатом классе. Перед ЕГЭ. Очень волновалась...

Из конца коридора вышел хмурый человек с мокрыми волосами, в руке держал старомодный портфель. Его сопровождал другой, но такой же молодой, высокий и широкоплечий дядя в халате. Глянул на Матвея и Алину, спросил весело:

— Вы тож к нам?

— Да, — ответила Алина.

— Вдвоем?

— Нет, только я.

— Ну, погодите десять минут. Определим товарища.

Они вошли в кабинет.

Матвей молчал. Происходящее было нереальным, и слова, вопросы, казалось, могут окончательно реальность убить, раздавить, и его тоже придется волочь, крутить, лечить...

Алину, слава богу, не заставили мыться в душе, оформили довольно быстро. В сопровождении веселого дяди-санитара они пошли в соседнее здание. Алина шагала быстро, дядя и Матвей даже приотстали.

— Ты, — учил Матвея санитар, — десять минут погоди, а после поднимись на третий этаж. И передашь вещи. Скажи, такой-то такой-то. Ей не положено ничего иметь...

— Если не положено, зачем передавать? — раздраженно ухмыльнулся Матвей: захотелось поспорить.

— Ну а как она без телефона, кремов своих всяких, еще чего там?..

— Ясно. Вернее, абсурд полнейший.

— Почему абсурд? — В голосе дяди вместо насмешки появилась обида.

— Нельзя с собой, а передать, значит, можно.

— Ну, порядок такой...

На прощание Алина коснулась губами щеки Матвея и попросила:

- Только Вассочку не бей, пожалуйста.
- Да не собираюсь я ее бить!
- Обещаешь?
- Обещаю.

Теперь Алина поцеловала его крепче, но по-прежнему в щеку. И исчезла за тяжелой стальной дверью с глазком.

Матвей спустился вниз. Постоял на крыльце, вдыхая чистый морозный воздух. Рядом гудело сотнями машин Объездное шоссе, а здесь было свежо, как в лесу... Он достал телефон, нашел номер Кирилла. Еще вчера вечером он решил, что нажрется вместе с ним.

— Привет. Узнал? Это Матвей... Ну, блин, однокурсник твой... Давай выпьем, как на первом курсе... Случилось. Предлагаю в «Бункере» через час. Там и расскажу.

Снова поднялся на третий этаж, протянул высунувшейся на его стук руке сумку и вызвал такси. Оно подъехало поразительно быстро.

— В «Бункер», — сказал Матвей водителю. — Толстого, десять, кажется.

С Кириллом они учились вместе в универе, вместе получили диплом, а потом иногда пересекались, в основном по делам. Матвей работал более-менее по специальности, Кирилл же забросил журналистику, редакторство и переключился на программирование. Ставил материалы на сайты, следил за их работой и безопасностью.

Кирилл довольно крепко пил и во время учебы (тогда, особенно на первом курсе, часто компанию ему составлял Матвей), и теперь. Поэтому немудрено, что он мгновенно согласился посидеть.

«Бункер» был не очень популярным в городе местом. Кухня неважная, крепкий алкоголь дорогой. И когда по ТВ не транслировали футбол, кабак почти пустовал. Но для разговоров он подходил отлично: каждый столик, отделенный стенкой, был почти кабинетом. Так что создавалась атмосфера защищенности от посторонних глаз и ушей.

За тот почти год, что они не виделись, и раньше-то полноватый Кирилл раздался еще больше, вернее, как-то обрюзг, орыхлел. Ждал Матвея за дальним от двери столиком, попивал пиво.

— Ты по пиву решил, — разочарованно сказал Матвей, — а я думал, мы водяры хлопнем, как в лучшие годы.

— Можно и водяры. Водка без пива — деньги на ветер. — Кирилл привстал и пожал протянутую руку. — Я работу большую закончил, так что могу с чистой душой...

- А я вот все дедлайны пропускаю.
- Случилось чего?
- Сейчас...

Матвей сделал нехитрый заказ официантке: бутылку «Парламента», кувшин морса, тарелку солений, селедку с картошкой.

- Только картошку, — добавил, — подогрейте, пожалуйста.
- Мы всегда подогреваем, — с наездом в голосе ответила девушка.
- Но попросить я могу? И были случаи, когда подавали из холодильника.

Официантка фыркнула и пошла.

— Не боишься? — Кирилл прищурил один глаз.

— Чего?

— Ну, еще плюнет в еду. У официантов это, говорят, распространенная месть.

Матвей поморщился:

— Мне не до шуток... Понимаешь, у нас с Алинкой что-то сломалось. Сколько времени жили душа в душу, и после свадьбы, а тут — бац, бац. И как чужие люди.

Он замолчал. Нужна была какая-нибудь фраза Кирилла, чтоб продолжить жаловаться.

— Бывает, — сказал тот. — Если б я хоть знал ее, мог бы посоветовать, а так — пару раз видел еще до свадьбы, на улице, мельком... На свадьбу ты меня не пригласил.

— Да и не было особой свадьбы.

— Да ладно, видел фоточки. Веселье до потолка.

На свадьбу Кирилла, действительно, не позвали — боялись, что напьется, и теперь пришедшему к нему за помощью Матвею стало неловко.

— Извини... Там родные, списки эти... Дело в том, — изменил голос, — что, похоже, разбежимся мы с Алиной.

Кирилл кашлянул, будто захлебнулся пивом:

— Кх!.. С чего вдруг?

Официантка принесла водку, рюмки и морс.

— Давай накатим, и попытаюсь рассказать. Попытаюсь хотя бы... Очень сложно...

Выпили. Матвей взял стакан с морсом и увидел на поверхности легкую пенку. Вспомнились слова Кирилла про плевок, стало муторно. Через силу отхлебнул.

— В общем, завели мы кошку...

— О, — Кирилл оживился, — киски — эт хорошо.

— Не перебивай, слушай. И так не могу сформулировать... Короче, Алина захотела кошку — я подарил. Она обещала ее кормить, убирать, а сама... Ее, типа, тошнит, она не того ожидала... Да не в кошке дело... не только в кошке. — Матвей наполнил рюмки и скорее осушил свою, запивать не стал. — Кошка только повод, катализатор, как оказалось.

— Киски — они хорошие, — снова вякнул Кирилл. — Они нервы успокаивают.

— А наша — Алину до больницы довела... Короче, банальщина, конечно, но кошка разрушает нашу семью. Удивительно, мы совсем чужими стали. За какой-то месяц.

— Ну, эт вы зря.

— Да я понимаю.

Принесли соленья. Под них еще раз выпили. Матвей пожевал маринованного чеснока. Вздохнул:

— И перед собой стыдно, и родителям говорить — тем более. Но... но, понимаешь, теперь от одного голоса ее вздрагиваю.

— Киски?

Матвей пригляделся к Кириллу. Тот был уже пьян.

— Ты меня подкальываешь? Стебешь?

— Да нет, просто запутался. У кисок же тоже есть голос. Они хорошие.

— А у тебя есть кот, кошка?

Кирилл замотал головой:

— Не-не, я ж раздолбай.

— А чего тогда — «хорошие», «нервы успокаивают»? Что ты вообще знаешь?.. И не о кошке я на самом-то деле. Я о том, что какая-то фигня может все разрушить. Сущая на пол кошка — и всё, и любовь испарилась. Раздражение, истерики, психоз...

— Ну. Кошку приучать надо. Дрессировать.

Бешенство подкинуло Матвея над столом. Не от слов однокурсника, а, скорее, от его тона, какой-то глухоты, что ли.

— Да пошел ты, кретин! Алкашня...

Матвей направился к выходу. В спину ударил возмущенный вопрос:

— А вложиться?

Вытащил из кармана деньги. Нашел тысячную бумажку, вернулся, бросил на стол:

— Жри!

До дома было недалеко. Три автобусные остановки. Можно и пешком. В голове слегка плыло. Хотелось, чтоб поплыло сильнее. Купил «Турборг». Пил на ходу, проливая на пуховик.

Не думалось. Просто шагал и время от времени присасывался к бутылке.

Вот и дом. Свежий, словно специально к их с Алиной свадьбе построенный.

Поднялся на лифте. Отопнул дверь. Не разуваясь, не снимая верхней одежды, прошел на кухню. Сел к столу. Вспомнилась пенка на поверхности морса.

— Сука!

И тут же наткнулся на глаза Вассы. Она сидела у батареи и торжествующе смотрела на него. Как победительница.

— Сука, — повторил Матвей.

Васса не двигалась, не моргала, не отводила взгляда.

Он поднялся и вышел на лоджию, откатил створку рамы. Посмотрел вниз.

С двадцать четвертого этажа земля казалась игрушечной, совсем не страшной.



Андрей НОВИКОВ  
**НА СОЛНЕЧНОЙ ОСИ**

**Яблоко**

Снова глупо, вопреки рассудку,  
Не туда повесили звезду.  
Спрятавшийся в телефонной будке,  
Ночи круг печалью обведу.  
Быть собой, пусть увеличит в сумме  
Искаженья предрассветный час,  
Слушая оцепеневший зуммер,  
Проходящий глухо через нас.  
Над балконом дома из панелей  
Млечный Путь из неразрывных уз.  
В городском саду юнцы пьянели,  
Надрывался в аромате гнус,  
И свисало яблоко планетой  
И упасть грозило на траву,  
В это разъярившееся лето,  
В этот мир, где я еще живу.

**Ной**

Земля молода, в ней упрямая нега,  
Теплы небеса и манят пеленой.  
Зачем же кедровое тело ковчега  
Поставил на брег недоверчивый Ной?  
С утра облачился в льняную рубаху  
Денек безмятежный на все времена,  
Умыты росой библейские страхи,  
Пророки вздремнули, хлебнувши вина.  
Смеется над ним молодая природа,  
Бросает к ногам изобилье плодов,  
И воины гордо идут из похода,  
Ведут на веревках коров и рабов.  
Купцы суетятся в торговом угаре,  
Артельщики строят из камня дома,  
А он все твердит: «Каждой твари по паре», —  
И все собирает в мешки семена.



## Бессонница

Пока не спится человеку в доме,  
Распахнутое в ночь глядит окно,  
Где город на неоновой ладони  
Уж не шумит машинами давно.  
Бессонницы уклад бывает сладок  
И горек, он на кухне приумолк.  
В нем есть неохраняемый порядок  
И любопытства непрощенный долг.  
Прямее время обнажает грани  
Смятенья или вольной пустоты,  
Мелькающие вереницы зданий  
И в памяти застывшие мосты.  
Мы школ ночных таинственные дети,  
Свой вдох и выдох примеряем зря,  
Над жертвенником нового столетья,  
Где под асфальт закатана земля.  
Тогда как в непокой другого рода,  
С небес направив искристый поток,  
До сердцевины бытия природа  
Несет любви и вольности глоток.

## Праздник

Жизнь интересна в первой трети:  
На кухне молоко кипит,  
Петарды зажигают дети,  
И снег искрится и шипит.

В прихожей разговоры грубы,  
Свет резко падает в проем,  
Приходят гости: шапки, шубы  
Топорщатся хмельным зверьем.

А улица ликует в сборах,  
Куранты бьют желанный час,  
Расплавлен наст, чернеет порох,  
Привычно праздник входит в нас —

Вот так, приливом и отливом,  
Сумбуром, новизной затей,  
И только хрупки и ленивы  
Остатки ледяных дождей.

В них видно будних дней удушье,  
Работы повседневной боль.  
Жизнь, дай чуть-чуть великодушья  
И праздник выплакать позволь.

## Истукан

Там, где посвист степного аркана,  
Где ветра шевелят ковыли,  
Сотворил я себе истукана  
И прощенье прошу у земли.  
Что ж, готовьтесь к большим переменам,  
Купол неба сегодня не глух,  
Потому и по каменным венам  
Я вселяю в него новый дух!  
Он, как молния в грозных зарницах,  
Воссияет в значенье былом,  
И ему перелетные птицы  
Будут бить и крылом, и челом.  
Пробудив известковые очи,  
Очерчу я круги на воде,  
И зеркальная аспидность ночи  
Отразит его здесь и нигде.  
Кто еще у судьбы на примете?  
Не криви же, ваятель, душой:  
Ты такой же ненужный на свете,  
Бородатый, веселый, большой.

## На солнечной оси

На солнечной оси, бегом,  
Настало утро с чутким носом,  
И в доме пахнет утюгом  
И крепкой первой папирсой.  
Так, в детской памяти сквозя,  
Кипит белье в тазу неловко,  
Шарами мыльными скользя  
Над белой бельевой веревкой.  
Еще судьбой не начат счет,  
И дерево скрипит лошадкой,  
И я, влюбленный в жизнь еще,  
Таскаю пирожки украдкой.  
Обычный коммунальный быт,  
Где я с кудрявой головою,  
Еще родными не забыт,  
Живу в согласье сам с собою.  
Лица увижу я овал  
И руки матери за пряжей,  
И страшный времени провал,  
Ничем не объяснимый даже...

Эльза ГИЛЬДИНА

## ЧЕКАДАНОВ И РАСЧЕКТАЕВА

Р а с с к а з ы

### Подготовка

Чекаданов и Расчектаева. Коля и Эля. Беспечные, легкомысленные, совсем еще дети. Милые и хорошие... Если вы не их пассажир.

Обоим на вид лет по семнадцать. Чекаданов — светловолосый, синеглазый, худенький. Расчектаева — маленькая, темненькая, с черными глазенками.

Познакомились они на «подготовке», вместе ползая по полу с мокрыми тряпками.

— А если еще вагоны дадут? — спрашивал Чекаданов.

— Не имеют права! — возмущалась Расчектаева. — По правилам должны давать не больше двух.

— Ха, наивная чукотская девочка! Еще не поняла, что здесь все вопреки правилам? Все — по мере сил и терпения проводников...

— ...и по мере бессовестности начальства. Я, в будущем человек с высшим образованием, не хочу четвертый раз за день возить по полу грязь!

В соседнем вагоне намечалась драка. Проводнице Вере, которой повезло заполучить сразу двух помощников, не хотелось расстаться ни с одним из них в пользу коллеги, которой не достался вообще никто.

— Давай мне либо пацана, либо девку! Ты всю жизнь малыми потерями обходишься. Отдавай, а то я щас к начальству пойду и расскажу, че ты здесь вытворяешь!

— А че ты орешь, как потерпевшая? Обойдешься и без пацана, и без девки! Сама вон какую харю отъела — в проходе не помещается! Это еще кто из нас малыми жертвами обходится!

— Записывай аргументы или профессионализмы! — хихикал Чекаданов. — У вас диалектологической практики еще не было?

— Я к ней не пойду! — запищала Расчектаева.

— Кому ты нужна? По идее, мы никому из них ничего не должны. Мы здесь пока не работаем. Смело можем сваливать. Ну что нам сделают? До экзаменов не допустят, когда мы уже заплатили? А вообще, у меня спина к животу прилипла. С утра не ел. Ты хавчиком, случайно, не запаслась?



- Нет.
- А чай с печеньками хочешь?
- Хочу.
- Сгоняешь в киоск? Я пока титан разогрею.

Возвращаясь обратно, Расчектаева не смогла вспомнить свой вагон. Долго бегала по перрону, высматривала в окна знакомые головы. Поднялась в первый попавшийся и пошла через весь состав. В одном из вагонов ей на пути попалась гурьба столяров, отдыхавших со стаканами. Насилу от них отделалась. Кто-то успел ущипнуть. Дальше — хуже: почти в каждом вагоне ее негостеприимно встречали заспанные невымытые рожи, ругань, ведра, мокрый пол... А Чекаданова и проводницы Веры все не было.

Спустившись на платформу, Расчектаева заплакала от отчаяния.

Кто-то на весь ПТС заорал: «Закрывайте окна!» — собирались мыть состав снаружи. Чекаданов увидел в окно свою новую знакомую, которая ушла двадцать минут назад и пропала, высунулся — и его тут же окатили мыльной водой.

Бегала бы Расчектаева вдоль готовящегося к поездке состава еще столько же, если бы Чекаданов не окликнул ее со ступенек вагона...

В рейсы после практики и экзамена они стали записываться вместе.

## Уныние

Железный червь стоял на перегоне. Проводники, отужинав, сидели в первом купе, читали непроданные газеты, глядели в синее окошко. В их вагоне повышенной комфортности трех пассажиров будто и не было. А снаружи застывшая таежная тишь. В хмурых, темных, тяжелых хвойных лесах, через которые пролегал путь, снег, несмотря на май месяц, еще не стоял и спокойно белел себе.

Чекаданов и Расчектаева вышли покурить в тамбур, распахнули наружную дверь и продолжили начатый разговор.

— Я не умею ценить мгновение. Даже если что-то хорошее происходит, — жаловалась Расчектаева. — Не умею радоваться своей молодости и всяким ярким событиям. Вспоминаю о них спустя какое-то время и начинаю жалеть, что тогда не наслаждалась, не удержала момент. Жизнь проходит, а у меня все как-то безрадостно, все исчезает без следа... Почему, не знаешь?

— У всех так, Эль, — отвечал ей Чекаданов. — Вот ты щас паришься и упускаешь приятные минуты, проведенные со мной. Ты всегда чего-то боишься, вечно чем-то недовольна, ищешь повод погрустить, поболеть... — Он приблизился к ней, стал поправлять ей волосы. — Ты что, сегодня не расчесывалась?

- Нет.
- Как в этом стишке:

Девочка плачет: шарик улетел.  
Ее утешают, а шарик летит.  
Девушка плачет: жениха все нет.  
Ее утешают, а шарик летит.

Женщина плачет: муж ушел к другой.  
Ее утешают, а шарик летит.  
Плачет старушка: мало прожила.  
А шарик вернулся, а он голубой\*.

— У меня нет шарика! — продолжала кукситься Расчектаева.

Чекаданов долго с интересом смотрел на нее, затем отвел глаза в сторону — и вдруг резко поменялся в лице. Присел на краю и уставился в землю, пытаясь что-то разглядеть.

— Что? — нагнулась за ним Расчектаева. — Купюрки какие-то... Откуда?

— Какие-то? Ого-го какие! Сколько времени за глупым базаром потеряли... Давай-давай, Элька, пока не тронулись! — Завороженный Чекаданов спустился вниз.

Постояв в нерешительности, Расчектаева вдруг тоже сорвалась с места. Около трех минут они ползали вдоль своего вагона. Расчектаевой теперь казалось, что уж этот момент останется с нею на всю жизнь, его-то она никогда не забудет! Тишь кругом; сумерки; зябкие, но цепкие пальцы, хватающие мокрые купюры и впопыхах запихивающие в карманы; сбившееся дыхание соседа и собственное; редкие подбадривающие фразы, еле доносящиеся до сознания; растревоженное воронье над деревьями; и снег, снег, снег — грязный, но от которого не в силах оторваться...

Чекаданов слишком увлекся — отошел от вагона метров на семь. Поезд двинулся.

— Коля-я-я! Коля, хва-а-атит! — кричала ему Расчектаева со ступенек. — Быстрее, быстрее!

Он успел взобраться до того, как железный червь набрал обороты.

— Ништяк! Сколько у нас, интересно? — радостно лепетал в тамбуре запыхавшийся Чекаданов.

Он был весь красный то ли от возбуждения, то ли от переохлаждения. Продрогшая Расчектаева, разделяя его радость, сразу пошла в вагон. Чекаданов захлопнул дверь, повернул замок, кое-как отдышался, достал сигарету и закурил. Деньги, находясь в боковом кармане, грели ему область сердца. Он оттягивал минуты, когда при ярком свете у себя в купе вытаскивал их и пересчитывает. Сделав глубокую затяжку, он все же не выдержал и прошел с сигаретой в большой коридор.

Расчектаева, ссутулившись, стояла у титана лицом к окну.

— Титан не успел остыть? — спросил Чекаданов, зайдя в рабочее купе.

Поплевал в умывальник, достал из шкафчика пакетики зеленого чая, стаканы.

— Эль, тебе чай делать?

Она не отвечала. Чекаданов вдруг заметил, что его рубашка — точнее, боковой карман — в крови. Он вышел к Расчектаевой. Та продолжала стоять в том же положении. Перед ней на полочке лежали мятые купюры.

— Че случилось? — спросил Чекаданов, успев все понять.

\* Строки из «Песенки о голубом шарике» Б. Окуджавы.





В ответ ее плечики затряслись, и она закрыла лицо руками. Чекаданов достал из карманов рубашки и брюк все собранные деньги, которые, как теперь стало видно, тоже были испачканы кровью. Открыл дверцу печки и затолкал туда купюры. Последнюю он поджег и кинул вслед за остальными. Расчектаева остекленевшим взглядом наблюдала за его действиями.

— Они мокрые, плохо гореть будут...

Тогда Чекаданов стал бросать в разгорающийся огонь газетные листы.

— Что это было, как думаешь? — спрашивала она, обняв его.

— Наверно, кто-то попал под поезд.

Они долго молчали, глядя в беспокойное пламя. Чекаданов разглаживал ее волосы. Расчектаева не выдержала и уткнулась ему в грудь.

## Письмецо в конверте

В Усть-Катаве майское солнце преуспело в это утро больше, чем в башкирских степях, хотя воздух был еще недостаточно прогрет. Расчектаева, с флажками в одной руке, жевала пирожок, купленный у бабульки, подбежавшей, едва она ступила на платформу, и с любопытством поглядывала на других таких же старушек: маленькие, шустрые, они сновали то там, то здесь с ведрами и корзинами, укрытыми цветными платками, бойко предлагая товар и с надеждой заглядывая всем в глаза. Чуть дальше чинно расположились торговцы посудой, картинами, нардами. Над всей платформой стоял неспешный, ровный базарный гул.

Один из торгашей с возмущением высказывал другому:

— Это же Башкирия! Народ такой, понимаешь? Они потрогают, пощупают, а взять не возьмут. Ты на них даже время не трать...

Пассажирам, и вправду, ничего не хотелось, кроме как за пятнадцать минут надышаться и поглазеть на интересненькое.

Пока Расчектаева раздумывала, брать или не брать настойчиво предлагаемую торговкой каменную лилию, которая ей безумно понравилась, на солнышко вышел погреться еще один человек. Ее железнодорожный бог. Ее дорогое сердцу открытие лета. Алексей Владимирович Бессонов. ЛНП\*. Ни темные круги под большими глазами, ни тяжелые, уставшие верхние веки, ни морщинки не портили его. Расчектаевой даже примерно не удавалось угадать его возраст: что-то от двадцати пяти до тридцати пяти. Она его боялась — возможно, потому что не понимала. Не понимала, почему он так усиленно хлещет водку, почему вечно орет. Почему порой так взглянет на нее, на Расчектаеву, что после этого она долго не может прийти в себя и думает: что это было? к чему? хорошо это или плохо?

Расчектаева выпрямилась, не зная, куда девать чумазые после букс\*\* ладони, грязные волосы, кривые тонкие ножки... Бессонов проследовал дальше, в хвост состава, мельком взглянув на юную проводницу *тем самым* взглядом и снабдив ее ощущениями и размышлениями на весь оставшийся день.

\* ЛНП — начальник (механик-бригадир) поезда. «Л» — кодовое обозначение пассажирских составов.

\*\* Букса — металлическая коробка с подшипником и смазочным материалом; связующее звено между колесной парой и рамой вагона. В обязанности проводников входит проверять буксы на каждой остановке, чтобы не допустить их перегрева и возгорания смазки.



Неожиданно к Расчектаевой подошел представительный дядька в больших темных очках, в белой рубашке. Попросил передать тоненький конвертик: мол, там важный документ. Расчектаева сначала хотела позвать напарника, который спал, но, пробуравив незнакомца испытующим взглядом, оглянулась по сторонам и взяла конверт.

— Ты же рисковала! — ругал ее потом Чекаданов. — Знаешь, сколько наших палится здесь, сколько подстав? Вон одна, рассказывали, кипу старых газет перевозила. Пришли к ней трое, она им — посылочку с улыбочкой, они ей — удостоверения и морду кирпичом. Отделалась малым: поперли с работы.

— За кипу газет? — не верилось Расчектаевой.

— За кипу газет, — деловито подтвердил Чекаданов, возлегая на полке и попивая чай с вареньем.

Ему было обидно, что подруга обошлась без него, не удосужилась позвать. Все возможности дармовщины и калыма обычно обсуждались с ним. Все денежные вопросы, кроме казенных, решал тоже он. Расчектаева была кем-то вроде горничной или завхоза: на ней уборка, готовка, обслуживание пассажиров. Она же продавала белье, чайную продукцию, газеты. А Чекаданов, пробудившись после очередного сладкого сна, с самым серьезным, озабоченным видом подсчитывал прибыль, как приказчик или бухгалтер, поучал напарницу и отдавал ей деньги обратно — на хранение.

Расчектаева стояла расстроенная и озадаченная.

— Что теперь — вообще не брать?

— Сначала надо присмотреться, понять, че к чему, прикинуть... А вообще, меня надо звать!

Расчектаевой вдруг надоели поучения много повидавшего на белом свете Чекаданова.

— Без тебя не обойдется, проницательный ты наш! — уселась она возле окошка на противоположную спальную полку и, поставив локти на столик, обхватила руками голову. — Ты такой умный-умный, остальные все тупые!

— Я хороший психолог.

— Ты раздолбай! Второй день хомяков давишь! Говорили мне: хуже пацанов напарников нет, только и знают, что дрыхнуть всю поездку! Даже быструю лапшу себе сварганить не можешь...

— Я желудок свой такой фигней не порчу. — Чекаданов вылавливал из банки вишенки, дрыгая носком ботинка.

— ...я и готовлю, и убираю, и с «лушкой»<sup>\*</sup> парюсь, — не слышала его напарница. — А ты или не хочешь ниче делать, или не умеешь, бестолочь!

«Бестолочь» — куда обиднее, чем «раздолбай». Чекаданов отреагировал:

— Зато ты ночью спишь, потому что я дежурю!

Возмущение Расчектаевой достигло крайней точки. Ей было что ответить:

— Да ночью дежурить — как нефиг делать! Чем ты сегодня занимался? Выходов не было, крупных станций тоже.

\* «Лушка» — квитанция формы ЛУ-72, в которой указывается расход постельного белья во время рейса.



— Едят тебя мухи! А я виноват, что у нас выходов и больших станций не было в эту ночь?

Пассажиры стали с любопытством и беспокойством поглядывать в сторону первого купе, откуда на повышенных тонах раздавались взаимные упрёки.

— А смену ты мне с утра как сдал? Титан не разогрел, полы не помыл! Тебя Алексей Владимирович несколько раз ночью спящим находил. Десять часов ночью, десять часов днем — не слишком жирно для тебя? А я еще должна думать, где нам деньги на ревизоров\* искать, как возмещать, а потом выслушивать от тебя...

Расчектаева под конец не выдержала: голос ее надорвался, глаза налились влагой, и она опустила голову на откидной столик, спрятав лицо.

— Я просто боюсь подставиться, — начал оправдываться Чекаданов. — Сколько случаев было...

Он придвинулся к столику поближе.

— Вон Райка взяла какие-то сыры, теперь сама не рада, — поглаживал он плечи Расчектаевой.

Та продолжала беззвучно пускать слезы.

Он поглядел в окно, вздохнул, встал. В дверях сказал напоследок:

— Ты это... Если придут без меня, то смотри, чтобы человек был один. А когда деньги даст, сразу положи под салфетку или под матрас, чтобы в случае... Ну, короче, поняла.

В Нижневартовске никто не подошел, перрон был пуст, чему ребята несказанно обрадовались. Беспокойство у обоих внутри наконец улеглось.

В отстое, когда оба про «посылочку» уже и думать забыли и Чекаданов лег спать, а Расчектаева домывала туалеты, пришли трое. Получатели сильно напугали Расчектаеву: уж очень они не походили на людей, которым высылают важный и срочный документ. Она хотела было что-то соврать, но мозг не поспел за действиями, вызванными испугом. Времени придумать не было, да и духу не хватило врать таким подозрительным гражданам. Проще скорее отдать то, за чем пришли, и отвязаться.

Расчектаева пригласила их подняться. Все трое стояли в тамбуре при тусклом освещении. Один из них сразу распечатал конверт. В воздухе что-то щелкнуло, кувыркнулось, растворилось, неприятно пропитав все нутро Расчектаевой. Она почуяла неладное буквально: запахло то ли уксусом, то ли ее собственным потом. Напряглась. Слишком уж явно незнакомцы изображали разочарование, ничего нужного для себя не обнаружив. Слишком их действия казались отрепетированными.

— Я че-то не въезжаю, это че за дела? Где деньги? — мужчина достал из конверта сложенный вдвое лист картона.

— Какие деньги? — тоненько-тоненько переспросила проводница.

— Какие! — Два круглых лица при слабом свете приблизились и нависли над ней, как две пятнистые недобрые луны. — Пятьсот «уе»!

— Не знаю, не передавали... — отпрянула Расчектаева от «ночных светил».

\* Контролер-ревизор пассажирских поездов — лицо, осуществляющее контроль за соблюдением правил обслуживания пассажиров. Если обнаружены нарушения, проводники обязаны заплатить штраф.



— Здесь было пятьсот долларов. Ты должна была передать! Куда дела, курва?!

— Я не понял, ты че свои буркалы уставила? Гони!

— Я сейчас... спрошу... посмотрю... — Она попятилась от них в купе отдыха, к спящему Чекаданову.

— Резче! Иначе под молотки пушу. Весь твой вагон ушатаю!

Возмущению незнакомцев не было предела.

— Ваще уже охренели! Средь бела дня!

— Ага, не говори. Нашла лохов!

— Там, — тыкала Расчектаева пальцем в неопределенную сторону, объясняя разбуженному Чекаданову, — деньги просят.

— Чего-о? — не понял тот спросонья. — В смысле «просят»? Кто? Это кто у кого должен просить?

— Просят, — горестно, сквозь слезы прошептала юная проводница, закрывая лицо руками и медленно сползая по стенке.

Теперь-то она полностью осознала, что натворила. В прошлом — беспечность, в настоящем — запоздалое раскаяние, впереди — расплата.

Чекаданов, надев фуражку и отпив из стакана чай, решительно встал:

— Где?

— Там, — просто сказала она, уже никуда не показывая.

Дальше Расчектаева слышала, как ее напарник, направляясь к ним, с вызовом и безосновательной надеждой, что его не побьют, чеканит:

— ОАО «РЖД». В чем дело? Предъявите-ка документики!

Чекаданов всегда бестрепетно брал на понт, вечно встревал, не успев хорошенько подумать о последствиях, не опасался получить в рог — и неизменно получал. Он стеснялся собственных неудачных шуток, боялся показаться смешным, боялся папы, начальника Бессонова, сессии и красивых девушек. А вот драк и того, о чем говорилось выше, не страшился.

Расчектаева выглянула. Чекаданову уже дали в рог, он лежал на полу, трогая потекшую из носа кровь, которая успела испачкать его голубую рубашку. Увидев его таким, Расчектаева в ужасе заверещала и, не дожидаясь своей очереди, выбралась из купе и рванула по коридору в противоположную сторону, в хвост состава. Незнакомцы — за ней. Заметив в следующем вагоне выливавшую в туалете ведро тетю Раю, она выпрыгнула на улицу с истошными криками о помощи.

Тетя Рая, увидев, как незнакомые гады схватили внизу ее юную подружку, заорала что есть мочи:

— Наших бьют! — и сама бросилась с ведром на ее защиту.

Высунулись головы — как из этого состава, так и из стоящего напротив. Отборный, изощренный мат, нечеловеческие вопли, способные мертвого поднять из могилы, разбудили спящих и привлекли внимание бодрствующих. Тут же к месту происшествия сбежались проводники: кто со шваброй, кто с ломом, кто с огнетушителем. Бандюганов побили, скрутили — и поддали им еще, когда выяснилось, как они обошлись с бригадным «сыном» Чекадановым. Но едва показалась милиция, все вдруг бросились врассыпную, оставив на перроне жуликов, закрылись каждый в своем вагоне и только выглядывали из окон. У милиционеров ушло около получаса на их «выколупывание». Проводники сидели внутри, огрызались, зализывали раны,



успокаивали друг друга, жалели Чекаданова и Расчектаеву. В итоге менты забрали нескольких мужчин и крупных женщин, потенциально способных устроить драку и нанести увечья. Незадачливым преступникам понадобилась первая медицинская помощь.

Через час, вернувшись от своей местной подруги, начальник поезда Бессонов пришел в отделение вызволять свою бригаду.

— У нас через час посадка, а они еще вагоны не убрали! — как мог, умолял он главного, с яростью поглядывая через решетку на своих подчиненных.

Главный ему не отвечал, только курил и пускал дым в потолок.

— Я же не за них прошу, за себя! — не сдавался Бессонов. В этой отчаянной ситуации ему только и оставалось, что просить о милости, уповая на чужое хорошее настроение. — Меня же с работы попрут! Я десять лет на «железке»...

— Забирай, — бросил ему мент, имея в виду и паспорт с удостоверением, и бригаду.

— Телефонogramмы не будет?

— А хо-хо не хо-хо?!

— Договоримся.

За желанную свободу собрали по пятьсот с носа. Бригада о причинах своего зверства по отношению к бандитам помалкивала, иначе пришлось бы писать заявление. У тех и у других рыльце было в пушку, а особенно — у Расчектаевой с Чекадановым, которых коллеги так и не выдали.

Но своему начальнику в вагоне-ресторане пришлось выложить все. Он орал так, как никто и никогда не слышал. Работники вагона-ресторана с интересом наблюдали за сценой.

— Вы какого рожна полезли туда, тормоза от самой большой машины?! Понравилось — в козлятнике с ветерком до ближайшего отделения? Опозорились! Вы меня подставили, вы на меня положили и на себя тоже! И пусть бы их прибили, пусть бы их выкинули куда-нибудь и закопали, этого полудурка и эту полудуру, — указывал он на сидящих отдельно от всех красного Чекаданова и зареванную Расчектаеву, — за то, что делать им, зародышам обезьяньим, запрещалось, а они все равно сделали! Конечно, они же думали, что они самые умные, что правила не для них написаны. Да вас бы не только уволили, вас бы из института вашего поперли, и вы бы с условным сроком ходили, если не больше! Захотелось деткам на мороженое... Сколько раз я вам всем говорил: не брать, не брать посылки! Я сколько лет здесь работаю, и вы сколько здесь работаете, — обращался он к немолодым сотрудникам. — Чего только не видели: убивают проводников, из вагонов на полном ходу выбрасывают... Еле отмазал вас!.. По рабочим местам, — устало приказал он, с трудом отдышавшись.

Все, понурые и раздавленные, разошлись, кроме ребят. Начальник подошел к ним, не смеющим поднять головы:

— А вы, уроды... Я вас всю оставшуюся поездку иметь буду, вместе и по отдельности, сразу и по очереди!

Расчектаева испуганно посмотрела на него. Бессонов отвел глаза и все остальное говорил глядя только на Чекаданова.



— Ищите бабло, которое отдала за вас бригада! Ищите бабло, которое я за вас отдал! Вы мне лично должны! Продавайте за двойную цену пиво, водку или что у тебя там, Коля! Да хоть раком становитесь в коридоре и отдавайтесь за тридцатник всем проходящим, мне плевать! Только чтоб деньги бригаде и мне вернули! Вы у меня теперь по струнке ходить станете, ни один косяк не прощу — убивать буду! Хватит кататься, пора трудиться! — бросил он им, уходя.

— За сколько мы должны отдаваться? — переспросил у подруги Чекаданов.

### Чужой праздник непослушания

Застоявшийся состав потащили на свет божий, а Чекаданов и Расчектаева снова не успели как следует прибраться. Туалеты решено было мыть в пути следования, пока не выберутся из города. Но туалетную бумагу на всякий случай повесить сообразили: вдруг проверка. Расчектаева подметала, а Чекаданов, матерясь, метался между двумя туалетами, то забывая запереть их на трехгранный ключ, то заново прикрепляя упавшие на мокрый и грязный пол взбухшие рулоны.

Пока ребята, теснясь, переодевались в своем купе в белые рубашки, объявили посадку, и в дверь вагона уже со страшной силой ломались. Со стороны перрона слышался какой-то необыкновенно громкий гул.

— Это кого же нам принесло? — испугалась Расчектаева.

— Пять минут подождать не могут... Москвичи! — ворчал Чекаданов.

На ходу заправляя рубашку в юбку, Расчектаева побежала открывать. Напарник, закрыв за ней купе и взяв флажки, глянул в окно.

— Твою мать, Расчектаева! Пришел час расплаты...

Расчектаева и сама теперь видела. Перед ней внизу стояло около полусотни молодых людей с голыми торсами, в шортах, с шарфиками фанатов «Спартака», со всякими дуделками и транспарантами. Юнцы и постарше, с лицами нежными и в щетине, радостные и недовольные, но все одинаково загорелые, разгоряченные пивом и общим настроением, нездорово возбужденные, запальчивые, знающие, какое впечатление они производят своим количеством.

Проводники спускались к ним как на съедение. Расчектаева глянула на билет одного — до Ульяновска, и на душе немного полегчало: вторая половина пути останется на масштабную уборку. В Чекаданове, их сверстнике, таком же пацане, сразу непроизвольно зыграло желание продемонстрировать превосходство, показать, кто в вагоне хозяин. Болельщики, поглощенные собой, своими ощущениями, надеждами на хорошую игру любимой команды — в общем, едущие на большой праздник, не заметили его попытки. Неуправляемая толпа, оставаясь на своей волне, понукала, хамила, ржала и, судя по всему, в дороге собиралась ни во что не ставить обоих проводников.

Постельное белье больше половины фанатов не взяла; мусорные мешки заполнились моментально; у туалетов постоянно толпились желающие: санитарные зоны и стоянки просто игнорировались; в тамбурах, даже в рабочем, стояла непроглядная дымовая завеса, пол был сплошь усеян окурками; на замечания в лучшем случае не следовало никакой реакции. Чекаданову разок



залепили в лицо подушкой и недружелюбно посоветовали «пасть больше не разевать». Расчектаева после пятого щипка побежала плакаться в штабной вагон к ЛНП. Бессонов и тетя Саша ее утешили, приголубили, пообещали поддержку в пути. Чекаданову было велено не оставлять напарницу, дежурить вместе с ней. Алексей Владимирович даже сам как-то пришел с пэмом\* Володей, напугал шумных пассажиров милицией. Подействовало, но ненадолго, потому что тогда бы пришлось забирать всех. В своем буйстве фанаты были равны, никто из общей массы не выделялся, все вели себя одинаково невыносимо.

Кончилось тем, что проводники вовсе отказались следить за вагоном, закрылись изнутри в купе отдыха и никуда не выходили. Ели, отдыхали, читали газеты: Чекаданов на верхней полке, Расчектаева на нижней.

— До прибытия в поезд медицинских работников начать проведение первичных противоэпидемических мероприятий... — просматривал Чекаданов взятые напарницей в рейс лекции. — Расчектаева, ну-ка, скажи мне, что включают в себя первичные противоэпидемические мероприятия?

Та самозабвенно красила ногти на ногах.

— Понятия не имею.

— Эх ты! Это значит, что необходимо изолировать пассажира в отдельное купе — ага, размечтались! — или отделить его ширмой.

— А где ширму взять? Проще с поезда скинуть — меньше риск заразиться.

— Ты злая. Ширму можно из-го-то-вить — Расчектаева, ну и почерк у тебя! — из подручного материала. Простынь, наверное, имеется в виду. Блинский фиг, не могли проще диктовать? При подозрении на острое кишечное заболевание выделить отдельную посуду для еды, а также емкости — то есть ведро? — для раздельного сбора фекальных и рвотных масс... Расчектаева, ликбез: «фекальных» с буквой «е» пишется.

— А разница? Суть та же.

— Выделения больного сохраняются до прибытия врачей, так как могут потребоваться для отбора анализов...

— А где хранить, не говорится? На одной полочке с посудой?

— Нет, не говорится. Это не их проблема и, слава богу, пока не наша. При обнаружении грызунов, блох в помещении, наличия следов их жизнедеятельности следует сообщить через начальника поезда в санитарно-контрольные пункты. Ни фига! Сколько раз я говорил Бессону, что со мной какая-то мышь работает, хоть бы что... Эль, а ты не пробовала о своем педикулезе сообщить через начальника в санитарно-контрольные пункты? Стопудово он перестанет на тебя после этого заглядываться.

— Пошел ты!

Пассажиры, пусть не сразу, но обнаружили их отсутствие. Туалеты самым мстительным образом были закрыты, и фанатам «Спартака» пришлось бегать в соседние вагоны, к неудовольствию других проводников. В конце концов на ребят пожаловались как пассажиры, так и коллеги.

— А вы нам обеспечьте нормальные условия труда, тогда мы выйдем! — обиженно кричали Чекаданов и Расчектаева из своего укрытия

\* Пэм (ПЭМ) — поездной электромеханик.



некстати заявившимся ревизорам, перепуганному Бессонову, сочувствующим Лене и тете Рае.

— Это *ваша* обязанность — обеспечивать в пути следования комфорт пассажирам, какими бы они ни были! — орал Алексей Владимирович. — У Марата то же самое — и он под стол не прячется, хоть и один. Открывайте, а то дверь выломаю! Таких звездюлей навешаю!

Ревизоры, дяденька и тетенька, прошли дальше, в другой вагон.

— У-у, студяги! — бил в дверь начпоезда. — Опять из-за вас бригада встревает! Молитесь, чтобы из рейса живыми вернуться! Придушил бы ушлепков! Через Ленку мне — двести рублей! Лен, приберись у них.

Двух фанатов все же сняли с поезда. Бессонов указал сержантам на первых попавшихся. Эта мера и наступившая ночь уняли разгулявшихся футбольных молодцов.

Под утро, в непорочной тишине, в которой раздавалось лишь святое детское сопение и безмятежный храп, Чекаданов и Расчектаева воровато вышли из купе. Умылись, разогрели титан, собрали и выкинули в окошко оставшиеся пивные бутылки и банки, подмели; кое-как, не без тошноты, прибрались в сортирах и тамбурах.

Вчерашняя молодецкая энергия в вагоне вроде бы иссякла. Футбольные звери спали сном праведников. Чекаданов и Расчектаева наслаждались этой долгожданной умиротворяющей тишиной. Наслаждались и победно хихикали. Где-то с полка, правда, доносилось сонное бурчание и легкий матерок, но в целом надежды оправдались.

И день прошел на удивление легко. Пассажиры больше смотрели в окошко, лениво переговаривались, двигались с меньшим энтузиазмом, сучающе, без буйства, пили и ржали, меньше курили в непредусмотренных местах и реже слонялись по поезду. Чекаданов даже наладил свой бизнес: почти все пиво было распродано. С Расчектаевой мягко заигрывали. В остальном обе стороны делали вид, что не замечают друг друга и вчерашние события не помнят.

Пейзаж на отрезке Москва — Уфа необыкновенно скучен: перелески, луга, поля... Не забавляет. Да и люди такие же — лысые и неинтересные. Нечего рассказать, не на что посмотреть; одни претензии, дохлость, одноцветность, раздражение и недобрые взгляды. Природа и жители средней полосы России наводят тоску. Лишь Волга спасает. Как только начинается — приковывает к окну своими черными могучими водами с шершавой, будто застывшей поверхностью.

То ли дело юг, Урал или Сибирь! Работяги, которые едут в Нижневартовск, подвижные болтуны и балагуры. А леса, леса какие! А ночи! На небе не звезды, а звездня! Не то что московские: стыдно смотреть — лучше бы вообще не было, чем такие...

Ближе к субтропикам люди тоже многогранные и широкие: горячие, живые, подвижные, с историей, с сердцем, с творчеством. И на контакт идут легко. Всегда есть что послушать и что перенять.

В Мордовии, на одной из станций близ Яваса, в паутине колоний — «красной», женской, для иностранцев и так далее, — Чекаданов,



стоя у вагона, вдруг явственно почувял запах. Он забавно, как щенок, потянул носом воздух.

Расчектаева рассмеялась:

— Ты чего?

— Не чувствуешь?

— Что?

— Трава!

Девушка принялась:

— Ну что-то такое... Да-а! Откуда?

Они огляделись. Чекаданов нагнулся: за вагоном стояли две пары чьих-то голых ног. Для лучшего проветривания ребята на каждой стоянке распахивали обе боковые двери. Кто-то ушлый поднял откидную площадку и спустился вниз на другую сторону. Просто дышать ему показалось мало.

Чекаданов поднялся в тамбур.

— Эй, вы! Вы че там делаете?.. Совсем обалдели?! Здесь мусора ходят! Быстро поднялись, на эту сторону нет выхода! — кричал он со ступенек.

Когда представлялась возможность поиграть в строгого проводника, он был беспощаден.

Ему, по-видимому, что-то ответили. Потом к двум парам ног в шортах прибавилась еще одна пара в брюках и одна в юбке. Ноги в юбке и шортах присели на корточки. Послышались смешки.

Поезд опробовал тормоза. Ноги резво вскочили и запрыгали по ступенькам. Чекаданов завел всех в салон, опустил фартуки\*, закрыл одну боковую дверь, с опаской выглянул из вагона: никого — и закрыл вторую.

К вечеру, перед Ульяновском, в молодом футбольном народе вновь проснулась нехорошая сила. На станции проводники и пассажиры соседнего поезда с сочувствием наблюдали, как взмыленный, изможденный мальчик-проводник в серой от пота и пыли рубашке спустился и обреченно побрел по перрону, щупая буксы. А за ним из вагона стремительно, не встречая преград, вывалилась неистовая толпа, разом заполнив все пространство между двумя застывшими ненадолго железными червями. Зеваки, как зрители в зоопарке, не в силах были оторвать взгляды от вырвавшихся на свободу фанатов. С осуждением качая головой, рискуя стать жертвами взмывающих в воздух бутылок и ракет, они тем не менее заворожено наблюдали стихию из окон, дверей и даже с перрона.

Несколько стекол в вагонах чужого состава в конце концов пострадало. Стоянку из-за такой разрушительной активности пришлось сократить.

## Не ждали

Начальнику поезда Уфа — Адлер около часа ночи было сообщено, что в районе Лисок их поджидают ревизоры. Боевая тревога! Чекаданову и Расчектаевой было велено к встрече готовиться в особенности.

За весь пыльный день ребята ни разу не коснулись пола мокрой тряпкой, а теперь, среди ночи, вдруг принялись «вылизывать» его, не боясь разбудить пассажиров. Пересчитали деньги, остаток постельного белья, расход,

\* Фартук — здесь: откидная площадка над подножкой железнодорожного вагона.



сверили с цифрами в «лушке». Подсчеты оказались верными: ни один пакет, полотенце или рубль не затерялись. Кроме того, пришлось полностью пересмотреть свои устаревшие взгляды на содержимое топки\*. Наполненный мусором мешок, о котором они начисто забыли, еле-еле втиснули в карман\*\*. В топке ничего не должно было оставаться, кроме лома и ведра. Долго искали место веннику, который у них был прописан там же. Один небольшой мешок с мусором все-таки пришлось оставить, накрыв сверху ведром. Авось не заметят.

Поезд безбожно опаздывал, за окном лил дождь. Непонятно было, когда они прибудут в эти Лиски. Из-за случившегося безвременья очередная станция потеряла для дежурившей Расчектаевой свое название. Охая и зевая, юная проводница решила на всякий случай выйти проверить буксы на наличие *грения*, а заодно подышать озоном.

Влажная, свежая ночь махнула на нее невидимым крылом, как только она открыла дверь. Ветер чуть не смел ее с площадки вниз. Она позволяла ему приятно касаться лица, уставших ног до тех пор, пока нежная прохлада не превратилась в холод. Тогда Расчектаева вернулась в купе за кофточкой.

Крохотная южная станция, ничуть не побеспокоенная прибытием железного червя, мягко дышала во сне под шум деревьев, дождевое кропление, отдаленный, шемящий сердце лай собак. Тихо... Ни души... Хрустальная, замершая благодать! Расчектаева выглянула, чтобы посмотреть в сторону штабного вагона. Никого. Спят, наверно. И он спит. Интересно, один? Как бы хотелось, чтобы он вышел покурить! Но ведь не выйдет... Как говорит Чекаданов, «шары опять залил и завалился». А завтра проснется с лоснящимся лбом. Зачем он пьет? Он же быстро состарится и станет некрасивым. «Железка» его погубит. Это сейчас еще здоровье позволяет...

Придется все-таки выйти: стоянка больше пяти минут. Расчектаева вздохнула, застегнулась на все пуговицы, подняла с пола тяжелый ручной фонарь, спустилась и двинулась вдоль вагона. Вернулась. Состав не трогался, поэтому ей пришлось проделать то же самое и с другой стороны. Под вагоном снова замелькали ее тоненькие бледные ножки и прозрачно-желтый огонек фонаря. Колесные пары вдруг проснулись. Расчектаева быстренько вбежала в вагон, закрыла обе двери. Юркнула в купе, где дремал после дежурства Чекаданов, поставила на пол фонарь, сняла кофту и нырнула под одеяло.

Она долго лежала, глядя в потолок. Беспокойные, тревожные думы никак не давали ей заснуть. Юная проводница перебирала в голове все, что могла упустить из виду. Ее дежурство, поэтому в случае чего и вся ответственность ляжет на нее. До Лисок, по неточным подсчетам, оставалось около часа.

— Коля! — Она резко ткнула напарника в бок. — Ты в нерабочем тамбуре пепельницы вытряхнул?

— Да, — сквозь сон ответил Чекаданов.

— И на полу бычков нет? Коля!

Тот отвернулся к стенке.

\* Топка — котельное отделение в вагоне.

\*\* Карман — ящик для угля.

— Блин, я, кажется, зажигалку в топке оставила! — спохватилась Расчектаева.

С трудом отодвинув складную дверь топки, она включила фонарь, чтобы выхватить светом желтый кусочек пластмассы. Но вместо этого луч, случайно направленный в глубину крошечного помещения, вдруг высветил крупное небритое лицо мужчины. Несколько секунд неопознанный субъект и Расчектаева смотрели друг на друга, в глазах обоих — ужас. Проводница завопила, мужчина бросился наутек. На бегу он сбил с ног не только перепуганную Расчектаеву, но и Чекаданова и нескольких пассажиров, выскочивших на шум. Незванный гость пронесся через весь салон купейника в хвост состава.

— Че случилось? Кто это? — подбежал к подруге Чекаданов.

— Откуда я знаю?! Заглянула в топку, а там этот сидит... Со мной чуть инфаркт не случился. Думаю: вот как, оказывается, смерть выглядит! — сама не своя от пережитого, дрожала Расчектаева.

— Все в порядке! Технические неполадки, — успокаивал Чекаданов людей. — Пассажир, возвращаясь из ресторана, перепутал вагоны. С кем не бывает...

— Куда он побежал? Нужно Ленку предупредить...

— Тебе больше всех надо, что ли? Скажи спасибо, что жива осталась! Закрывай торцевую дверь и ложись спать.

Но сон к Расчектаевой так и не шел. Она решила сторожить вагон, а то мало ли что еще... Укутавшись одеялом, забралась в свободное купе, на нижнюю полку поближе к окну. Вдалеке, у самого горизонта, играла молния. Иногда она возникала над составом, освещая деревья, поле, крыши домов и придавая им призрачные, фантастические — короче говоря, совсем небывалые очертания. От оконных рам струился холодный воздух. Ни с чем не сравнимое ощущение: в восемнадцать лет, одна, самостоятельно, на огромной скорости преодолевая расстояния, не касаясь неба и земли, мчаться куда-то — и все время упираться в небосвод...

Лиски она все-таки прозевала. Послышались голоса, шаги: сели душегубы-кровопийцы. Перевернули все. Ничего не нашли. Расчектаевой живо представилось, как удивится Бессонов. Небось ожидал косяков с ее стороны. Нет уж, не дождется! Когда они с Чекадановым захотят, все получается.

Успокоившись, Расчектаева с легкой душой позволила себе прилечь.

Через полчаса прибежала Ленка. У кого-то в хвосте вагона обнаружились двоих безбилетников. Не то чтобы «зайцы» в чистом виде — какие-то случайно севшие бомжи. Не на сланцы же их позарились проводники в счет платы за проезд! Но ревизорам этого не объяснишь. Им в их бескомпромиссном и жестоком труде на всякие лирические отступления отвлекаться некогда.

## Косяки

Косяков за Чекадановым с Расчектаевой водилось множество. Из всей совокупности Бессонов «палил» процентов десять. Как-то он поймал подчиненных с поличным за их любимым занятием — выбрасыванием мусора из окна на полном ходу поезда.



Операцию проводил непосредственно Чекаданов, Расчектаева же страховала. Начиналось обычно так: они вдруг вспоминали о спрятанных в топке наполненных мусором мешках. Крупные станции, на которых предоставляют мусоросборники, либо уже позади, либо будут не скоро. А места в топке уже нет, да и запашок начинает беспокоить. Некоторое время у Чекаданова и Расчектаевой уходило на жаркие споры о том, из какого мешка в какой переложить мусор в целях экономии, как лучше его утрамбовать и кто из них должен был заниматься этим перед большой станцией. После всей этой возни выбиралось место для сброса. Мешок обычно летел на полевую сторону путей, иначе содержимое могло размазаться по стеклу кабины машиниста выскочившего рядом локомотива, как это однажды и произошло.

Прежде чем приступить к делу, кто-то из ребят прогуливался в сторону штабного вагона, не доходя до него. Проверкой не пренебрегли и в этот раз, поэтому внезапное появление Бессонова в тамбуре стало неприятным сюрпризом. Расчектаева заметила начальника раньше и от неожиданности перестала страховать увлеченного проделкой друга.

— Щас как скинуть бы вас обоих! — прогремело над ухом Чекаданова.

Бессонов захлопнул дверь, за которой внизу резво пронеслась железнодорожная насыпь, куда его подчиненные только что проводили «целлофанового друга».

— Быстро в вагон! Студяги...

Огромное количество раз им попадало за неправильное ведение документов. Если Расчектаева еще как-то соображала, то Чекаданов в бумажной работе не сек абсолютно. Напарница допускала его лишь к выписыванию квитанций ВУ-9\*. Чекаданов во время дежурства никогда не заполнял ЛУ-72, а если возникала необходимость, будил Расчектаеву или бежал в соседний вагон к Лене. Но если не научишься заполнять бланк учета населенности и расхода постельного белья, не выживешь: «съедят» контролеры, начальство лишит премии и в конце концов выгонит с работы.

Как-то ночью, уложив пассажиров, Чекаданов с Расчектаевой засели в полутьме в свободном купе плацкартника, разложили билеты, документы, черновики на столике между стаканами остывшего чая и банкой варенья, вперемешку с семечками и абрикосовыми косточками. На весь этот рабочий беспорядок, на их неторопливое, сосредоточенное копошение лила свой ровный, спокойный свет полная луна.

— В первом столбике, после «Дежурство принял» пиши: «Москва».

— Это «станция посадки»?

— Да. Так... Ниже, в третьем... Какая ближайшая станция?

— Зубов.

— Точно?

— Сама смотри.

— Ладно, пиши: «Зубов».

— Это «станция высадки»?

— Да. Сколько там выйdet?

— Двое.

\* ВУ-9 — квитанция об оплате пассажиром комплекта постельного белья.



- Посмотри билеты.
- Я тебе говорю, двое! Я смотрел!
- Не ори, людей разбудишь. Пиши в пятый столбик.
- Что писать?
- Два! Какие там места?
- Тридцать пятое и сорок третье... Вот не сидится им дома, в своем Зубове! Че они в Москве потеряли?.. Это в шестой столбик писать?
- Да, пиши... Нет, не пиши! Они белье брали?
- Ты че, дура? Им всего-то ничего ехать.
- Слушай, а матрасы взяли...
- Значит, по рогам надо дать.
- Иди скажи им.
- Потом. Давай сначала всё сделаем. Получается, в седьмой писать «нет»? Там, где «выдано постельных принадлежностей»?
- Да, да!.. Дальше под «Зубов» пиши: «Торбеево».
- Это «станция высадки»?..

В целом получалось пока неплохо. Для неокрепших и нетренированных умов работа была непростой, кропотливой, требующей внимательности. Но Чекаданов и Расчектаева то и дело съезжали на семечки, абрикосовое варенье, а сердитый шепот сменялся беспечным и легкомысленным хихиканием. Именно в таком состоянии застал их Бессонов.

— Это что? А это? — указывал он на предметы, лежащие на столике. — Семечки, косточки! Все липкое, все заляпано... Билеты все раскиданы... Хоть один мне потеряйте! Что за свинарник здесь устроили?!

— Мы заполняли...

— Что вы заполняли? Вы где работаете, студенты? Ты с этим листочком, — показывал Алексей Владимирович Чекаданову на ЛУ-72, — в сортир потом сходишь, а не ко мне на подпись!

Когда Бессонов ругался, он всегда смотрел в основном на Чекаданова. Тот из-за этого сильно обижался и бросал подружке прозрачные намеки: мол, твой хахаль тебя жалеет, нервы твои бережет, а ведь мы оба виноваты.

Решились как-то Чекаданов и Расчектаева взять грех на душу — ну то есть безбилетника. До Самары. У него там жена рожала. А ближе к Самаре в малом коридоре\* показалась проводница из соседнего вагона Эльвира, хлопнула себя по плечу и снова нырнула за дверь. Это значило, что ревизоры в последний момент все-таки сели и сразу пошли по вагонам. Всей бригадой до конца стоянки высматривали их под дождем: покажутся они у штабного или нет.

До следующей станции, на которой можно было сделать парню ручкой, оставалось около двадцати минут. Но ревизоры придут раньше... Слава богу, дело происходило в купейнике, где над дверями каждого купе изнутри устроены собачники\*\*. В один из них «зайца» и определили. Минут через десять явились душегубы-кровопийцы — два молчаливых невозмутимых дяденьки. Пока один проверял «лушку» и корешки ВУ-9, второй — не в меру

\* *Малый коридор* — помещение в конце вагона перед тамбуром, с ящиком для мусора.

\*\* *Собачник* — ниша для ручной клади, багажа в вагоне купе, СВ и люкс.



худой и серый лицом — перелистывал сборник итальянских анекдотов, неизвестно как попавший к ребятам в купе. Хоть бы раз улыбнулся! Когда его коллега наконец сколол бланки и поставил печать, он, закрыв книжицу, сказал:

— Смешно.

Дальше развернулась дискуссия об особенностях национального юмора. Расчектаева заявила, что у иностранцев все слишком разжевано, объяснено, где и почему нужно смеяться, — поэтому анекдот не получается. Худой и серый согласился с ней и заметил, что прелесть русского анекдота как раз в том, что он содержит скрытый смысл и дает читателю возможность самому интерпретировать содержание. А Чекаданов сказал, что читать анекдоты — это кощунство. Анекдот требует живой устной формы и умелого рассказчика.

Чекаданов и Расчектаева были вообще ребята занятные. Бессонова они поражали со всех сторон. Как-то раз, придя подписывать «лушку», он нашел их в купе, спрятавшихся от холода с головой под одну простыню. И пока он делал запись, они увлеченно вели беседу.

— Не знаю, не знаю, я придерживаюсь точки зрения Барта, — дрожала одна половинка простыни. — Для меня нет автора. Когда я читаю, автор мне совершенно не интересен. Главное — живой текст. Ну скажи мне, что такое автор? Покажи мне его, дай потрогать! Хозяин его текста — я! Я могу сделать с его текстом все что угодно.

— Как бы ты ни противился диалогу с автором, — заколыхалась другая половина простыни, — ты не можешь его избежать. Автор влияет на тебя в любом случае. Твое впечатление от книги, твой отклик — это подтверждение его существования, его власти над текстом, его воли. Значит, его настроение, чувства, интенции коснулись тебя! Ведь еще Вейдле говорил: «Без жажды поведать и сказаться не бывает художественного творчества».

— Да кто такой твой Вейдле! — закинул ногу на ногу Чекаданов. — Твои мысли меня, мягко говоря, коробят. Ты ничего не поняла из того, что я хочу до тебя донести.

— Это ты не слышишь меня со своей устаревшей концепцией смерти автора!

— Это не моя концепция. Я всего лишь адепт.

— Твои идеи отдают формализмом. Ты заурядный релятивист.

— Сама дура!

Бессонов положил документ обратно на столик.

— Ребятки, через час Краснодар. В туалете приберитесь!

С ревизорами обошлось. Пронесло. Чекаданова — в прямом смысле.

После Самары наворачивали у тети Раи пельмени. Тетя Рая — женщина хоть и в годах, но красивая, обаятельная, острая на язык. Бестолкового Чекаданова она недолюбливала, трудолюбивую и старательную Расчектаеву обожала.

— Симпатичные у тебя пассажиры, — заметила Расчектаева, беря с тарелки кусок хлеба.



— Кто это?

— А вон тот лейтенант, который у тебя в салоне у окна стоит. Красивый!

— Гомосядина, — заключила тетя Рая, подливая себе томатный соус.

— С чего вдруг?!

— Если красивый, то как пить дать педик.

— Ну я же не педик! — обиделся Чекаданов.

— О тебе речи не идет. Ешь.

— Не согласна я с тобой, тетя Рай! Он на вид мужественный, крепкий...

— Запомни, доча: если мужик смазливый — значит, голубой! Это я тебе со всей ответственностью заявляю. По-другому не бывает.

Чекаданов вдруг со смехом поинтересовался у Расчектаевой:

— Этот-то, который в собачнике сидел, не сильно матерился, когда ты его в Самаре выпроваживала?

Расчектаева поперхнулась и недоуменно захлопала ресницами:

— Я думала, ты его выпроводишь... У меня в Самаре посадка была, восемь человек вошли...

Опрометью бросились к себе, в салоне столкнувшись с лейтенантом, который поглаживал плечико новому попутчику.

«Зяц» в ожидании Самары заснул. Высаживали с матерком. Обещали друг другу больше не связываться с безбилетниками. Да где там...

Принимали они как-то посадку в Нижневартовске при полном параде: в белых рубашках, Расчектаева — в пилотке, в галстук, с сигареткой, Чекаданов — в фуражке, погонах, с быстро тающим пломбиром. Когда посадка благополучно завершилась, объявили отправление и ребята уже поднялись в вагон, подошли двое, попросились до следующей станции. Не успела Расчектаева и рта раскрыть, как Чекаданов тут же с радостью поднял откидную площадку. Дядьки ухмыльнулись, достали удостоверения, собрались было залезть, но поезд тронулся — и Чекаданов, недолго думая, столкнул одного из них ногой со ступенек. Тот опрокинулся на землю, потянув за собой второго. Проводники быстро опустили фартук и закрыли дверь.

— Ты с ума сошел! — орала Расчектаева. — Ты что наделал?! Нас же волят! Нас же посадят! Мамочки, что теперь будет? Господи!

— Подожди... Может, обойдется.

Как ни странно, все действительно обошлось: никаких телеграмм не последовало и на ковер никто не вызывал. В самых крайних случаях Чекаданов и Расчектаева как-то умудрялись выходить сухими из воды. Возможно, благодаря своему легкому отношению к жизни.

Как-то на стоянке они забыли закрыть туалет. Пассажиры не преминули воспользоваться этой оплошностью. Одному незадачливому осматрщику досталось, после чего словесные нечистоты полились на юных проводников. Чекаданов забежал в вагон, вытащил из туалета сконфуженного мужика и вытребовал штраф. Тот, будучи миролюбивым и неискушенным в подобных делах, запросто и с извинениями заплатил триста рублей. Двести Чекаданов отдал осматрщику, а столик поделил с Расчектаевой.

## Подвиги Чекаданова

Пассажиры бывают разные. Бывают такие, которые проводников побаиваются и безмерно уважают. Эти соглашаются, что проводник — хозяин вагона, и стерпят от него всё. Они подхалимничают, на стоянках вертятся рядом с проводником, заговаривают с ним, в конфликтных ситуациях часто его защищают.

Есть те, кто всю поездку проводников тихо ненавидит, — возмущаются их пьянством, ленью, безразличием к нуждам пассажиров, — но сами боятся лезть на рожон. При первой возможности они готовы поддержать таких, кто открыто презирует проводников, видит в них лишь обслуживающий персонал, придирается, знает свои права и чужие обязанности и чуть что требует жалобную книгу.

Но встречаются пассажиры, которые в своих проводников влюбляются, заводят с ними дружбу. Это чаще всего случается с молодыми «летними» проводниками — студентами, к кому не успела пристать грязь тяжелой, неблагодарной профессии.

Расчектаевой на таких пассажиров всегда везло больше, чем Чекаданову. Они покупали ей мороженое, скрашивали беседами ее дежурства, особенно ночные, скупали всю чайную продукцию и газеты, которые начальство требовало реализовать и обратно не принимало... Но на этом все и заканчивалось. То ли Расчектаева выглядела уж очень серьезной, то ли попутчики слишком несерьезно относились к знакомствам.

Чекаданов же брал не количеством, а качеством. Он был не из тех, кто открыто заигрывает с симпатичными пассажирками, хотя про себя всегда отмечал их прелести.

Однажды ему очень приглянулась девочка, которая ехала в Лазаревск в компании друзей, но он не стал бы тратить на нее время, если бы она сама не дала понять, что дело того стоит. Чекаданов был ленив, за девушками ухаживать не любил и не умел. Даже цветы ни разу никому не дарил, разве что маме на Восьмое марта. Если ему кто-то нравился, то он с удовольствием щупал взглядом, но знакомиться не бежал. Девушки брали Чекаданова приступом, а он лишь позволял им это. Непонятно, чем он их привлекал. Наверное, обманчивой скромностью, белокурой непорочностью, глазами, из которых как будто сочился прозрачно-синий свет. Такое пушистое облачко!

В этот раз, кроме личной заинтересованности самой незнакомки, желание усиливала еще и атмосфера. Расчектаевой и Чекаданову нравилось работать в плацкарте, тем более если в нем ехал молодежь: тогда точно был обеспечен всеобщий доброжелательный гудеж. В конце концов Чекаданов не удержался и пустился в пляс в проходе, мешая Расчектаевой делать уборку. Потом его угостили выпивкой, и он даже спел под гитару пару песенок для своей новой пассии. К вечеру, после обжиманий в тамбуре, он повел ее в купе отдыха.

Расчектаева, которой пришло время сдавать смену, вернулась от Лены и, не будучи предупреждена, открыла ключом дверь купе, отодвинула... и тут же задвинула ее снова.

— Коль, я у Лены... Не забудь про Краснодар.





Коля про Краснодар забыл — вернее, ему было не до того. Опомнился, когда увидел в небе салют, который пускали в честь Дня города. Делать уборку времени уже не было. Он попробовал с криками «Дорогу гвардейцам кардинала!» пронести по коридору мешок с мусором, но на полдороге дно некстати порвалось. Хотел закрыть туалеты, но пожалел одного слабенького дедушку, а когда тот вышел, забот у Чекаданова прибавилось.

На ходу застегивая ворот рубашки, он схватил тряпочку для поручней (блин, опять сухая, опять Элька забыла положить в раствор!), поплевал на нее, открыл дверь, протер поручни, спустился. Люди уже выстроились в очередь с билетами и паспортами. Чекаданов был доволен собой: ему удалось сохранить самообладание и практически все успеть.

Какая-то девочка лет семи смотрела на него во все глаза. Он ей улыбнулся.

— Мам, а почему у дяденьки «магазин» открыт?

В Лазаревске, прощаясь со своей недолговременной возлюбленной, Чекаданов получил от нее на память шоколадку.

## Море, море...

Природа субтропиков совсем иная. Знаешь это, но каждый раз убеждаешься снова. Все дышит жаром и выделяет его. Растения жадные до тепла и влаги, поэтому листья у них мясистые, широкие, цветки — огромные, увесистые. Нахождение под солнцем, постоянная расслабленность делает людей вялыми, несобранными, безразличными. На юге всё нараспашку: двери, кофточки, настроение... Зной всему повелитель, он определяет привычки и образ жизни: тесные контакты, тяготение к развлечениям.

Сразу после Краснодара пассажиры меняются на глазах. Сначала ими овладевает ожидание, затем нетерпение, а когда открывается морская гладь — восторг. Встречать качающееся море лучше ночью: под крупными мокрыми звездами, видя широко раскатанную по поверхности лунную дорожку, слушая голоса прибоя. Когда глядишь из окон вагона, весь этот удивительный глубинный мир уместается в двух ладошках, а то и в одной, но излишки воды как будто поминутно выливаются через край. А дальше нужно видеть, как меняется эта картина с наступлением рассвета, как прибавляются новые атрибуты морского пейзажа, новые краски. На светлеющем небе вместо луны появится легкое покраснение; гематитовая водная гладь превратится в ляпис-лазурь; уточнятся, прояснятся детали: рисунок гальки, очертания скал, росчерки крыльев чаек...

Море Чекаданов и Расчектаева увидели как раз ночью.

Народ припал к окнам.

Чем бы пассажир ни тешился, лишь бы под ногами не мешался. Расчектаева прибиралась в свободных купе, Чекаданов принимал постельное белье. Прибытие в пункт назначения — самое суетливое и беспокойное время для проводника. В Лазаревске Расчектаева выпустила несколько человек и, очарованная огнями, музыкой курортного городка, волнением разгулявшихся волн, не в силах была закрыть дверь. Появившийся за спиной Чекаданов приобнял ее, и вместе, подставляя головы ветру, они проводили глазами станцию.



— Работать надо, — слабо и нехотя произнесла блаженствующая Расчектаева.

— Успеем. Вся ночь впереди, — обещал Чекаданов, убирая с ее лба влажные волосы.

— Как они меня все дразнят своим беззаботным видом... На море надо ехать отдыхать, а не работать, и не на пару часов, а минимум на три недели. Это какое-то издевательство! Мы с тобой как несчастные золушки. Хочу купаться! Хочу немедленно в морскую воду!

— Искупаемся. Приберемся в вагоне и пойдем на море, — успокаивал Чекаданов. — Поваляемся на пляже. Ночной пляж — это самое то!

— Алексей Владимирович сказал, что никого не пустит.

— А откуда он узнает? Мы запрем двери, выйдем через Лену. Он раньше пяти не зайвится.

Придумали приволочь в тамбур матрас. Улеглись на него животами, попивали холодный кофе в запотевших баночках и любовались проплывающими красотами. Мимо проносились ресторанчики, дискотеки, пустынные черные пляжи, но неизменным оставалось широкое полотно моря с зыбкой проседью и пьяными волнами. Разве что пассажиры, снующие туда-сюда, время от времени доставляли неудобства.

Уборку делали наспех. Вернее, делала ее Расчектаева. Чекаданов задумался о чем-то важном, ковыряя в носу на одной из нижних полок четвертого купе.

Мимо в сторону штабного двигалась тетя Рая.

— А вот тебе, стервец ты эдакий! — пнула она его торчащие, мешающие в проходе ноги. — Как дала бы тебе еще и по башке! Опять за тебя девка корячится! Сейчас пойду к Алексею Владимировичу и все расскажу. Ведь ни хрена ж не делаешь!

— Я только что матрасы на третьи полки покидал. А ваш Бессонов опять шары залил и спать завалился. Не добудишься его.

Расчектаева молча протирала полки и взбивала подушки, поглядывая на них.

— Станешь ЛНП, тоже будешь шары заливать! — кричала тетя Рая, удаляясь.

После уборки был «китай». Здесь бразды правления брал на себя Чекаданов. «Китай» предполагал следующую цепочку действий: из использованного белья выбирали наиболее чистые и немятые простыни, полотенца, наволочки, складывали их, прыскавая из пульверизатора и проглаживая, после чего засовывали в целые, не рваные пакеты, заранее припасенные еще в пути, и аккуратно заклеивали двусторонним скотчем. Такой комплект, предложенный пассажиру, не указывался в ЛУ-72, а значит, еще один неучтенный полтинник оседал в кармане проводника. Эта бессовестная операция наряду с продажей пива втридорога помогала ребятам возместить деньги, ушедшие на ненасытных контролеров. Больше пяти комплектов делать не решались: риск был велик. Пришел бы какой-нибудь принципиальный или «голодный» ревизор, вздумалось бы ему пересчитать в мешках использованные простыни, сверить с цифрами в документе — и он сразу бы понял, что имело место копанье в грязном белье.



Есть три смертных греха, которые проводнику прощают редко: «зайцы», «китай» и водка в плане употребления и реализации. «Пьяные китайские зайцы».

В купе было душно и темно: окна занавешены, двери закрыты.

Чекаданов в процессе этого тайного и нехорошего занятия даже взмок и то и дело вытирал лицо полотенцем, висевшим на шее. Расчектаева ассистировала: заправляла водой пульверизатор, подносила скотч, пятой точкой разглаживала пакеты.

Закончив, стали продумывать план побега на море. В итоге сделали всё, как предложил Чекаданов: закрыли на ключ торцевые и тамбурные двери, выпрыгнули из Ленинского вагона и, взявшись за руки, побежали на пляж.

Чекаданов несколько раз порывался научить подружку плавать, но та пицала и отбивалась. Вокруг сновали какие-то люди — очевидно, такие же проводники. Никто ребятам не мешал. Они фотографировались при свете луны. Когда Расчектаева в очередной раз решила искупаться, на пути к воде она вдруг наткнулась на рослого мужчину, который поднимал с песка наручные часы. Он уставился на нее. Проходящая рядом женщина ее окликнула. Весь штабной здесь! И тетя Саша, и Регина, и пэм Володя, и... он!

— Я вас, кажется, предупредил, чтобы вы из вагона ни ногой! — тут же начал ругаться Бессонов. — Вы что о себе думаете, идиоты? Вы что себе позволяете?! Вы не у себя в институте, а я не тупой препод! Это железная дорога, и я — ваш начальник, а вы — мои подчиненные! И если я говорю «нет» — значит, нет! На каком языке с вами разговаривать, чтобы до вас доходило? Или проще по голове бить? А?! Сколько можно делать скидку на ваш возраст?.. Короче, в следующей поездке в моей бригаде вы не едете! Ясно? Мне плевать, какому несчастному ЛНП вы достанетесь! Мне свое психическое здоровье дороже. И чтобы утром объяснительную принесли!

По щекам Расчектаевой текли слезы. Чекаданов не смел поднять голову.

— Не реви, — утешал он ее по дороге к составу. — В другую бригаду запишемся. Другие начальники по-любому лучше. Хуже просто быть не может!

— А других не надо, — отвечала девушка.

Утром, за два часа до посадки, Расчектаева решила позагорать. В купальнике, с полотенцем на бедрах, напевая магомаевскую «Марину», она встала перед вагоном. Аборигены мужского пола, предлагающие проводникам лаврушку и вино, делали вокруг нее круги, улыбались, пытались завести разговор. Чекаданов, сидящий с сигаретой на ступеньках вагона и тоже любующийся ею, как мог, отгонял назойливых дядек.

Подозвал одного, слишком уж настойчиво проявляющего интерес к Расчектаевой.

— А это вино почему? — перебирал бутылки.

— Все по двести. Бери, все хорошие! Ни с одним не прогадаешь, — молодой армянин услужливо наливал вино в крышечки, подносил проводнику.

Привередливый и разборчивый Чекаданов отпивал из одной, закатывал глаза, склонял голову набок, быстро и громко причмокивал губами. Затем, стараясь запомнить вкус, брался за другую крышечку. Наконец сделал выбор, расплатился, и торговец ушел восвояси.



В штабном давно бодрствовали и, судя по дымку, собирались завтракать. Доносился смех. Тетя Саша, видимо, варила что-то, остальные — Регина, Володя и Алексей Владимирович — стояли рядом и курили. Последний вдруг выглянул из вагона. Расчектаева тут же начала активнее двигаться под музыку, развязнее помахивать полотенцем, громче переговариваться с парником и смеяться. Бессонов сделал какие-то повелительные знаки рукой.

— Коль, нам надо объяснительную написать. И подсчитать пассажиров и остаток белья в «лушке». Алексей Владимирович зовет.

Чекаданов сходил в вагон, вернулся с бумагой и документом, опять пригнулся на ступеньках.

— Я напишу, что мы вышли без разрешения, потому что наш начальник — козел и все равно бы нас не отпустил.

— Коль, пиши нормально. Мне идти сейчас. Он ждать не будет, опять распахнется.

— Напишу просто и ясно: пошли искать душевую, а в темноте заблудились и напоролись на пляж.

— Хорошо придуриваться! Конечно, не тебе же идти к нему, а мне, — обиделась Расчектаева.

— Если тебе идти, то сама и пиши. Я не знаю, что еще придумать.

— Как же? Ты же такой умный, сообразительный! Придумал же вчера, как нам на море без палева смотаться. «Не узнает, дрыхнет, шары залил!» — передразнила она.

— В купальнике своем к нему придешь, он тебе все простит... Блин, как шапку-то заполнять? — чесал голову Чекаданов.

Пока он мучился, сочиняя, Расчектаева в купе выбирала, в чем пойти к начальству. В итоге в штабной она отправилась в желтом сарафане с тонкими лямками, который ужасно шел к ее загоревшим плечикам и ножкам.

В штабной вагон она поднялась как раз в тот момент, когда Бессонов в шутку выкручивал Регине руки.

— Какая красота к нам пожаловала! С чем пришла, красота? — повернулся он к Расчектаевой, снисходительно улыбаясь.

Она, не глядя на него, подала бумаги.

— Элька, айда с нами за стол! — позвали ее женщины, пока Бессонов читал объяснительную.

— Нет, спасибо. Колька гречку сварил. Сейчас тоже сядем.

— И его зови.

Расчектаева снова поблагодарила и снова отказалась.

— Это что? — Бессонов повертел бумажкой и в упор уставился на девушку. — Что за детский сад «Ромашка», подготовительная группа?

Она испуганно смотрела на него. Тон его был суров, но взгляд насмешлив. Он вслух прочел содержимое бумаги штабникам и Володе. Те схватились за животы. Чекаданов написал то, что и обещал: про душевую, темень и пляж.

— Небось Колька сочинял? — угадала тетя Саша.

— Совсем обезумели дети! — смеялся Бессонов. — Иди за стол, за пломбой и «лушкой» потом подойдешь.

— Я у себя поем.

— Иди, иди.



Расчектаева попыталась пройти к выходу. Он крепко схватил ее за руки:  
— Пока дают, надо брать.  
Все притихли.  
— Отпустите!  
— Ты же слышала? Если я говорю «иди за стол» — значит, идешь и садишься за стол. Мы свои капризы здесь будем показывать? Села и поела! Про «лушку» я тебе уже сказал.

Что-то подсказывало ей, что нужно просто подчиниться — и он это оценит.

И он оценил...

## Последнее

Расчектаева любила вот уже три месяца. Из-за *него* не оставляла «железку», несмотря на уговоры Чекаданова. Может, и ушла бы, если бы не догадывалась, что влечение ее не одностороннее, что оно замечено и всегда остается в поле зрения.

Сознание того, что она красивая, крепло с каждым разом, когда она ощущала на себе *его* особенный взгляд. Этим *он* словно проверял, насколько сильно привязал ее к себе за время летнего труда, а с помощью поглаживаний по голове, спине, плечикам еще раз убеждался в своем господстве над этой отдельно взятой головкой. Раньше Расчектаева считала себя скромной, приличной девочкой. Теперь же, особенно по ночам, ей так не казалось.

Чекаданов тоже любил. И тоже три месяца. Он не был робок, просто понимал, что рядом с породистым, сильным соперником, умеющим покорять даже вполсилы, да и просто красивым и властным начальником, его шансы стремятся к нулю. Можно было, конечно, попытаться бороться. Но больше всего на свете Чекаданов боялся выглядеть смешным. Он видел, как его напарница млеет оттого, что Бессонов стоит рядом и в очередной раз шутиливо ей что-то выговаривает, грубовато заигрывает и между делом по-хозяйски прикасается к ней... И у него опускались руки.

На одной из южных станций, недалеко от Краснодара, Чекаданов ненароком лишил заработка двух детишек, мальчика и девочку, отпускавших по двадцатнику букеты луговых цветов, сорванных тут же поодаль. Остановка была короткой, всего три минуты, поэтому проводники со свитой из преданных пассажиров курили и смеялись в тамбуре.

Чекаданов попросил у деток три цветочка для Расчектаевой. Те не дали.

— У-у, спекулянты!

Вечерело. Солнце потихоньку таяло, оставляя в небе разводы. Стоянка тянулась дольше, чем было указано в расписании, поэтому, когда юные коммерсанты скрылись за горкой — видимо, побежали за очередной порцией, — неосторожно оставив на земле целую охапку душистого товара, Чекаданов вдруг ухмыльнулся, залихватски выбросил окурок, спрыгнул с площадки и рванул к цветам.

— Не надо все! — смеясь, кричала ему Расчектаева. — Возьми немножко...

Но Чекаданов не послушал: нагрузил на себя все, что оставалось. Возвращаясь, потерял на бегу шлепанец и под радостные возгласы поднялся



по ступенькам в вагон. Незадачливые торговцы с новыми цветами показались в тот момент, когда железный червь уже пополз дальше.

Банку с букетом поставили у открытого окна в большом коридоре, напротив купе проводников. Тяжелый, сильный аромат вместе с вечерней прохладой тут же разлился по всему вагону на радость пассажирам. И Расчектаева была довольна. Ей так хотелось кусочка луга, его запаха, памяти о краснодарском разнотравье! Проведя четыре месяца на «железке», она лета толком и не видела.

В этот вечер все было ладно. Возможно, потому что он был последним для них как для проводников пассажирских вагонов. Работало радио, пассажиры ужинали и ложились спать. Чекаданов и Расчектаева весело заговаривали с некоторыми, когда те проходили мимо за кипятком или в туалет.

— Ребята, а вы где учитесь? — доброжелательно расспрашивала женщина с открытым, приятным, только что умытым лицом.

Чекаданов в этот момент пытался найти в украденном букете коноплю.

— В педагогическом.

— На одном курсе?

— Нет, на разных. Мы здесь познакомились, — сквозь смех отвечала Расчектаева, глядя, как напарник роется в цветах.

— Еще бы столько же лет не знал эту козу!

— Аналогично, свинья!

Женщина вежливо улыбалась.

— Нравится работать?

— Да, только это наш последний рейс, — сказала Расчектаева.

Чекаданов удивленно посмотрел на нее.

— Первое сентября?

— Да нет, просто другую работу нашли. У нас еще целый месяц впереди: лекционная неделя, на которую можно забить, а потом практика, которая тоже никому не нужна.

— Почему? Вас же, наверное, будут проверять?

— Не-а, кому это надо? А печать у нас будет.

— Вы на филфаке учитесь?

— Да.

— А я на филфаке работаю. Я преподаватель кафедры русского языка, только в другом вузе, — многозначительно произнесла женщина.

Из туалета вышла ее десятилетняя дочь.

— Ну, всего хорошего вам. Профессору Идрисовой привет.

— Вам того же... Спасибо, передадим.

— Нарочно не придумаешь! Нашла с кем трепаться про дела наши скорбные! — зашипел на подругу Чекаданов.

— Кто знал, что она преподша? Не очкуй, не наша же.

— Идрисову знает.

— Они все друг друга знают в этой клоаке.

— Так ты че — правда со мной уходишь?

— С тобой. А что мне здесь без тебя делать?

— Ну, не знаю... Морально разлагаться в штабном вагоне, валяться на спине. Он же от тебя так просто не отстанет, сечешь?

Расчектаева вздохнула:



— Грустно будет без него...

— Не страдай фигней! Я как лучше для тебя хочу. Ты ему нужна только здесь. Дома он и без тебя не знает, куда баб девать. Там у него все в порядке. А здесь ему нужен регулярный секс с послушной любовницей.

— У него Регина для этого есть.

— Регина старая. Сколько ей — под тридцатник? И парит его постоянно. А ты девчонка, совсем еще молоденькая, свежая. С тобой никаких заморочек — легко и душевно...

— Да не пойду я к нему, не пойду! — Расчектаева стала щипать Чекаданова за щеки и прятать лицо в его рубашке.

— Да мне-то что...

На противоположном конце вагона хлопнула тамбурная дверь. В узком коридоре нарисовалась фигура объемистой тетки.

— Носочки, носочки шерстяные! Кому носочки — теплые, мягкие, из козьей шерсти? Купите, не пожалеете! Носочки детские, взрослые есть...

— Ты че орешь, дура? Здесь люди спят! — закричал ей Чекаданов через весь салон.

— У меня носочки. Меня ваш бригадир пустил.

— Какие носочки? Поворачивай! Здесь ходу нет! Бригадир ее пустил...

Ему предложи свои носочки на одно сокровенное место, которое он бережет!

Простояли в обнимку, под игривый шепоток, около получаса. Затем переместились в купе пить чай.

Ближе к утру прибежала Лена передать распоряжение Бессонова, чтобы Расчектаева шла сдавать в штабной «бельевые» деньги.

— Так ведь рано еще! — удивились ребята.

— За что купила, за то и продаю. У тебя вагон полный? — спросила старшая проводница у Расчектаевой.

— Нет.

— Выходов до Уфы нет?

— Нет.

— Значит, разницы никакой, — здраво рассудила Лена и вдруг расплылась в лукавой улыбке: — Не дрейфь, он маленьких не обижает!

Делать было нечего. Расчектаева достала деньги из кармана рубашки, Чекаданов вытащил из-под матраса остальные. Пересчитали. Расчектаева переобулась, сменив тапочки на туфли-лодочки. Прежде чем выйти, посмотрелась в зеркало, поправила волосы, удалила с нижних век еле заметные разводы туши.

Подходя к штабному, заглянула в купе к тете Рае, которая разбиралась с горой сданного белья. Ее вагон был пуст, не считая двух железнодорожников и мамы с ребенком. Вот кому повезло-то! Наверное, и прибраться уже успела.

— Какой там! — отмахнулась тетя Рая, рассовывая в мешки простыни, наволочки и полотенца. — Ниче еще не трогала. Вот только взялась. Спать точно не буду. Я, если приняла, лечь потом не могу. Других, наоборот, ко сну клонит...

— Например, меня.

— ...а во мне все просыпается. Мы с Регинкой щас тяпнули по чуть-чуть, пока Бессон спит.



— Он спит? А Ленка сказала, что он меня с «бельевыми» вызвал.

— Спит, спит.

— Тогда я к нему не пойду. Лучше завтра, со всеми.

— Если вызвал, то иди. С начальством лучше не самовольничать, тем более с ним. Проснется, если звал. Давай по пять капель, пока сидишь? Я сбегаю к Регинке, у них там еще осталось.

— Не-е, я не буду, — закачала головой Расчектаева. — Тем более к нему иду.

— Ты ж не целоваться с ним идешь, — пьяненько захихикала тетя Рая. — Не бойся, не учует! От него самого прет: вчера весь день синячил.

Тетя Рая вернулась быстро, довольная своей проделкой. Легко и непринужденно разбавила спиртыгу водой и, несмотря на возражения Расчектаевой, поднесла граненый стакан к ее рту. Видя, как тетя Рая смело опрокинула в себя жидкость, Расчектаева с боязнью последовала ее примеру — и сразу зажмурилась, замотала головой:

— Воды, воды!

Воды в другом стакане ей не хватило. Расчектаева бросилась к крану.

Придя в себя после четвертого стакана воды и спасительных ломтиков колбаски, Расчектаева осторожно спросила:

— Теть Рай, а это правда, что Регина с Алексеем Владимировичем... того?

— Не знаю. — Та снова принялась за простыни. — Я слышала, что да. Он может. Я ведь с ним работала, когда он только из армии сюда пришел. Такой же лоботряс был, как твой Колька. Это щас его не узнать. А тогда — сидит возле меня: «тетя Рай» да «тетя Рай». Я говорю: «Иди титан разогрей, чудо! Пассажиры без кипятка сидят». А он: «Обойдутся», — и дальше сидит, по ушам мне ездит. И ведь интересно его слушать! Обаятельный был, гнида. Сроду не думала, что по имени-отчеству буду его называть. Восемь лет проводником проработал. Сейчас портиться стал: поддает много. Уж не знаю, че у него там дома творится такое... Че ему не хватает? Выгнать же могут за пьянку! И каждый рейс кобелит с кем-то, каждый рейс дерет кого-нибудь...

— Кого?

— Находятся дуры. Пассажирки разные бывают... Красивый же, сволочь. Иногда такие стоны доносятся, аж не по себе становится. В такую жару сама себе противна, не то что с кем-то еще успевать... Я как-то зашла к нему утром, он дрыхнет. Болт вот такой стоит! — Она согнула руку в локте.

Прибежала за спиртом всполошенная Регина: Бессонов продрал глаза.

Расчектаева, собравшись с духом, пошла за ней.

Начпоезда сидел у себя и, как ни странно, бодренько писал что-то в своем журнале. Расчектаева робко зашла, села, положила на стол деньги. Бессонов спросил остаток, расход белья. Расчектаева отвечала ему быстро и четко.

Он вдруг улыбнулся:

— Эля, ты меня боишься?

— Нет, — удивилась она.

— Боишься, боишься! — Он сделал громкий глоток кофе. — Не бойся, я хороший.

В дверях появилась Регина.



— Стол накрывать?  
— Позже. Прикрой дверь.

Та вспыхнула. Дверь прикрывать не стала.

— Регина, в лифте родилась? — крикнул он ей вслед.

Через несколько минут донесся женский плач. Тете Саше с обидой что-то выговаривали. Бессонов, будто не слыша, продолжал водить ручкой и со снисходительной ласковостью поглядывал на Расчектаеву. Разлюбивший мужчина — жестокое создание.

— Ну что, золушка, как работается?

— Нормально.

— Куда сваливаете с Колей? Только всему научились... Ни с кем так не парился, как с вами. Гнойная ранка на всю мою бригаду.

— Ну вот, вы же сами говорите... У нас учеба. У меня в сентябре музейная практика.

— Музейная? Это как?

— Это... В общем, ходишь и описываешь все.

— А я тебя никуда не отпускаю, — неожиданно произнес Бессонов.

Она с недоумением уставилась на него.

— Иди сюда, — тихо произнес он, поманив рукой.

Она послушалась. Алексей Владимирович посадил ее рядом с собой у окошка.

— Пойдешь ко мне в штабницы? Ты девушка хорошая, сообразительная. Сашка тебя всему научит.

— Я готовить не умею.

— А ты не готовить будешь, — гладил он ее лицо. — Знаешь, кто я?

Расчектаева ответила не сразу:

— Вы сука?

Бессонов задумался.

— Я сукин сын, — уточнил он чуть погодя.

Расчектаева долго смотрела на него.

— Я подумаю.

— Думай, — и он ее поцеловал.

В дверь постучали. Какая-то девушка просила пластырь для подруги, которая стояла рядом.

— А что случилось?

— Ногу натерла.

Он поднялся, достал со второй полки аптечку и, найдя нужный предмет, улыбаясь, предложил сам наложить пластырь. Девушки, хихикая, отказались.

Бессонов вернулся к Расчектаевой. Она продолжала внимательно всматриваться в него...

Чекаданов терпеливо ждал. Сначала он пытался сохранить свою обиду до прихода напарницы, распаял себя, чтобы Расчектаева, вернувшись и застав его в таком состоянии, почувствовала себя виноватой и что-нибудь наобещала. Но Расчектаевой все не было, а обида постепенно улетучивалась. В невероятной тоске, без мыслей в голове Чекаданов, сам не зная зачем, побрел в сторону штабного. Там он никого не обнаружил. Купе проводниц было заперто. Купе начальника — тоже. Пассажиры спали.

Утро стояло ленивое и белое, каким оно бывает в поездах. Необыкновенно яркий, хрустальный свет не давал открыть глаза тем, кто нечаянно проснулся, а приглушенный, ровный и стремительный стрекот колесных пар убаюкивал, внушая, что пока все спокойно: никаких остановок, шумных станций... Можно спать дальше.

Но Чекаданову было не до сна. Он постоял, прислушиваясь. Ничего не уловив и никого не обнаружив, двинулся в обратном направлении.

Когда он в своем вагоне проходил мимо туалета, из-за двери, спустив воду в унитазе, вдруг вышла Расчектаева.

— Ты что здесь делаешь? Где ты была так долго?

— Не видишь? В «кабинете».

— А у него?

Расчектаева грустно улыбнулась:

— А у него жена и ребенок... А ты откуда?

— Я... Я тебя искал.

— И как мы разминулись?

Чекаданов пожал плечами.

— А-а, ну да, я же потом у Райки сидела...

Они сели в первом купе, друг напротив друга.

— Так ты со мной?

— Я же тебе сказала. Надоела «железка». Но уже сейчас немножко скучаю по ней.

— Такого у нас точно никогда не будет. Наша молодость!.. — вздохнул Чекаданов.

— Да уж, — Расчектаева болтала ногами и глядела в окно.

Небо светлело. Над горизонтом медленно распускалась заря. Глаза Расчектаевой были широко раскрыты. Чувствовалось, что она недавно приняла важное решение, но все еще продолжала о нем думать. Жалела ли теперь?

Задумчивой она обычно больше нравилась Чекаданову. Черты ее лица при этом всегда удивительно разглаживались, и смотреть на нее было очень приятно. Но в этот раз он решил прекратить это нехорошее, не относящееся к его персоне блуждание мыслей, вернуть Расчектаеву на землю, в это самое купе, где он вовсе не является пустым местом...

Чекаданов встал, наклонился и поцеловал ее в губы.

Путаница дня и ночи в голове; неперменный атрибут вокзальной жизни — отстраненный, чужой механический голос без лица, плоти и судьбы, обращенный ко всем и ни к кому, доносящийся откуда-то из небытия; растяжимость суток — все это теперь действовало на них по-особенному. Забавно, Чекаданов и Расчектаева научились понимать язык этих «громкоговорящих» барышень, различать слова, которые те произносят. Ребята теперь не могут спать, когда железный червь останавливается, но тут же сладко засыпают, когда он снова трогается.

А еще у них появилось пространственное ощущение страны, в которой они живут.

Поездки — это отрезки жизни, в которых особые условия, а время из абсолютного превращается в относительное. И они, конечно, по-своему необычны и замечательны. Но у любой дороги есть предел, до которого хочется наконец дойти...

## «ЗВУКИ ВСЕХ ЗЕМНЫХ ИМЕН...»

«Складчина» — семантически емкое слово. В нем слышится призыв к ладу, единению, сложению творческих сил. Путь к формату альманаха был долог. Первоначально «Складчина» — издание Омского отделения Союза российских писателей — увидела свет в 1995 г. в виде солидного сборника прозы, поэзии, критики и литературоведения. Далее последовали еще три книги общим тиражом одиннадцать с половиной тысяч экземпляров. Главный редактор и составитель Александр Лейфер (1943—2017) отмечал: «У “ворот” сборника автора оценивали не по тому, какой членский билет лежит в его кармане (и лежит ли вообще), а по творческому уровню. Уверен, что читателя, для которого все мы в конечном итоге работаем, устраивает такой принцип. Думается, что теперь трудно представить литературную жизнь Сибири без этих аккуратных черных томов».

В 2002 г. «Складчина» переродилась в литературную газету, единственную в регионе. Газета полностью раскупалась через киоски «Роспечати», омичи ждали ее выхода.

О газете и альманахе их бессменный редактор Александр Лейфер писал так: «Вышло 18 номеров газеты, свою роль она сыграла. В 2005 году было решено преобразовать ее в небольшой альманах. В этом формате “Складчина” существует и поныне». Это небольшие изящные книжки, выходящие трижды в год. Объем — 10 печатных листов, тираж 500 экз., иллюстраций минимум.

Разумеется, альманах печатает прежде всего местных авторов, для того он и существует. Но рубрика «У нас в гостях» присутствует почти в каждом выпуске. Благодаря ей омские читатели познакомились, например, со стихами иркутянина Анатолия Кобенкова, томича Дмитрия Коро, москвичей Татьяны Нешумовой и Андрея Коровина, проживающей в Лондоне Лидии Григорьевой, живущей в Казахстане Ольги Григорьевой, новосибирца Владимира Янцева, пермяка Юрия Беликова, красноярца Ивана Клинового, а также с рассказами Петра Ореховского (Обнинск), Владимира Шкаликова (Томск), Романа Солнцева (Красноярск).

Было и несколько «изюминок». Мы напечатали роман Алисы По-никаровской «По дороге в рай», который номинировался в 1998 г. на Бу-керовскую премию. Работающие в соавторстве супруги Светлана и Ни-колай Пономаревы опубликовали в «Складчине» свою повесть «Фото на развалинах», которая в 2007 г. получила первую премию на Между-народном конкурсе имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. Благодаря дружбе со вдовой нашего земля-ка Леонида Мартынова Г. А. Суховой-Мартыновой мы впервые опубли-ковали несколько его стихотворений и новелл.

Недостатка в материалах никогда не было. Камень преткнове-ния — финансирование издания. Родной город почти не выделял средств, что мешало выходить «Складчине» вовремя, с планируемой периодич-ностью.

«Складчина» № 42 (составитель С. П. Денисенко) посвящена па-мяти ее главного редактора, человека, альманах придумавшего и живше-го им, — Александра Лейфера.

В разные годы в альманахе публиковались известные омские писа-тели: Александр Лизунов, Сергей Денисенко, Наталья Елизарова, Алек-сандр Сафронов, Вероника Шелленберг, Галина Кудрявская, Виктор Вай-нерман, Алексей Декельбаум, Дмитрий Румянцев, Андрей Ключанский, Александр Дегтярев и другие. В каждом номере есть публикации моло-дых авторов — и поэтические, и прозаические. В основном это подбор-ки по итогам Регионального семинара «ПарОм», который проводится ежегодно Омским СРП (организатор — В. Шелленберг). Так к читате-лям вышли Игорь Хохлов, Ирина Четвергова, Наталья Семенова, Дарья Решетникова и другие. Примечательно, что в альманахе «Складчина» есть раздел «Хроника», дающий разноплановое представление о лите-ратурной жизни Омска. Рубрика «Публикации» знакомит читателя с документальными материалами — именно в ней вышли дневниковые записи поэта Вильяма Озолина «Записки потерпевшего», публицисти-ка «Судьбы, связанные с Омском» Николая Колычева и многое другое. «Критика и литературоведение» освещает тенденции развития лите-ратуры в целом и приглашает к дискуссии о новинках омской поэзии и прозы. Например, вокруг нового романа Н. Елизаровой «Пока смерть не разлучит нас» завязалась международная полемика, не утихающая не-сколько номеров. Ну а что касается поэтического отдела... Представле-ние о нем предлагаем вам выработать самостоятельно. Стихи девяти (к сожалению, из-за ограничения в объеме только девяти) омских по-этов, постоянных авторов «Складчины», — перед вами.

**Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ,**

председатель Омского регионального отделения  
Союза российских писателей,  
член редколлегии «Складчины»

## Ольга ГРИГОРЬЕВА

«Опись имения,  
оставшегося после убитого на дуэли  
Тенгинского пехотного полка поручика Лермантова».  
Учинена июля 17 дня 1841 года. Пятигорск

...И что оставил в комнате поэт?  
Кровать, сундук, кинжал и пистолет.  
Иконки. Крест серебряный с мощами.  
Еще оставил пару крепостных,  
Иванов двух. Упомянуть их  
Дается тут же, в описи, с вещами...  
17 писем. Денег — две шестьсот.  
Блокнот, тетрадь (из кожи переплет).  
Стихов наброски — «в разных лоскуточках».  
Осталась незаполненной тетрадь.  
Недолго было это описать:  
Шинель... Черкеска...  
Пуля стала точкой.  
И все же, все же — что имел поэт?  
Ах, боже мой, да целый белый свет!  
Любовь. Кавказ. Кремнистую дорогу.  
И коль душа твоя не умерла,  
Ты ахнешь ночью: звездам нет числа!  
Поэт — *живет!*  
Пустыня *внемлет* Богу!

## Мама не увидит этого...

Разнотравье луга летнего,  
Речки тихая вода.  
Мама не увидит этого,  
Не увидит никогда.  
Было солнечно и ветрено,  
Ливень вдруг пошел стеной.  
Мама не увидит этого.  
Не увидит... Боже мой!  
Будут будни, будут праздники,  
Боль и смех, любовь и страх.  
Мама не увидит правнуков,  
Не подержит на руках.  
Но такое ощущение —  
Парой грустных добрых глаз  
Смерти вопреки и времени  
Наши мамы видят нас.

## Есть лица...

Есть лица — в городе, в деревне ли —  
 Озарены небесным светом.  
 Быть может, чтобы мы поверили —  
 Жива любовь в столетье этом.  
 Бывает, люди некрасивые.  
 Порой одеты как придется...  
 Но светят лица тайной силою  
 И доброты, и благородства.  
 Они горят лампадкой, свечкою,  
 Нездешние, немного странные —  
 Последние Его разведчики,  
 Последние Его посланники.

## Дмитрий РУМЯНЦЕВ

\* \* \*

И мотылек, которому я снюсь,  
 и мотылек, который снится мне, —  
 одна и та же солнечная грусть,  
 развеянная ветром по весне.

Я выбрал это изо всех времен,  
 но кажется, что я еще не жил:  
 мне новы звуки всех земных имен,  
 но так знаком тревожный шорох крыл.

От сумерек брусничного листа  
 до самых дальних, самых ярких звезд  
 вся жизнь моя в пространство пролита,  
 и все оно во мне переплелось.

И если я чего-нибудь боюсь,  
 то взмаха крыльев в сонной тишине.  
 Но ласков Бог, которому я снюсь,  
 и светел Бог, который снится мне.

\* \* \*

Я — дитя бэби-бума, я помню капустное поле:  
 помню грядки голов прорастали за партами в школе.  
 Молчуны и проказники жили бок о бок, дружили,  
 подрастали, дрались, и девчонки о нас ворожили.

Мы выросли, учились, любили, страдали, хотели  
взрослой жизни, высокой звезды, непростительной цели.  
И на школьных площадках свои обсуждали законы  
мирабо, казановы, рокфеллеры, наполеоны.

Мы смотрели кино, обсуждали любимые книги —  
зубоскалы, шпана, ротозеи, поэты, расстриги.  
И на партах любовные гимны и гнусность писали,  
и невидимо в судьбы свои, словно в землю, вращали.

Распадалась страна, как случайные детские дружбы,  
мы бродили вином от архангельских сел до Алушты,  
и врывались во взрослую жизнь, как шампанского пробки,  
враждовали, женились в Карелии, Риге, Находке.

Переделать всю эту планету надменно мечтали  
и внезапно, того не заметив, мечту оболгали  
(в каракумских песках, в алеутских снегах в малахае,  
в ИТК или РАН, академики и вертухай).

Кто-то лег возле Грозного, кто-то уселся в «ЛУКОЙЛе»,  
кто-то пьет, кто-то сел на иглу, кто-то сеет на поле  
корнеплоды, пшеницу, ячмень и все ту же капусту,  
кто-то выбился в люди, но только становится грустно

за осколки надежд, для которых выросли мальчишки,  
в старом школьном дворе

в долгих спорах под хруст кочерыжки.

### Над рекой

Душа — как утро в камышах,  
когда, бродя в рассветной балке,  
я вижу, как летают галки.  
Так тихо, что расслышишь шаг

любой. И, глядя на ладонь,  
увидишь там: холмы, деревья,  
как на бугор ползет деревня,  
как ива смотрится в затон.

И довечерняя звезда  
там тоже есть. И крик животных.  
И ряд столбов высоковольтных,  
и блеск грозы на проводах.

Судьба. И по ее подобию  
 равнина темная легла.  
 Но подчиниться не смогла  
 ей стрекоза — в луче — над Обью:

и что в прожилках этих крыл  
 я упустил?

## Иван ДЕНИСЕНКО

\* \* \*

Что серые плиты, что черные бревна —  
 на всем отпечаток погоды промозглой...  
 В такую погоду, в такую же ровно,  
 однажды сидел я в кофейне приморской.

Да, было такое. Темнели причалы,  
 и волны катились, роща в непокое,  
 и чудились крылья порой за плечами,  
 и кофе дымился... Да, было такое!

Пространство дышало прохладой, при этом  
 в кофейне еще не пылала жаровня,  
 пришлось одолжиться подушкой и пледом  
 (в такую погоду, в такую же ровно).

Там чайки, как я, упивались волнами,  
 слетая с причала, как стружка с надпила,  
 и некая тайна царила меж нами,  
 да, нечто подобное, помнится, было.

Там небо, как кофе, бурлило, дымилось,  
 и ветер над морем гудел, хорохорясь,  
 ему целый город сдавался на милость,  
 закутанный в зябкую зыбкую морось...

Вот вспомнил — и в прошлое кинулся страстно,  
 но цели не знаю, хоть бороду брейте,  
 а просто увидел палитру пространства  
 и вспомнил и мачты, и трубы на рейде.

Я все записал аккуратно и с теми  
 словами как будто добрался до кода,  
 который ломает любые системы  
 (особенно если такая погода).

И кто его знает, возможно, все дело  
в балансе оттенков, подборе тематик...  
Исчислить бы точку, что космос задела,  
но я, как вы знаете, не математик.

Я тот, кто в кофейне неспешно и немо,  
не видя других и другими не виден,  
пьет кофе и смотрит, как чайки на небо  
несут серебро немигающих рыбин.

## Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ

### Игра в снежки

— Мама, в какую попасть мишель?  
— Да не «мишель», сынок, а «мишень»!  
Постой, расстегнутый весь!

Мишель — француженка... этот снег  
увидит разве что в страшном сне,  
а нам неплохо и здесь.

— Мама! Я сам слепляю снежок!  
Бац — на серой стене — кружок,  
и в стену другую — на!

— Да, сынок, бросай, не тужи,  
вокруг бараки да гаражи,  
а снегом страна — полна.

— Мама, а что там? Я погляжу?  
Я ненадолго, я не убежу!  
— Носом дыши, а не ртом!

Холодно стало... домой пора,  
Не уходи далеко со двора...  
Сыночек...  
— Потом! Потом!

— Мама, не плакай, я не исчез —  
просто через забор перелез,  
там синий шар, голубой!

— Да, сынок, я все поняла,  
я раньше на той стороне — была...  
плакала — не с тобой.

\* \* \*

Новый достала холст —  
яблони зацвели!  
Только б найти тропу  
к тайной, благоуханной  
яблоне, что зимой  
грезилась мне вдали,  
щедро звала, звала  
белой небесной манной.

Эной во дворе суров,  
тьнь бежит наутек.  
Тень под зеленью так  
правдоподобно ала...  
Где же яблоня, а?  
Что это там — пенек?  
Или сиамская кошка  
калачиком задремала?..

Может быть, двор не тот,  
может быть, я не та?  
Кошка проснулась и  
тонкую лапу лижет.  
Где-то мой белый цвет  
чистого ждет холста,  
в запахе смятых трав  
с каждой весною ближе.

## Александр ЛИЗУНОВ

\* \* \*

*Памяти мамы*

Всё туже узлы  
и всё тоньше последние нити,  
которыми был я  
так долго привязан к земному  
раздольному полю, и лесу,  
и птице в зените,  
что с детства томила,  
манила подальше от дому.  
И вот соколиным-орлиным,  
а то ли вороньим  
крылом прочеркнуло вверху  
так стремительно тихо,

что кроме «прощай»  
мы уже ничего не пророним  
вдогонку летящей по ветру  
твоей паутинке.  
А ветер, ах, ветер —  
он все холодней и сильнее,  
он треплет бумажные розы  
и черные ленты,  
и птицы не видно —  
серебряный лучик за нею  
растаял и канул  
в свое бесконечное лето.  
И вздрогнет душа, и заплачет,  
как будто впервые  
услышала ночью  
такие знакомые звуки  
с пронзительной болью и нежностью  
«Аве, Мария» —  
прощальной молитвою,  
песнею вечной разлуки...

## Михаил КУЗИН

\* \* \*

Церквушки. Мокрые вороны.  
Река, ленивая, как мед.  
Сырых дубов сквозные кроны,  
В хрустящих лужах первый лед —  
Твой город осень покидает,  
И на стекле вечернем тает  
Снежинка — бабочка зимы.  
Уже смеркается, а мы  
Всё смотрим в темное окошко,  
Пытаясь разглядеть весну.  
Притихло все, мурлычет кошка,  
Соседи отошли ко сну.  
А город курсом норд отчалил,  
И я, как тайный пассажир,  
Забыв тревоги и печали,  
Забыв все дни, что здесь прожил,  
Готовый к рифам, мелям, штормам,  
Прощаюсь мысленно с тобой —  
Уже забился парус шторы  
И заворочался прибор.

Волна омыла ножки стула...  
 А ты, решив не провожать,  
 Прикрыв ладошкой рот, зевнула,  
 И не пыталась удержать...

## Николай КУЗНЕЦОВ

\* \* \*

Чистая, ключевая,  
 плещет в ведра вода.  
 Ходит, как рыба живая,  
 бьется о бедра ведра.

Зубы от холода сводит,  
 скулы, но пьешь и пьешь.  
 Зной — вянет все в огороде,  
 нас же бросает в дрожь.

О, вода ключевая,  
 бьешь из подземных жил.  
 О, моя жизнь кочевая —  
 где только я не жил!

Не утоляя жажды —  
 так бы все пил и пил.  
 В детство вернуться жажду —  
 где бы все жил и жил.

\* \* \*

Я лучше не знаю ночлега,  
 чем (брошен хомут под навес)  
 ночевка на сене в телеге,  
 в одежке, какой ни на есть.

Прохлада предутренней неги —  
 отрадно прохладой дышать.  
 Вверх вздыблено дышло телеги —  
 зовут еще ручкой ковша.

Покоятся рядом повозки —  
 не слышно скрипения спиц.  
 Земная с небесною — тезки?  
 В небесной повозке кто спит?

И мнится — с небесных покосов  
вернувшись, у Млечной реки  
распрягши коней, спрятав косы,  
в повозке храпят мужики.

Сверкают небесные росы,  
в молочном тумане река.  
И снятся земные покосы  
и запахи трав мужикам.

## Андрей КЛЮЧАНСКИЙ

### бы

Заснеженная степь и небо здесь — одно  
сплошное серое глухое полотно  
и если бы не телеграфный столб  
вдали... в метель... без проводов...  
я обернулся бы в сугроб —  
как шел один, так и вошел в одно б.

### Последний день лета

Нежен день.  
Безгре... нездешен  
божий ветер-тиховей,  
никуда себя не денешь  
от него и тополей  
серебристых, и черешен  
в теплой коже своей,  
в тонкой полиэтиленке  
в людном парке меж людей.

Кеды.  
Грязные коленки.  
Небо солнечных лучей.

Я опять иду ребенком  
и не думаю о том,  
что опять иду ребенком  
не последним летним днем.

## Евгения КОРДЗАХИЯ

\* \* \*

Нет, почки гладкие и влажные  
чуть только набирают силу...  
Рукой коснешься их, и кажется,  
и кажется: они пульсируют.  
Нет, на березах — ни листка,  
темны и голы ветки кленов...  
Но я ведь видела — зеленым  
был этот парк издалека!  
Я потому так шла сюда,  
так храбро лезла через лужи,  
я думала, меня закружит  
аллей оживших пестрота,  
я чуда радостно ждала,  
а чудо... чудо любит робких.  
Нет, перепуганные тропки  
черней грачиного крыла,  
нет, на березах — ни листка,  
темны и голы ветки кленов...  
И все-таки он был зеленым,  
был —  
целый миг —  
издалека!

\* \* \*

...Греши, покуда я жива,  
твои грехи — моя забота.  
Тоскуй, покуда я с тобой,  
твоя тоска — моя страда;  
пускай тебя забудет Бог,  
пускай тебя разлюбит кто-то,  
а я тебя не разлюблю  
и не забуду никогда!  
И если вдруг случится так,  
что оскудеет мир слезами,  
и очерствеет добрый друг,  
и озверееет верный пес, —  
ты и тогда найди меня,  
мы обменяемся сердцами,  
и ты возьмешь мое — в слезах,  
и я возьму твое — без слез...

\* \* \*

Я в корни утрат не смотрю,  
мне страшен разбор их подробный...  
— Здесь мама лежит, — говорю  
и трогаю камень надгробный.

Листва на березах шуршит,  
цветет у берез медуница...  
— Неужто и вправду лежит? —  
щебечет какая-то птица. —

Ведь скоро наступит зима,  
здесь так одиноко ночами!  
А что ты мне скажешь сама?..  
И я пожимаю плечами.

Сквозь сердце протянута нить  
к тому, что под камнем хранится.  
Но как это все объяснить  
какой-то щебечущей птице?..



Тамара БУСАРГИНА

## ВЫ СНОВА ЗДЕСЬ, ИЗМЕНЧИВЫЕ ТЕНИ...

*Воспоминания о писателе Глебе Пакулове и других*

Давно пройдя все временные стадии своей жизни — с ошибками и рефлексиями, особенными в каждом возрастном отрезке, — и дойдя до времени подведения итогов, я поняла: времена помимо моей воли выстраиваются как-то по-своему, противятся системе, хронологии. Это, наверное, потому, что я уже давненько живу вне времени. Я просто вспомню интересных людей, с которыми меня связала судьба: выхвачу из полотна жизни какие-то запомнившиеся фрагменты, попытаюсь дать некоторым известным событиям свою, пусть и на посторонний взгляд спорную, оценку... Это будет итог *моих* «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».



Тамара Бусаргина

### 1.

Так уж случилось, что фамилию Пакулов я услышала гораздо раньше нашего знакомства. В Доме политпросвещения (ДПП) города Иркутска, где проходила конференция «Молодость. Творчество. Современность», раздался с трибуны голос известного иркутского художника В. С. Роголя: «А вы, товарищ Пакулов, головой не вертите, мы не для того завоевывали советскую власть, чтобы молодежь всякие выкрутасы выделывала». Самым большим «выкрутасом» молодых писателей, художников, музыкантов в те благословенные времена была их самовольная организация в обществе «Творческое объединение молодых» (ТОМ). Кто-то из комсомольского начальства стал говорить, что ТОМ никто не разрешал, а потому он — «незаконнорожденное дитя». Я с молодым безрассудством и задором вышла на трибуну и высказалась в таком духе: плохо, что в свое время не дали до конца переболеть всеми этими «измами». Вот теперь молодежь и начала с того, на чем остановились. А в том, что ТОМ — незаконнорожденное дитя, тоже ничего дурного нет — значит, зачато оно по любви, а потому обещает быть жизнеспособным. Молодежь была в восторге.

Часть пути из ДПП мы шли с Ростиславом Смирновым, преподавателем Иркутского государственного университета. Он сказал: «Гвалта, конечно, много, но если что доброе и выйдет из всего этого, то это Пакулов». И немного погодя добавил: «Если не сопьется».

В пору «всесоюзного застоя» шестидесятых кипело все и вся, но особенно молодежь, она ждала перемен — хотелось большей свободы творчества, хотя никто, ни писатели, ни художники, толком и не знали, «куда нам плыть». Сборов было много, в основном в ДПП, и, конечно, все они проходили с санкции комитета комсомола и под его бдительным приглядом. Однако польза от них, как оказалось, была: из «стенки», как окрестили позже эту обалдевшую от «оттепели» молодежь, стремящуюся догнать «скач жизни», из общего бурлящего варева вышли индивидуальные, всяк на свой лад, писатели, поэты, драматурги. Они и составили костяк Иркутской писательской организации на многие десятилетия. К слову сказать, никакой внятной программы у «стенки» не было, хоть их идейный вождь, журналист «Молодежки» Юлий Файбышенко, пытался что-то сформулировать. Прежде всего это был протест против «руководящей и направляющей», но каждый продолжал работать как ему работалось, не имея в виду внести нечто новое и «р-революционное» в свое творчество. Важно было держаться «комком» (пакуловское определение), «стенкой». Это придавало ощущение безопасности. Более «левыми» были художники, их не устраивала прежде всего ориентация на передвижничество, навязываемое компартией как эталон. На полуподпольные выставки Старикова, Пинигина и других ходили с молодым и сладостным чувством конспираторов, но эти несерьезные и скородельные, а часто просто — в пику властям — хулиганские выставки проходили мирно, никто никого не гонял. Все как-то стихло помаленьку с отъездом Ю. Файбышенко в Москву. К слову сказать, само слово «стенка» приобрело хоть какой-то смысл после читинского семинара, куда так дружно вломились пишущие молодые иркутяне и громко о себе заявили. Не входившего изначально в «стенку» Валентина Распутина (он тогда жил в Красноярске) после читинского семинара тоже было причислили к ней, хоть он, думаю, сразу понимал свою отдельность от любимых тусовок.

Однажды на одном из сборов молодежи в ДПП в зал ввалилась небольшая шумная группа. Понятно — начинающие писатели. У соседа я спросила, кто из них Пакулов. Мне указали на человека в стариковском, как мне казалось, темно-синем драповом пальто с каракулевым воротником и болотного цвета берете, который еле держался на его густых волнистых волосах. Говорил громко, смеялся, был возбужден. Рассмотрела, а потом и слушала его внимательно, ведь Ростислав Смирнов выделил его из «стенки». Стихи (что-то из «Царь-пушки») мне, действительно, понравились.

А познакомились мы с ним при особых обстоятельствах. В середине почему-то очень холодного мая 1963 г. в Иркутск приехал Фидель Кастро. Увидеть его, когда весь город высыпал на улицы, было невозможно. Я работала тогда в художественном музее, окна его выходили на улицу Карла Маркса. Мы, зная, что Кастро проедет по нашей улице, открыли окна, устроились на подоконнике. Вдруг в музей приходит Петр Реутский, мой хороший приятель, с которым у меня завязывались более или менее романтиче-



Поэт Петр Реутский

ские отношения (он часто заходил в музей, любил и даже знал живопись, ведь на Высших литературных курсах в Москве, где он учился, историю искусства вела сама Нина Михайловна Молева). С собой он привел Глеба Пакулова и объяснил: лучшего места для лицезрения великого команданте в городе сейчас не сыскать, а потому попросил нас потесниться на подоконнике. Глеб при знакомстве откомендовался Геннадием. Его тогда все звали Генкой. (Дело в том, что, как отобразил это сам Пакулов в повести «Глубинка», когда отец Глеба в хорошем подпитии вместе со своим другом Филиппом на радостях шли регистрировать новорожденного, мудреное имя, которым мать наказывала назвать сына, они забыли. По дороге встретили двоюродного брата Филиппа, которого звали Глеб, и решили, что имя красивое и вполне годится мальчику. Мать до самой смерти не смирилась с этим, за ней и все остальное семейство стало звать его Геннадием.)

Кастро промелькнул как комета, мы только и видели его макушку в шапке-ушанке. Генка со второго этажа музея комментировал все это уличное действо так остроумно, что сразу же вызвал во мне мало сказать интерес — я думаю, что это была (с моей стороны) почти любовь с первого взгляда.

Событие решено было отпраздновать, что мы и сделали у Реутского. Сейчас, конечно, с юмором вспоминаю ту явно постановочную сцену ревности, что учинил мне Реутский. Я очень скоро поняла, что спектакли, рыцарские ристалища входили в число «дежурных блюд» всех этих застолий. Вспоминается почему-то реплика Петра Реутского, часто звучавшая из его уст, а потом еще чаще — в пародийном исполнении писателя Геннадия Машкина: «Я хоть и маленький, но полутяж».

С Глебом Пакуловым мы не виделись довольно долго: он, геофизик, уехал с геологической партией куда-то в Читинскую область, а я, как всегда в мае, уехала в Ленинград на летнюю сессию, что делала ежегодно целых шесть лет. После окончания Иркутского университета я училась на заочном отделении Ленинградской академии художеств на отделении истории и теории искусств. (Часто думаю, как же щедрой была советская власть к тем, кто хотел учиться: дорога оплачивалась во время летней и зимней сессий, а в течение шести месяцев дипломной сессии за студентом-заочником сохранялась зарплата!) Глеба я потеряла из виду надолго, встретились зимой в конце 1963 г. у Реутского. В тот вечер был А. Преловский, пришел Ю. Файбышенко. Читали стихи, Реутский, аккомпанируя на гитаре, пел какие-то жалостливые прибалтнненные песни: он их помнил во множестве со времен своего тюремного детства. А коронным номером его была чечетка на столе, он редко баловал своих гостей этим истинно артистическим представлением — мне, например, довелось видеть его лишь однажды. В тот же вечер Пакулов сказал, что у него нелады с женой и они разводятся. О встрече не договаривались: на следующий день я уезжала на зимнюю сессию в Ленинград.

О Петре Ивановиче Реутском у меня сохранились самые теплые воспоминания. Небольшого роста («мальчукового», как он сам определял свой рост и размер обуви), всегда почему-то с красноватым лицом и потрескавшимися губами, с шапкой густых темно-русых волос, в безупречно чистой рубашке. Он вообще был необыкновенным чистюлей. В квартире его, где постоянно тусовалась «стенка», было чисто, как в амбулатории. Однажды он рассказал, как в один из приездов в Иркутск к нему пришел Е. Евтушенко с женой и та, не принимая никакого участия в их разговоре, принялась мыть посуду. «Я в нее тут же влюбился, вот прямо — она гремит посудой на кухне, и ты влюбляешься!» Видимо, все его жены предпочитали принимать участие в посиделках, а не греметь посудой на кухне. После развода с очередной женой его небольшая квартира на набережной Ангары была постоянным местом сборищ творческой молодежи. Хозяин квартиры привлекал талантом, самобытностью,

молодечеством. Конечно, гости выпивали и веселились, но главное — спорили и делились впечатлениями о новинках литературы, читали собственные стихи и стихи тех советских поэтов, которых вдруг стали печатать, обсуждали потоком хлынувшие к нам всякие заграничные новинки, по крупницам разбирали повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а позже роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». (Благо в те времена все читали одно и то же: выбор был не так уж и велик. Я часто по тому, что мы читали, восстанавливаю события своей жизни, как восстанавливал возраст своих детей какой-то чеховский муж — по гастролям в их городе того или иного музыканта.) Словом, квартира Петра Реутского была творческим клубом, где учились друг у друга. Поэтому Реутский мог с полным основанием напоминать многим из тех, кто добился хоть какого-нибудь успеха в творчестве: «Вы все вылетели из моего рукава!»

А вот Реутского-поэта жаль. У меня сложилось очень стойкое убеждение: чем щедрее Господь наделяет человека талантом, тем скупее — ответственностью перед ним, и в результате «трудоголики пера», не обладая и сотой долей таланта того же Реутского или Пакулова, высиживали на мягком месте (в том числе и в казенных кабинетах) и титулы, и достаток. О Реутском нельзя сказать, что он, как в старину говаривали, вел «рассеянный» образ жизни, — он умел работать, но куча знакомых из разных кругов, от пилотов до артистов, писателей и поэтов разного возраста и достоинства, отвлекали его от дела в самые золотые для стихосложения годы, чему он, конечно, и сам способствовал. Квартиру в центре города на набережной Ангары никак не могли обойти «мимоидущие товарищи-кутилы». Потом, после женитьбы на Галине Ивановне, в другой квартире, на улице Карла Маркса, всё, говорят, было по-старому. Возможно, это одна из причин, по которой семья приняла решение покинуть Иркутск.

В последние годы жизни Петра Реутского мы встречались очень редко. До его отъезда «поближе к Москве», в Гаврилов-Ям, что многие справедливо считают большой ошибкой, мы как-то встретились с ним в городе. Выглядел он неважно. Петр Иванович поведал мне, что врач определил у него «преждевременное старение» и что он сейчас думает, как бы ему закончить роман. Он убежденно сказал: «Роман будет кормить не только меня, но и моих внуков». Я решила, что, как многие поэты, Реутский в зрелые годы решил перейти на прозу, но он имел в виду, как теперь понимаю, свой роман в стихах, прочтя который я уверилась: врач поставил верный диагноз. А очень жаль, и хоть в романе есть страницы, достойные Петра Реутского, но это не идет ни в какое сравнение с его прежним, все-таки, смею заметить с сожалением, недооцененным творчеством. А умел он многое.

Девушка идет по пляжу  
В гамме солнечной метели,  
Капли чертиками пляшут  
На ее упругом теле.

Так же написаны многие его поэмы (этот жанр он любил).

Семь лесорубов —  
Это семь «я»,  
Это как семь чертей.  
Хлюпает под ногами земля,  
Черных ворон черней.

Какая звукопись!

Помню в его исполнении (а читал он свои стихи прекрасно) поэму о голодном мальчишке, который в тюрьме лепил чапаевского коня из хлеба. (Вообще, он часто вспоминал и, конечно, романтизировал свое тюремное детство. И всегда боялся голода. Однажды ни с того ни с сего посоветовал мне: если придется голодать, главное — не двигайся.) Нам, детям войны, уже вовеки не забыть очереди, в которых давали «по триста граммов хлеба в руки».

Как будто из глубин веков,  
Мне слышен голос:  
«Кто последний?»  
Стою, четырнадцатилетний,  
Я старше всех из мужиков.

Я с большим удовольствием вспоминаю его стихи, написанные в лучших традициях русской классической лирики: прозрачно, чисто, целомудренно, а главное — красиво!

Что-то все-таки произошло...  
Только вспомню, и кровь моя стынет...  
Ты не радость отныне, а зло,  
Отзвучавшее эхо в пустыне.  
.....  
— Ну и что ж? — повторяю с утра.  
— В этом слабость моя или сила?  
Жаль, что, кроме душевных утрат,  
Ничего мне ты не приносила.  
Почему так тепло и красиво  
По-над озером звезды горят?

Несмотря на определенную начитанность, хорошее знание русской поэзии, Петр Реутский был поэтом первозданности, а не культуры, что можно считать характерной чертой сибирской и, в частности, иркутской поэзии (А. Горбунов, М. Трофимов).

С Пакуловым (я сразу же, как узнала его законное имя, стала звать его Глебом, а за мной и все остальные), вяло перекинувшись несколькими письмами, мы вскоре потеряли друг друга. Я иногда от общих знакомых слыхивала кое-что о его разводе, связях, шатаниях-болтаниях. Я поступила работать в педагогический институт, о чем никогда не пожалела. Меня сразу нацелили на научную работу: я решила исследовать художественную жизнь Восточной Сибири в революционные и постреволюционные годы.

Глеб внедрялся в мою жизнь как-то незаметно, появлялся время от времени. Однажды, по приезде из Египта, я обнаружила дома старинную пишущую машинку, явно списанную в какой-то конторе: в своих долгих бездомных скитаниях Пакулов оставлял свой скарб где придется. Машинка до его возвращения из геологической партии на зимнюю камералку в Иркутск стояла в моей комнате, куда он захаживал частенько в мое отсутствие. Бывало, я прихожу с работы, а дома меня встречает пьяненький папа и объясняет: «глебнули» по маленькой.

После скоропостижной смерти второго мужа мама осенью 1968 г. вышла на пенсию и приехала в Иркутск. Однажды меня провожал домой мой старинный знакомый, приехавший из Киева. Мы сидели с ним на скамейке напротив кухонного окна нашей квартиры, и в окне я увидела Глеба. Он чаевничал с родителями.



Как я ни растягивала свидание с киевским приятелем, Глеб, похоже, решил меня дожидаться. Встретились, поговорили о том о сем, я его проводила. Потом он мне рассказал, что идти ему было некуда и он попросился переночевать к дежурному в «Молодежке», спал в каком-то бумажном мешке из-под книг. Вскоре мы встретились с ним на Большой улице, серьезно поговорили у медных поручней почтамта и пришли домой вместе.

Семейка у нас, прямо скажем, была странная. В трехкомнатной небольшой квартирке в комнате в десять квадратов жил папа со своей женой Машей. Маша решила, что родители мои после приезда мамы сойдутся, и ушла жить к подруге, но мама ее вернула. Самой же маме пришлось жить в одной комнате (она считалась у нас большой, аж целых шестнадцать метров) с племянником, сыном покойной сестры Нины, студентом политехнического института, а мы с Глебом поселились в третьей, десятиметровой комнатке. Помню, вскоре к нам пришла одна из бывших претенденток на Глеба и, уходя, сказала мне: «Я предлагала ему получше условия. Не уверена, что здесь он долго продержится». Но худо-бедно мы прожили с Глебом сорок два года и из них целых восемь лет — в нашей маленькой комнатке на улице Лыткина, 73.

Не только быт осложнял наши отношения в первые годы совместного проживания. Я старалась быть по возможности терпеливой к его немислимым для меня привычкам, которых он нахватался в силу нескладности и вообще совсем другого опыта его жизни. Притереться друг к другу нам помог дом в Порту Байкал. До этого мы с мамой и Глебом ездили по железной дороге, высматривали себе что-нибудь подходящее. Как-то летом 1970 г. пришла ко мне приятельница и рассказала, что она провела хорошие деньки с другом в большом пустующем доме в Порту Байкал и что дом продается. Хозяева его жили в Ангарске, найти их было просто, и мы приехали с хозяйкой дома на место. Мысль о покупке чего-то другого у нас тут же улетучилась: хоть и не ближний путь до Порты Байкал, но красота кругом, а сам дом из могучего лиственника, большой, просторный! Мама, а, естественно, лишь она и была кредитоспособной на то время, не торговалась, дома в ту пору были дешевы: с ликвидацией Кругобайкальской ветки Транссиба люди, не имея работы, покидали порт. Хлопот, конечно, было много: Глеб разобрал ненужные стайки, засыпал старинные погреба, подправил баню, мы с мамой успели кое-что посадить в огороде, занялись побелкой дома, покраской внутренних перегородок, красивых резных дверей с медными ручками и резными же десюдепортами. Вообще в доме оказалось много необыкновенного: чугунная печная дверца каслинского литья с рельефом рога изобилия, прелестная дверца для поддувала — крестьянин в лапоточках везет барыню, красивые металлические отдушины с пружинами, вделанные в толстые плахи пола медные ручки подвалов (их было в доме два). На веранде стоял самовар, почти ведерный, с большим подносом, постоянный спутник всех наших посиделок, а в большой кладовой мы обнаружили еще самовары, в том числе один с монограммой баронессы Корф.

Дом был построен в 1937 г. из местной лиственницы, которую, как рассказывала дочь хозяина, после заготовки ее отец сушил несколько лет. Дом стоял на взгорке и со стороны казался летящим. Меня всегда поражали и окна его — идеальных пропорций проемы, с богатым кокошником, с причелинами тончайшей резьбы и поддонами с редким мотивом рыбы. (Этот мотив, возможно, связан с бурятской культурой, ведь отделкой дома занимался какой-то мастеровитый бурят: уходя на работу в порт, хозяин дома Потылицын брал с собой доску и вечером приносил домой резной карниз.)

Глеб, конечно, почти в первый же день вселения в дом схватил все свои снасти (коробка со снастями — единственное, что он сберег от прошлой жизни) и побе-

жал на Ангару рыбачить. Но, как оказалось, рыбалка здесь с большим секретом: у него и мушки не те, и на червей здесь не во всякий день что-либо нарыбачишь. Рыбалка в основном донная, а не верховая, и делать для нее настрой — большое искусство. Но постепенно здешние рыбаки рассекретили, как надо располагать на настрое дробины, и кое-что другое поведали Глебу на посиделках под водочку на ангарском берегу. И Глеб, имея опыт рыбной ловли на Амуре, в реках и озерах Прибайкалья и Забайкалья, вскоре стал лидером среди рыболовов. «Облавливат!» — говорили местные рыбаки. И правда, однажды на Троицу Глеб поймал столько рыбы, что, идя вверх к нашему дому по распадку, повесил на калитки всех обитаемых домов по связке «харюсков».

Кроме рыбы были там и другие радости. Грибов было немерено: подосиновики, подберезовики, опята, свинушки, черные грузди росли недалеко от дома, с потеплением появились во множестве белые грибы. Зайцы зимой протаптывали настоящие дороги уже в двухстах метрах от дома. Глеб с потерей во время своего холостяцкого бездомья ружья царских времен, доставшегося ему от отца, совсем охладел к охоте, да и раньше охотился в основном по необходимости — мальчишкой во время войны и в геологических партиях. Ставить петли считал нечестным. Так что зайца мы ели лишь однажды на Новый, 1974 год: его принесла и положила на крыльцо наша собака Дик. Наш дом крайний в распадке, а потому к нам наведывались и медведи. Один из них задрал теленка у соседей. Однажды нам пришлось вернуться из похода за смородиной, что росла недалеко от дома по ручью, — навстречу бежали женщины: «Не дает ягодку Миша, ругатся!»

Глеб иногда винил себя в том, что стал родоначальником нашествия на Порт Байкал дачников. Но как могли повлиять писатели, художники, среди которых вроде и охотников не было, на всю экосистему округи?

Я сразу поняла: все мои упования на тихую жизнь, на возможность видеть Пакулова наконец за письменным столом — пустое. В первый же свой приезд в Иркутск он приглашал кучу народа. В то время даже хлеб приходилось привозить из Иркутска. А гости, за редким исключением (Вампиловы, москвичи Вороновы), привозили только водку. Выручала рыба.

Ох, сколько «всяких и невсяких» у нас гостили, иногда и подолгу, уже не припомню. Иногда я чувствую себя виноватой перед мамой, которая большую часть своей «дачной» жизни простояла за плитой.

Толком и не помню, кто из писателей когда приезжал, а потому буду писать о людях, которые запомнились, а еще о животных — какой смысл жить в деревне (а к тому времени от густонаселенного рабочего порта Байкал осталось лишь название), в которой не мычит корова, не поют петухи, не лают собаки, не придет лошадь и не положит свою большую красивую голову на штaketник ограды, ожидая от тебя куска хлеба с солью? Все это еще было. Мы уехали из Молчановской пади тогда, когда из всей этой живности остались лишь собаки.

## 2.

Глеб, хоть и не сразу после покупки дома на Байкале, решил взяться за что-нибудь более солидное, чем небольшая повесть «Ведьмин ключ», напечатанная в 1970 г. в журнале «Ангара», детские повести «Горнист Чапая», «Девочка Лея» и «Тиара скифского царя», вышедшие отдельными книжками. Он решил, что это будет историческая повесть или роман. Я советовала ему закончить поэму «Поле Куликово», пролог к которой неоднократно издавался как самостоятельное стихотворение. Продолжать поэму он не стал: Блока не переплюнешь. Он собрался писать о том, что ему неоднократно снилось. А сны были из истории — это



разные вариации одного сюжета: он видел сражение на плоской (что с историей архитектуры Древней Греции не согласуется) крыше большого античного храма, где русские совместно со скифами, вооруженные только короткими мечами, после долгого боя все-таки сбросили с крыши греков. И сам он был воином, а после окончания схватки становился ногой на акротерий (это такое украшение на углах античных храмов), отталкивался от него и долго летал над местом боя: он летал во сне всю жизнь. (Летал во сне и Валентин Распутин, что он и описывает в повести «Наташа»: там он летает над крышей нашего байкальского дома.) Глеб, как и Блок, был уверен, что мы со скифами ближайшая родня. Придумать сюжет ему большого труда не составляло, а вот одеть все это живой плотью — одной фантазией не обойдешься. Пришлось много читать. Помню, сборы были долги-ми. Белую бумагу он очень не любил, и кто-то, кажется писатель Сергей Иоффе, дал ему толстую стопку сероватой, мягкой и теплой по тону бумаги, которую он сшил, нашел кусок синего дерматина и сделал обложку. Вот за таким занятием его однажды застал Александр Вампилов. Передняя нашего байкальского дома делилась на два пространства только печью, а потому их разговор я в общих чертах могу воспроизвести. Вампилов спросил Глеба, для чего он приготовил такую толстую тетрадь. Не иначе задумал написать роман века?

— Это будет повесть или роман, как получится, мне интересно знать корни, истоки — «откуда есть пошла Русская земля».

— А кому это еще будет интересно? Какие корни? Давным-давно сгнили эти корни, опять начнешь фантазировать насчет всяких скифских тиар? Кончай ты с этой историей.

Этот роман — «Варвары» — выходил солидными тиражами дважды в Иркутске и трижды в Москве (в лихие девяностые два раза так называемым контрафактом).

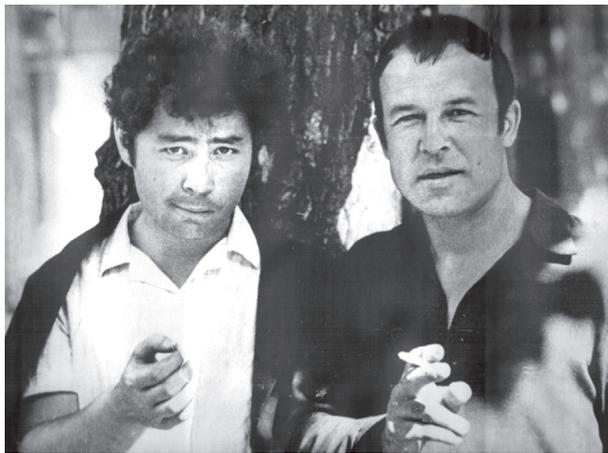
Конечно, творческие устремления у них начисто не совпадали. Вампилов вовсе не приветствовал историко-романтические пристрастия Пакулова. Он не признавал того, что, как писал С. Зотов в журнале «Наш современник» по поводу пакуловской «Гари», сегодняшние вопросы можно ставить на любом, в том числе и на историческом материале, так как «ничего не меняется в характере человека и сильные характеры всегда прекрасны». Вампилова не интересовала русская история вообще и история как литературная тема в частности — в этом смысле Вампилов не «почвенник». Глеб знал и чувствовал Вампилова, а главное, любил его, поэтому никогда не объяснял такую творческую позицию Вампилова его «нерусскостью», хотя кое-кому это и приходило в голову. Однажды в веселой компании режиссер Георгий Гаврилов решил вслух порассуждать, какого же Вампилов роду-племени: по творчеству русский европеец, а по крови полубурят. Вампилов долго терпел эти генеалогические разборки, затем встал и с глазами, налитыми яростью, обратился к Гаврилову: «Запомни, я — монгол». Видимо, судьбу своего отца, расстрелянного за панмонголизм и принадлежность к знатному монгольскому роду, он никогда не забывал. Наблюдая грустного Вампилова, а он чаще всего и был таким, я почему-то вспоминала И. Бунина, который свойственную ему «грусть без объяснения и предела» приписывал своим монгольским корням.

У каждого писателя свои причины и темы, которые не дают спать по ночам. В середине восьмидесятых годов Глеб Пакулов ночью в доме на Байкале на обоях записал стихи, которые ему приснились:

Ой ты, Русь, ты моя неизмерная!  
Песни-стрелы куда домечу?  
Гаревую тебя, нерассказанную  
С тех до этих времен волочу.

А Вампилов жил современностью, судьбой и помыслами сегодняшних русских мужчин и женщин и мог на легком, казалось бы, фарсовом материале ставить серьезные проблемы.

Глеб знал с первой встречи с Вампиловым, особенно после читинского семинара, что не у всех, конечно, но у многих из писательского окружения было особое отношение



**Александр Вампилов и Глеб Паулов**

к Сане. На читинском семинаре 1965 г. Паулов с Вампиловым оказались в одинаковом положении: у них не было публикаций. Но Марк Сергеев и Борис Костюковский, вспомнив, что в серии «В помощь художественной самодеятельности» вышли какие-то миниатюры Вампилова, обшарили все библиотечные и клубные подвалы Читы и нашли-таки то, что искали. У Глеба к этому времени была написана повесть «Ведьмин ключ», в 1964 г. в знаменитой серии «Бригада» была опубликована подборка «Славяне», в которую вошли две поэмы, стихи. Стихи понравились, но Паулов, как известно, привез с собой пьесу, наскоро переделанную для ТЮЗа из детской повести «Горнист Чапая». Безалаберному Паулову никто даже не напомнил об издании «Славян», которое было, кстати, и у Филиппова, одного из авторов «Бригады» и организаторов семинара. В результате прием Паулова в Союз писателей затянулся на целых десять лет. Глеб был чужой тому клану писателей, которые в то время всё и определяли, — об этом после гибели Вампилова предупреждал его Вячеслав Шугаев.

В стремлении же посадить Вампилова на божницу позже стали доходить до смешного. Заведующая Домом-музеем Вампилова в Кутулике по каналу «Культура» рассказывала: когда лодка перевернулась, Вампилов поплыл, но, зная, что друг не умеет плавать (это после амурского детства и пятилетней службы на флоте!), вернулся, чтобы прицепить руки Глеба к лодке, и затем снова поплыл к берегу.

Поймешь О. М. Вампилову, вдову драматурга, которая сетовала в «Комсомолке», что в Иркутске сделали из Вампилова идола. (Ольга Михайловна, я надеюсь, не читала так называемый «синопсис» сценария фильма о Вампилове «Облепиховое лето», где трагедия случается по причине того, что «у жены Вампилова и Глеба, его лучшего друга, завязываются странные отношения... Вампилов садится в лодку с другом, чтобы поговорить о том, что с ними происходит. Лодка переворачивается». Лодка перевернулась, вероятно, от накала страстей. До такого еще никто не додумался! Протест сценаристам выразили я и И. А. Прищепова, те обещали сценарий изменить, но оставили за собой право на вымысел. Посмотрим!)

А плавал Глеб прекрасно, потому-то и крикнул ему Саня: «Плыви!» Но Вампилов не подумал, что у Глеба высокие тесные болотные сапоги, он снять их в воде не смог, они тащили вниз — вот и все. Я часто думаю: купив эти сапоги, я спасла Глеба или усугубила все дело? Ведь Глеб мог бы помочь Саше. Да что теперь о том размышлять...

Мне тяжело вспоминать о Вампилове, и я мало чего хочу прибавить к тому, что уже писала о нем. Да и вспоминается все какими-то клочками. Помню, под



вечер Глеб (это было совсем незадолго до гибели Саши) встречал семью Вампиловых с парохода. Ольга с Леной пришли домой, а Глеб с Сашей долго оставались на берегу и пришли уже затемно — трезвыми, что приятно удивило, но какими-то тихими и грустными. Позже Глеб рассказал: Саня со слезами на глазах говорил о том, как непорядочно повел себя знаменитый московский режиссер (не стану называть его имени, он потом прилюдно каялся — недопоняли, пропустили и т. д.). Вампилов договорился с ним о встрече по поводу постановочных перспектив «Утиной охоты». Режиссер велел говорить, что его нет в театре. Вампилов решил подождать, когда тот вернется, но вскоре увидел его выходящим из театра. Больше Вампилов к нему не обращался. Страшно подумать, сколько унижений, обид претерпел Вампилов, предлагая свои пьесы в театры. Неужели надо было умереть, чтобы вдруг открылись все их достоинства?

Тяжелыми были его предсмертные дни, настолько душевно тяжелыми, что Вампилов из боязни самостоятельно не справиться обратился к известному в Иркутске психиатру за помощью. Тот ему посоветовал идти в церковь. Это было, по словам врача, приблизительно за две недели до гибели Вампилова. Был ли он в церкви — не знаю. Смутно припоминаю, что собирался креститься. Он к этому, судя по «Старшему сыну», был готов.

Вампилов, несмотря на молодость, имел очень трезвое представление о жизни и не ждал для себя благоприятной писательской погоды, а действовал, проявляя, на мой взгляд, некоторое нетерпение в устройстве своих пьес, но при этом сноровку и даже артистичность, когда, особенно у чванливых москвичей, подвергался всяческой проверке. Саша рассказывал, как однажды во МХАТе Олег Табаков пристально поглядел на Вампилова и церемонным жестом, но при этом изощренно и витиевато матерясь, стал приглашать его сыграть в шахматы. Вампилов принял вызов и так цветисто ответил на его приглашение, что сыграли всю партию в гробовом молчании.

Недавно мой племянник Алексей вспомнил лето не то 1971-го, не то 1972 г., когда он был на даче в одно время с Леной Вампиловой. Лена вынесла из дома книжку с картинками, села на крыльцо, полистала, нашла нужную сказку и стала вслух ее читать. Читала она бегло. Когда надоело, передала книгу Алеше, и тут выяснилось, что он не умеет читать, а они ровесники. «Я до сих пор не могу забыть ее взгляда, — вспоминает племянник, — столько в нем было презрения, что я ушел в огород и там от злости поплакал».

Мы сидели на завалинке, Глеб заметил:

— Девочки быстрее развиваются, с ними, наверно, интереснее? Хорошо, что у тебя девочка!

— У меня их две, — услышали мы в ответ, но удивились не самому известию, а тому, что Вампилов обмолвился о том, что тщательно скрывалось.

Многие знали, что у него дочь от артистки ТЮЗа. Судьба девочки могла бы заинтересовать Фонд Вампилова — хотя бы потому только, что этот факт биографии драматурга был, я уверена, совсем не пустым звуком для него при жизни. Но уж очень Фонд Вампилова заботится о стерильности образа писателя. А он, как и Сарафанов в лучшей, судя по современной постановочной истории, из его пьес «Старший сын», монахом не был.

О гибели Вампилова написано много небылиц, и мне до конца жизни их не опровергнуть, а потому я и не собираюсь этого делать, тем более что об этом провела настоящее исследование Ирина Александровна Прищепова, литератор из Порты Байкал, и результаты его опубликованы. Но как забыть визит одного писателя, который пришел к нам домой и сказал: «Знаешь, Глеб, ходят слухи, что в лодке вы с Сашей дрались». Глеб вытаращил глаза, а посетитель спросил:

«А почему тогда одна щека у Вампилова содрана?» Глеб растерялся на миг, в это время я широко открыла дверь и выпроводила посетителя вон. А щека у Саши, действительно, была содрана: ведь его везли в полutorке на голом полу. Много было чего — писать не хочу. Только крепкая казачья закваска, добрые люди да мое терпение, говорю это без ложной скромности, помогли Глебу потихоньку прийти в себя. Но срывы были, и тяжелые. Как-то, а прошло уже года два с той августовской ночи, Глеб мне говорит: «Ты думаешь, там, вцепившись в лодку, я только к толпе на берегу зывал? Я к Нему зывал. Пусто там». Я не заметила, как он вышел в другую комнату, взял Библию 1956 г. издания, вышел в сени, положил ее на порог и стал с остервенением рубить. Услышав стук, я выбежала в сени и не помню, как отобрала ее.

На страницах рукописи «Глубинки» я нашла такие строки: «22—29 декабря — черные даты — отказано в приеме в Союз. Что им еще? Надо писать, презрев завистливых графоманов. Не член — ну и хорошо. А Ж. — член, а Ш. — членнице... Грохануть бы что-нибудь серенькое, но в словесах гремучих о БАМе. Пойдет. Примут — нуждишка отбежит, хату, глядишь, дадут... Гроханул бы, да Богородица не велит... Отовсюду гонят, нигде не принят, секретариат не помогает, денег нет. Надо толкаться, а где взять острые локти... У меня никогда не было квартиры с теплой водой. 47 лет — а что?»

Поздняя приписка: «Ты был счастлив, Глеба, а не замечал! Всего-то 47 лет!» Приписка сделана в конце восьмидесятых годов, когда на нашу семью навалились беды: на него, поскольку я работала и даже ездила по долгу службы на всякие ФПК и семинары в Москву и Ленинград, легла забота о моей маме, которая в полном параличе пролежала четыре года. А незадолго до этого Глеб по собственной доверчивости и глупости (точное слово) попал в переplet: сосед втянул его в разборки с браконьерами. История противная, совсем не такая, как ее представил суд. Втянув Глеба в эту авантюру, сосед рассчитывал на заступничество за Глеба братьев-писателей, особенно В. Распутина. Он да отец писателя Владимира Карнаухова, действительно, вытащили Глеба из этой истории.

А вообще Глеб везучий человек. Он и родился-то случайно. Старший брат его, Сергей, дал матери деньги и настаивал на аборте, ведь голодное время, недавно от голода в семье умерла трехлетняя девочка, у матери после потери дочери случился инсульт, да и вообще брат, а ему было уже за двадцать, считал все это неприличным. Привезли мать в районный центр, а там ремонт и принимают лишь рожениц. Мать нашла, что это судьба, и родила вот такого Геннадия-Глеба. В семилетнем возрасте он упал, гоняясь за махаоном, со сплотки — разошлись бревна, и он оказался под ними, взглянул вверх и не увидел просвета. Его хватилась сестра Неля, поднырнула под плот и бездыханного вытащила на берег. Еле откачали. А сколько раз, работая в Сосновской экспедиции, он падал с вертолетом во время геофизической съемки! Самый же удивительный случай произошел в Читинской области: во время одного из маршрутов он свалился со скалы, сколько времени пробыл без сознания — неизвестно. Очнулся и увидел, что голова его лежит меж двух больших, отшлифованных временем острых сучков повалившейся когда-то сосны.

Судьба его зачем-то хранила.

Когда в нашем доме было большое нашествие гостей, как, например, во время какого-то совещания московских и сибирских писателей в 1975 г., мы с мамой старались уехать в город: лицеzрение этой ватаги ничего приятного не сулило, да и гостям надо дать свободу. Разговоров, воспоминаний об этом гостевании было много, но мне запомнился рассказ Валентина Распутина, которого мы с мамой



**В Красноярске. Слева направо: Евгений Носов, Глеб Пакулов, Владимир Жемчужников, Виктор Ермаков**

встретили на пристани в Листвянке: он ждал автобус в Иркутск, а мы переправу в Порт Байкал. Он стал расхваливать нашу кладовую, мощную, прямо-таки крепостную дверь в нее и сусек-сундук, на котором ему пришлось провести вторую половину ночи. Дело в том, что, сколько бы гуляки ни запасли водки, ее же все равно не хватит, а купить там спиртное даже и днем было трудно. А до утра дотянуть как-то надо. Валентин ночью тайно взял несколько бутылок, закрылся на засов в этой крепости-кладовке и улегся на сусек. Пропажи хватились, стали ломиться к нему в кладовую, но ничего не вышло. Когда все успокоились и ушли в дом, Валентин открыл тихо дверь, выкатил бутылку. Она стукнулась о порог веранды, писатели с радостным гиком кинулись к ней, Валентин успел закрыться. Так он им выкатил бутылок пять. Ночь простояли.

Несколько лет спустя от Виктора Астафьева я слышала об их утренних страданиях, о том, как он, а также Евгений Носов, Владимир Соколов, Петр Реутский и другие лежали вповалку в нашей большой комнате. Пришла Нелли Матханова. Виктор Петрович говорит:

- Че стоишь, помогай Глебу уху варить!
- Он и сам справится!
- Так хоть картошки ему почисть!
- Ну нет, я недавно маникюр сделала!
- Ну тогда ложись рядом!

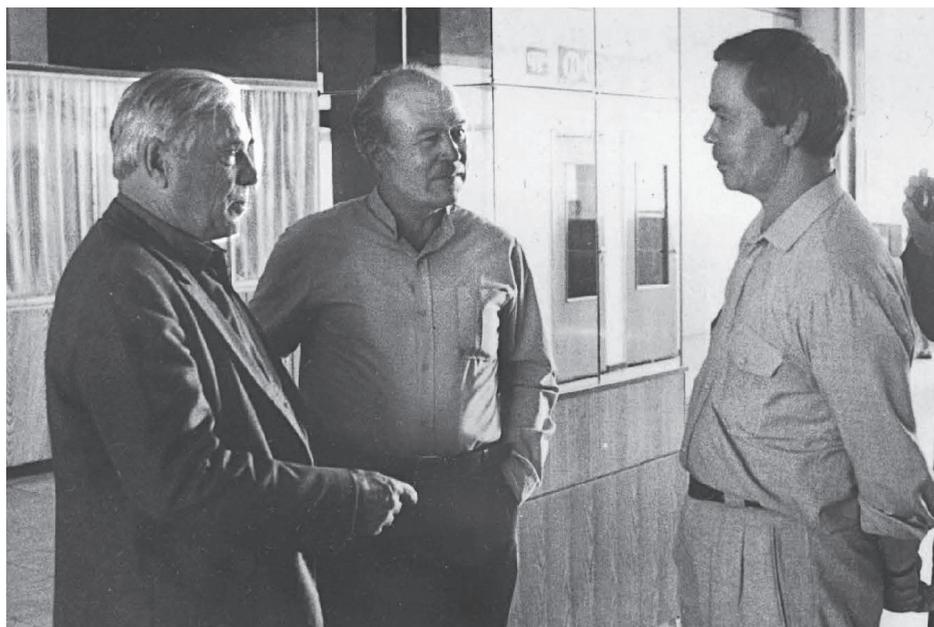
Это мог сказать, конечно же, только Виктор Петрович.

Бывал он у нас несколько раз, и дважды с Марьей Семеновной. Второй его приезд с женой мне особенно запомнился: они заехали к нам в 1977-м или в 1978 г. после Улан-Удэ, где Марью Семеновну приняли в Союз писателей. Марья Семеновна была больна, ее незадолго до этого кусал клещ, да и вся эта

процедура с приемом подточила ей нервы. Она с неделю пролежала в коридоре, на старинной кровати со всякими шишечками и загогулинами, на сенном матра-се — эта кровать была любимым местом Виктора Петровича. А еще ему нравилось, что строитель нашего дома носил фамилию Потылицын: это девичья фамилия матери Астафьева и любимой бабушки. Много чего было приятного: Виктор Петрович читал кое-что из своих «Затесей», которые писал всю жизнь, смешно рассказывал о ежегодных посиделках с фронтовиками в коридорах медкомиссий, где очень серьезно проверяли друг друга на предмет — не отросли ли у кого руки-ноги и не прозрел ли у кого стеклянный глаз за прошедший год? А какое удовольствие было ходить с ним в лес, где каждую травинку он знал по имени-отчеству!

После того как Астафьев переехал в Красноярск, особенно после того как он прочно, своим домом угнездился в Овсянке, к нам на Байкал он, кажется, не приезжал. Глеб с ним встречался в Иркутске лишь однажды на декаде советской литературы в 1985 г.

Всяким вспоминается Астафьев. Этот человек получил от Господа Бога столько даров, что хватило бы и на десятерых: блестящий рассказчик, потрясающий певец (я, любительница поспать, просыпалась рано, выходила на крыльцо слушать его пение с лодки, когда поутру у Шаман-камня они рыбачили с Глебом). У него был хороший голос, но главное, пел он с душой. К русской песне он относился трепетно. Помню, на веранде, где мы в основном и сумерничали, иногда и под водочку, запели про Стеньку Разина, и кто-то из гостей (а их было много, всем был интересен Астафьев), войдя, что называется, в раж, решил доставить удовольствие любителю крепкого слова Астафьеву и переиначил слова песни, вставив крепкое ругательство. Надо было видеть Астафьева! Глеб наутро сказал мне: «С таким лицом он, наверное, в атаку ходил». Хотя непечатные слова Виктор Петрович употреблял невзирая на лица, и звучали они как-то беззлобно и без выпячивания, так, вставные словечки. Рассказывал, как однажды в Праге в их Союзе писателей разговорились о белочехах. Чехи утверждали, что они сделали много чего хорошего и сибиряки должны их добром помянуть. «Да, поминают, ..., и песню сложили: “На нас напали злые чехи”, ..., “село родное подожгли”, ...!» Хорошо поговорили.



Виктор Астафьев, Глеб Пакулов и Валентин Распутин



Глеб, в отличие от многих, никогда не домогался писательского покровительства Астафьева, его отношение к нему было совершенно бескорыстным и дружеским. То, что произошло с В. П. Астафьевым к 90-м гг., понять трудно, хотя многие черты его характера, врожденные и благоприобретенные, предопределили, на мой взгляд, его повороты и блуждания. Он привык к тому, что люди должны быть просто счастливы, оказывая ему внимание и почести. С каким возмущением (это было приблизительно в 70—80-х гг.) он рассказывал о том, как при переезде в Красноярск ему посмели не принести к поезду ключи от квартиры, а попросили пожить в гостинице — через две недели квартиру доделают. Мне хочется думать, что на его умонастроение, помимо российских неустройств, повлиял первый инсульт, ведь известно, как мозговые неполадки могут изменить характер. С такой злобой вещать о вечном пьянстве, рабской душе русского человека, дойти до желания «потопить в крови красно-коричневых», от которых он получил все мыслимые и немыслимые награды и почести, — все это пахнет клинкой. Мне так думать легче, читая письмо В. П. Астафьева к Л. И. Бородину от февраля 2000 г., где он описывает случай к тому времени уже двадцатипятилетней давности.

Вот что он пишет:

А на пути в вампиловский дом пробовал меня утопить погубитель Саши Глеб Пакулов. Это мы на лодчонке вышли на волнорез, и Пакулов запаниковал. Ожидал, что на выходе волна меньше. Фронтоник, опытом богатый, я показал ему кулак. И начал указывать рукою, чтобы он не пер дуrom на волнорез, а помаленьку, полегоньку сваливал с волны на волну и к берегу спокойно рулил. Когда подвалили к берегу, он был бледен и мокр от напряжения, я ему внятно сказал: «Тебе что, твою мать, Вампилова мало?»

Как хорошо, что Глеб этого не слышал, спасибо Леониду Бородину.

А вот что рассказал мне утром Глеб об этой поездке. Действительно, при выходе на Ангару из Байкала их встретила крутая волна, но не настолько, чтобы повернуть назад, как того хотел Астафьев. Лодка вошла в Ангару, Глеб сбавил скорость и, как обычно в такой ситуации, решил идти «сидя на волне». Глеб это хорошо умел: не раз на Байкале попадали в шторм. Так и стали продвигаться к дому. Глеб не ожидал, что Байкал так панически может подействовать на фронтоника: Астафьев стал выхватывать у него руль, орать, материться. Но руль Глеб не выпускал. Причалили к берегу, и Глеб ему высказал: «Какого ... ты руль хватал? Хватит с меня Вампилова». Глеб корил себя всю жизнь, что за рулем в тот злощастный вечер сидел Вампилов. Вот так Пакулов «пробовал утопить» Астафьева.

К слову сказать, в такую же, если не более опасную, ситуацию попал с Глебом Владимир Крупин. Они плыли из Порты Байкал в Листвянку и напоролись на низовку, которая налетает внезапно и вмиг поднимает волны-горы. Такой стихии они не ожидали. «Неслись на маленькой лодчонке по глубоким ущельям между волнами», — вспоминал позднее Крупин. А тогда он молча молился. Долго ветер таскал их вдоль берега, наконец удалось причалить. Выйдя на берег, Крупин спросил Глеба:

- Ты крещеный?
- Собираюсь.

Отыскали глазами церковь в Николе, нашли батюшку, и Крупин приобрел себе крестника, неумного Глеба Пакулова.

### 3.

А теперь, как говаривал протопоп Аввакум, на первое возвратимся.

Рыбачить, принимать гостей, ходить в лес за грибами, совершать лодочные походы вдоль берегов «протяжения» (так местные называли Кругобайкалку) — все это было. Но почему-то, уже распрощавшись с дачей, в городе Глеб чаще всего вспоминал время, когда он работал над «Варварами», «Глубинкой», «Останцами» и начал работу над «Гарью», хотя на Байкале была написана лишь первая страница романа о протопопе Аввакуме. Эта несчастная страница мозолила мне глаза целую вечность и напоминала о талантливом писателе Евгении Суворове, который несколько лет таскал с собой и всем показывал тетрадку, где крупным почерком, на добрых пол-листа, была написана лишь одна фраза: «Имярек (не помню имени. — Т. Б.) каждое утро просыпался с чувством, что что-то должно произойти, но ничего не происходило». В какой рассказ он ее наконец приспособил — не знаю. Мне иногда кажется, что известная «леность» этих талантливых писателей, Е. Суворова и Г. Пакулова, определяется тем, что честолюбивые устремления того и другого можно было измерить лишь в микродозах. Первая страница у Глеба в неизменном виде вошла в роман, все остальное дописывалось в городе, когда мы с дачей уже расстались.

А на даче, когда он наконец решал, что просится перо к бумаге, ему хотелось быть одному. Тогда мама уезжала в город, забирала с собой малыша Кешку и кота Ерофея, а большая собака-лайка Дик оставалась с Глебом (жила в соломе под верандой). Я, смотря по расписанию моих лекций, иногда приезжала к Глебу, привозила книги, которые были нужны для работы, и продукты, никто меня не встречал: связи не было, добиралась по кромке льда из «Рогатки» в Порт, часто под раскаты трескавшегося во всю байкальскую ширину льда. Не однажды меня хватала низовка и утаскивала вместе с тележкой в торосы, верховик меня миловал — много людей он смыл в исток Ангары. Не могу поверить, что это было со мной. Зимой 1974/1975 г. мне повезло: кафедра позволила выполнить годовую нагрузку за один семестр, а второй семестр посвятить диссертации. Эту зиму мы провели вместе: я закончила диссертацию, а он — «Варваров». А в одиночестве в байкальском доме Глеб не бывал никогда. Помимо собаки, его навещала мышка. Глеб, бывало, положит хлебных крошек на валенки, в которых всегда ходил в нашем большом — не натопись — доме, мышка придет, поскребет валенок, залезет на носок, крошки погрызет и не уходит, сидит, пока хозяин не встанет. Мышку звали Женей. С этой мышкой Глеб дружил три года. Прилетала несколько лет подряд красавица ронжа, синички были всегда. К нашему дому примыкал огород в девятнадцать соток, соседи выкашивали его, пока держали корову, потом Глеб сам косил двор и возле окна, где стоял письменный стол, ставил стожок, разбирали часть забора — приходили две лошади и не уходили до зари: хрумкали сено, вздыхали, терлись шеями, тоненько ржали. В лунные ночи они казались фиолетовыми.

Одну встречу с лошадьми я вовек не забуду. Мы со щенком, его звали Отрок, пошли через болото в гору за черникой. Отрок бежал за мной и вдруг так панически, громко и жалобно закричал: видимо, его укусила болотная крыса. Я бросилась к нему, взяла на руки, прижала к себе и стала успокаивать. Вдруг услышала за спиной страшный топот: на меня бешено, разметав гриву и раздув ноздри, летел с горы конь. Мы с Отроком от страха окаменели, а жеребец, видимо, понял, что малыша никто не обижает, резко затормозил, глубоко пробуровив копытами болотную землю, и остановился перед нами. Как мы смотрели друг на друга! Конь отвернул голову и ушел. Я до сих пор не знаю, кто тут из нас «братья меньшие».



С воронами, а их было множество, дружил писатель Николай Павлович Воронов. «Они же знают, что мы родня. Птица умная». Вороновы были чудесной семьей. Жена его, Татьяна Петровна, была настоящая русская красавица, с пучком светло-русых, слегка вьющихся волос. Я не знаю женщину, которой бы так шли русские павловопосадские шали — их у нее было множество. Вороновы появились у нас вскоре после публикации знаменитого романа «Юность в Железнодорожье», где Николай Павлович описал свою рабочую юность на одном из заводов Магнитогорска. Описал не так, как надо, и его имя тогда склоняли рядом с именем Твардовского, роман напечатавшего. Николай Павлович не был заядлым рыбаком, хотя рыбачить пытался. Он любил походы, они с семьей облазили все окрестности — ходили на Кругобайкальскую дорогу, посещали ближние тоннели, но особенно любили лес. Уральский деревенский человек, Николай Павлович устраивал нам познавательные экскурсии, открывал много нового.

Вот и ворону он каким-то непонятным образом и очень быстро приманил. На его ласковый призыв: «Воронуша, Воронуша!» — птица мгновенно откуда-то прилетала, садилась на ветку у веранды и ждала подношения. А еще Воронуша замечательно передразнивала смех Татьяны Петровны и таскала специально положенные Николаем Павловичем блестящие штучки, обертки от конфет, пуговики.

Я совсем не удивляюсь уму животных и птиц. Вороновы любили Кешку — «замечательно умную собачку», как определил его В. Астафьев в воспоминаниях о Вампилове и Байкале. Кешка был просто гений в собачьем царстве, многое, что он умел и знал, выглядит при описании неправдоподобно: в городе он ездил к своей подружке на трамвае (кондукторы его знали), по просьбе Татьяны Петровны танцевал, чихал, доставал из кармана сахар, ложился и «крепко глазки закрывал» и др. И умер достойно — погиб на Байкале в весенних любовных баталиях с местными волкодавами.

В Москве Н. Воронов был близок со многими писателями, хорошо и всегда по-доброму рассказывал об А. Твардовском, В. Шукшине (даже после его кончины занимался сбором денег для какой-то бедной актрисы, имевшей дочь от Шукшина).

Николай Павлович много сделал для Глеба: первое издание «Глубинки», хоть и изрядно исковерканное, в 1981 г. вышло не без его участия. Работая в Ленинке над «Гарью», Глеб останавливался у него в Москве. Н. П. Воронов был автором не менее двух десятков романов, подписал вместе с В. Распутиным «Письмо 74-х». Советский патриот, он в «либеральные» времена стал абсолютно не «медийной» фигурой. Почему-то и в «Нашем современнике» мы его имени не встречали. Восьмидесятилетний юбилей писателя отметила не Москва, а родной Магнитогорск.

Когда началась война, Глебу было одиннадцать лет. В самом ее конце, после завершения учебы в Благовещенском речном училище, на пароходе «Профинтерн» он ходил по Амуру и Сунгари, возил грузы и пленных японцев. Однажды «Профинтерн» налетел на японскую мину, которые во множестве плавали по Амуру. Японцы были рядом все детство, часто устраивали стрельбу с другого берега Амура, от японской мины, что застряла под мостом, погибли дети, одноклассники Глеба. Тревога не покидала жителей села Усть-Ивановка: опасались переправы японцев через Амур. И только после Сталинградской битвы вздохнули с облегчением: уже не нападут. Три брата Глеба воевали, один из них, Костя, в конце 1941 г. сгорел в танке. Отца, Осипа Ивановича, в армию не взяли: ему уже шел шестой десяток. Все заботы о семье легли на него, охотника, огородника. В память об отце, который умер в 1976 г., Пакулов стал писать «Глубинку», не надеясь на ее

счастливого издательское будущее. В это время выходило много прекрасных романов о войне самих фронтовиков, тема тыла еще не была так актуальна. И действительно, «Глубинка» в начале 80-х гг. не имела того резонанса, как сейчас, — всему свое время. Помню, после выхода в 1981 г. в Москве «Глубинки», где в основу сюжета была положена семейная история Пакуловых, Глеба упрекали, что это он себя так разукрасил, прямо пай-мальчик. Костя, конечно, немного Глеб, но ведь повесть или роман — это сочинительство. «Если бы я писал себя, — говорил Глеб, — то смешал бы Котьку с Ванькой». В повести эти два человека живут отдельно, хотя в жизни Глеба благоразумный Котька неразлучен с шалопаем Ванькой.

Падь Молчановская, где стоял наш дом, — это Россия в миниатюре, разделившая судьбу страны: в революцию она приняла переселенцев, бежавших и от белых, и от красных из Центральной России, в Великую Отечественную — беженцев с Украины. В 1937-м из распада навсегда уводили мужиков, преимущественно японских шпионов, один из которых, муж нашей соседки Татьяны Васильевны, рабочий рыболовецкого колхоза, не умел ни читать, ни писать. Старожилы порта Белянушкины рассказывали о латыше, председателе поссовета, который каждую ночь, перед тем как выполнить очередную разнарядку по шпионам и диверсантам, ходил по берегу со своей собакой, и наконец душа его не вынесла — он застрелил и собаку, и себя.

А в лихолетье девяностых в Молчановке не осталось никого из коренных жителей. Теперь это дачный поселок.

В основу повести «Останцы» Пакулов положил бывшую у всех на слуху историю двух молчановских парней, которые воевали в одних частях, и рассказал о том, как страшно и по-разному война для них закончилась. Есть там персонажи вполне узнаваемые. Узнаваема и природа, быт. Жаль, что эта интересная и сложная по психологическому рисунку повесть издавалась лишь однажды, тиражом в 500 экземпляров — в Иркутске в 2002 г.

Неизменным спутником Глеба в Молчановке стал Николай Иванович Есипенок, добрейший человек, первый издатель его детских книжек. Николай Иванович приобрел домик на берегу Молчановской пади. С ним Глеб рыбачил не только на Ангаре, они выходили и на какую-то красивую ночную подводную рыбалку на Байкале. Привозили ли они рыбу — не помню, но разговоров о сказочной красоте подводного царства было не переслушать. В его гостеприимном доме, так удобно стоящем у самого входа в наш распадок, всегда (как и сейчас) было много народа: коллеги из издательства, авторы, друг и однокашник, знаменитый фольклорист, исследователь сказок, быличек, песен Восточной Сибири Валерий Петрович Зиновьев с семьей. Николай Иванович не однажды составлял компанию Валентину Распутину в походах за ягодой, а далеко не каждый, кто хоть раз ходил с Распутиным в лес, отваживался стать ему сопутником вновь. Этот «сохатый», как называл его Глеб, шагал легко, мощно раздвигая ветви длинными руками, — не всякий за ним угонится. Глеб, наевшийся забайкальской тайги в пору работы геофизиком в Сосновке, к тому же не любивший собирать ягоду, был лишь извозчиком.

Глеб и Коля были полными противоположностями, наверное, потому им хорошо дружилось. Порывистый, непредсказуемый Глеб и спокойный, основательный Коля дополняли друг друга. Глеб любил подшучивать над медлительностью Коли. «Ну, слава богу, показался кончик Колиной удочки — через полчаса и сам явится!» Это когда они на рыбалку собирались. Но зато в ситуации форс-мажора Коля действовал споро и без лишних движений.

В один из июньских дней, кажется, 1979 г. Глебу с Николаем Ивановичем пришлось наблюдать печальную картину. Лето выдалось на редкость ненастное, дней десять не было солнца, лил дождь, и слетки стрижей, которые кор-

мятся насекомыми на лету, падали от голода — берег был усеян их мертвыми тушками. Глеб пришел домой мрачный, лег спать. Эта картина его долго мучила. И, поскольку он уже серьезно думал об Аввакуме, в этой картине он нашел ассоциации с судьбой и жизнью протопопа. Мне сказал: «Ведь стриж вроде обычная птица, а как это прекрасно — сама его жизнь возможна лишь в полете. Так и Аввакум. Его жизнь возможна лишь в духовном полете». Потом добавил: «Да и сама смерть — духовный взлет». Мне кажется странным, что гибель птиц нигде в романе не упоминается.

В 1970 г. в Советском Союзе и в других странах по решению ЮНЕСКО отмечалось 350-летие со дня рождения великого русского писателя протопопа Аввакума. Вышло его «Житие». Глеб вначале заинтересовался им как читатель, читал вслух и меня заставлял слушать самые захватывающие места. Примерно то же самое он делал при сборе грибов — ни за что не сорвет большой и красивый гриб, пока и я им не полюбуюсь в его родном, природном окружении. До 80-х гг. он не помышлял о романе. Это решение созрело, я думаю, с выходом «Жития» в Иркутске в 1979 г. в серии «Памятники сибирской литературы». (При моих частых поездках в Москву по делам диссертации лучшего подарка москвичам придумать было нельзя.) Я привозила ему книги из Москвы, делала в Ленинке ксерокопии статей и чувствовала, что с обилием литературы, которую я подбрасывала, к нему подступала робость — как выработать свой стиль, как преодолеть соблазн подражания Аввакуму, как сохранить некую писательскую нейтральность, объективность в обрисовке персонажей, не во всем симпатичных автору?

Маша, у нас в Иркутске случилось большое литературное событие: вышла из печати книга Глеба Пакулова «Гарь» о протопопе Аввакуме. Обещаю тебе ее прислать, заранее взяв у автора автограф.

Много воды утекло от начала работы над книгой до этого радостного сообщения замечательному русскому поэту Марии Аввакумовой от Владимира Петровича Скифа, всегда дружески расположенного к Глебу. Мария Николаевна ведет свою родословную от мятежного протопопа, и, естественно, это известие ее заинтересовало.

А «Гарь» я тоже ждала. Только ждала от Семеновой. Но твоя (от тебя), да еще с автографом автора! — бывает ли что лучше? Я пока не читаю, а после Пасхи возьмусь — тогда держись, Глеб Пакулов! Такого пристрастного читателя, как я, вряд ли случится: тут ведь совсем особый случай...

Прежде чем писать серьезную рецензию на «Гарь», Мария Николаевна по прочтении ее написала Владимиру Скифу: «Передай Глебу Иосифовичу привет и доброжелательство. Все-таки он молодец! Книге его предстоит долгая жизнь, хоть и не очень шумная, слава небесам».

Писалась «Гарь», в сущности, пять лет, с конца 1999-го по 2005 г., уже в новой квартире. Ее облюбовал сам Глеб, обустроил уютное рабочее место. Рядом жил Анатолий Байбородин, что было тоже удачей: он, православный, знал и староверов, сам был родом из тех забайкальских краев, где они жили, пытался тогда посеять сомнения у Глеба в полной правоте и непогрешимости староверов. Они много и бесполезно общались по этому поводу.

Анатолий Байбородин написал серьезные, я бы сказала, художественно-исследовательские очерки о романе «Гарь» и о Глебе Пакулове, где с чуткостью писателя разгадал его «по-казацки горячий, гулевой, неумный в талантах дух».

Важно то, что Байбородин, сам знаток и ценитель русского слова, нашел в Пакулове «своеобычного и живописного художника, столь легко и безнатурно владеющего ярким образом и корневым народным говором» (Байбородин А. Вещее слово. О родове, судьбе и творчестве писателя Глеба Пакулова. «Сибирские огни», 2005, № 11).

О протопопе Аввакуме много чего написано, чтение затягивало, материал начинал давить. Пользуясь своим опытом исследователя, я убедила Глеба сделать что-то вроде тематического каталога. Глеб сделал коробку, картонками, как в библиотеках, наметил темы, отделы и по мере чтения заполнял их выписками либо просто указывал источники, где можно отыскать нужные сведения. Главное — наметил канву повествования. Последние два года были самыми трудными. Несколько дисциплинировало то, что роман по главам стали печатать в иркутском литературном журнале «Сибирь». И все-таки я вспоминаю это время как самое счастливое: раньше перерывы между написанием «Варваров», «Глубинки», «Останцов» были раздражающе большими.

Писал Глеб обычно остро отточенным карандашом, мелкими буквами, но к концу работы над «Гарью» буквы стали крупнее: подводило зрение, пришлось перейти на шариковую ручку. Он с иронией поглядывал на платиновый «паркер», подарок Распутина: таким позволительно писать, если замахнулся на что-нибудь не ниже, чем «Фауст». Написанное Глеб правил, затем перепечатывал на изрядно покалеченном «ундервуде» (машинка слетела с мотоцикла по дороге в Порт Байкал), опять правил и ждал меня с работы. Я с помощью Анатолия Байбородина освоила компьютер — как печатную машинку. Глеб с компьютером так и не примирился: он не мог понять тех, кто, как он говорил, чешет прямо на клавишах. Несмотря на то что я перепечатывала готовый текст, он все допытывался: слова-то разные, они вызывают разные чувства, а ты должна печатать все это с одинаковым нажимом? «Приспособилась, — говорю ему, — слова-то не мои».

Глеб Пакулов жил в докомпьютерном веке.



Анатолий Байбородин, Валентин Распутин и Глеб Пакулов

Бывало и так, что он просил перед компьютерной перепечаткой внимательно прочесть текст. Это означало, что ему там что-то не нравилось. По прочтении я, как правило, угадывала, где не удалось ему поймать нужную мысль или нужное слово, и перепечатка откладывалась.

А больше всего его заботил верный тон, верный, как ему это представлялось, стиль: писать современным языком — пропадает аромат эпохи, злоупотреблять архаизмами — читатель не вынесет, устанет. Об этом хорошо написала Мария Аввакумова:

Берясь писать о великом страдальце за древнее благочестие, Пакулов рисковал не выдержать невольного сравнения с самим автором «Жития...». Однако вышло не соревнование, а созвучие, сотоварищество. Собственно, задумано было рискованное предприятие — пройти сибирскими дорогами страстей протопоповых. Карта — в самом «Житии...». Надо было сопережить все заново. Что привело в музеи, архивы... и затянуло на много-много лет. Зато теперь мы видим объемные стереоскопические картины Сибири второй половины семнадцатого века, прекрасно выписанные портреты Пашкова с семейством и окружением, чуть ли не воочию зрим ребятишек Аввакумовых и светлой тенью скользящую по страницам романа Анастасию Марковну. А уж сибирские пейзажи и состояния природы выписаны с такой любовью и проникновенностью, что целыми страницами хочется перечитывать, чтобы насладиться языком писателя. В чем тут дело? Оказывается, «великий и могучий русский язык» по-прежнему велик и могуч под пером мастера. И способен творить чудеса. Вот как сотворил со мной: благодаря роману «Гарь» я пережила чудесное чувство — радость узнавания Родины своей через древлеотеческое слово.

Говоря об этом романе, никак нельзя умолчать о недавнем, еще теплом романе «Раскол» Владимира Личутина, над которым автор этого колоссального произведения тоже трудился много лет — шестнадцать. Территориально они не помешали друг другу. Личутин почти не коснулся первой — сибирской — ссылки Аввакума, тогда как Пакулов строит повествование в основном на этом периоде. Первое, что бросается в глаза при сравнении: оба писателя ярко явили как бы два разных словаря русского языка, но тот и другой волшебны прекрасны. Владимир Личутин дал волю голосу своих мезенских корней, вывернув наизнанку тамошний говор семнадцатого века. Поэтому «Раскол» бегло читать почти невозможно: нужен труд, время и словарь, даже мне, происхождением с Северной Двины... Факт есть факт: роман Пакулова я читала с большим энтузиазмом и удовольствием (Аввакумова М. Мы из того костра. «Тобольск и вся Сибирь», 2007).

Первое издание «Гари» вышло в издательстве «Иркутский писатель» в 2005 г. Второе — в Новосибирске в 2006 г. Эти два издания не содержали глав о патриархе Никоне, так как Пакулов собирался посвятить ему отдельную книгу. Вскоре понял — времени не хватит, решил о нем дописать главу, которая вошла во все последующие московские издания романа.

Первую рецензию на «Гарь» — «Великолепный роман Глеба Пакулова» — написал за две недели до кончины незабвенный Ростислав Филиппов. За две недели до собственной кончины Глеб Пакулов написал «Слово о Славе» для книги воспоминаний о нем. Писать ему уже было трудно. Все «Слово» — это запись нашего общего «а ты помнишь?». Вспоминали, я записывала, прочитывала ему, он кое-что подправлял, уточнял... Затем попросил бумагу, карандаш и написал свое, интимное, только им двоим понятное:

Во всякую минуту ты рядом. Мы стоим на росстани по разные стороны незримого отчерка, но руки наши сцеплены, мы вместе и долго — несть конца — безмолвно говорим о разном. Мнится — решишь я написать о тебе на бездушной бумаге в прошедшем времени — руки необходимо разомкнуть, и ты для меня, живой, тут же отдалиться бесплотной тенью в ту вечно чаемую Обитель Воли Господней на небо, которую мы, невольники суетного мира, молитвенно выпрашиваем для себя: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли».

По настойчивому уговору тоже близкого мне человека я пишу эти необязательные строки, а ты, становясь зыбким воспоминаньем, отдаляешься и отдаляешься, оставив в моей распятой ладони преходящую теплинку бытия человека. Прости. И до скорого.

Теперь уж не отдалятся — рядышком лежат.

Дома хранится «Гарь» московского издания 2010 г. с бумажной наклейкой, где рукой Глеба написано: ««Гарь». Рабочий экземпляр. Не затерять! Глеб Пакулов». Понятно — это уже для меня. Дело в том, что в московское издание вкралось много всяких орфографических и смысловых ошибок, да и Глеб, в последний раз прочитав роман, сам решил что-то подправить, где-то сократить монологи, где-то, напротив, кое-что прибавить. Таких правок немного. Валентин Распутин по прочтении «Гари» определил ее в разговоре с Глебом «вещью значительной», но посоветовал убрать три строчки, которыми заканчивается роман. По его мнению, роман закончился словами «где утаилось до времени солнце». Глеб согласился. Строчки про «Аввакумовы пенешки», которые так нравились старообрядцам, были перенесены на форзац. Учитывая все правки, я в 2015 г. издала в Иркутске «Гарь» малым тиражом (100 экз.) в надежде, что к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума «Гарь» выйдет в этом исправленном и дополненном варианте.

Недомогание Глеба в последние два года мы приписывали летам и наследственности: отец и мать Глеба умерли от инсульта. Я как могла поддерживала его сосуды и сердце: просто поила, правда в меньших дозах, тем, что по совету врачей пила сама. Подточил его здоровье анафилактический шок от укола в зубном кабинете — пролежал в реанимации четыре дня. В одно июльское утро 2010 г. (у нас гостила в это время приехавшая из Ярославля Лидия Янковская, она намеревалась представить иркутской публике свою ораторию «Аввакум») Глеб вышел на кухню необычно желтым, с желтыми белками глаз. Карета «скорой помощи» увезла его в инфекционную больницу, где прямо сказали, что нам не повезло — это не гепатит. Пришел на помощь, как всегда, В. П. Скиф; знакомый ему врач областной больницы сразу определил рак второй степени в очень неудобном для операции месте — в печеночных протоках.

Хирург диагностического центра уверял, что даст пожить подольше тысяче-долларовый шведский золотой стент и что некоторые живут с ним годами. Вишли этот стент. Глеб воспрянул духом и поделился со мной замыслом рассказа или повести — как сложится. Подробности я уже забыла, помнится только канва: два человека разного жизненного опыта, разного статуса потерпели жизненное фиаско, один в бизнесе, другой из-за семейных неурядиц. Да еще эта демократия, которую не приняли оба. Жили они в зимовьях, ничего не знали друг о друге, встретились случайно, подружились, в свободное время облегчали душу рассказами о превратностях своих судеб, о причинах, которые заставили их удалиться от людей. Рассказали друг другу и о том, что рядом с ними, видимо, живет и третий человек, горбун. Разглядеть его не удастся: он сразу же исчезает, как только замечает, что его обнаружили. Есть такое поверье: с полуночи до



утренней зари мы все остаемся без ангела-хранителя, он нас покидает, отправляется к Господу Богу и рассказывает Ему, как прошел день и что хорошего или дурного сделали его подзащитные-хранимые. И все дело в том, что горбуны (это и были ангелы-хранители, они прятали под одеждой свои крылья) совсем по-другому представляли Господу дела этих отшельников — все мерилось другой мерой. Вот как-то так.

Глеб быстро понял, что этот закордонный стент — такая же химера, как и российский, и жить ему осталось недолго. Прожил он еще четыре месяца. Смерть принял спокойно, меня утешал: «Перестань, Тома, ничего необычного не происходит». Исповедался и причастился. Он так хотел умереть дома, но умер в нашем убогом, хоть и обильном добротой хосписе. Но что поделаешь? Ежедневно ездить в онкологический центр, брать ампулу обезболивающего, делать дома укол и тут же отвозить пустую ампулу назад, чтоб выдали следующую, — на это уже не было сил.

Вспоминаю все как вчерашнее, а тому уже семь лет.

#### 4.

Ловлю себя на том, что оттягиваю время, — лишь бы не писать в прошедшем времени о Валентине Распутине. Для меня он еще живой и, как прежде, их, Валентинов, два — молодой и московский. Молодой неотделим от Глеба, а московский чуть подальше, не виделись, бывало, по многу месяцев. И все же он был всегда рядом — его физическое присутствие было необязательным.

Знакомство наше состоялось в 1969 г., но слышана о Распутине была. Я работала в музее с его одноклассником Альбертом Костеневичем, который ревниво следил за успехами сокурсника. «Распутин пошел в гору», — объявил он нам однажды, и все бросились читать вышедшую недавно повесть «Деньги для Марии». А тут вдруг приходит Глеб навеселе и приводит Распутину.

Валентин не скрывал, что в его жилах течет цыганская и тунгусская кровь, и в это легко можно поверить. Он любил бродить по городу, всегда, в отличие от Глеба, был легок на подъем — хоть по ягоды на 84-й километр Кругобайкалки, хоть в Японию. Впрочем, пространственное беспокойство и у русских в крови — аж до Аляски добрели.

Распутин, мне кажется, всю свою жизнь был сумеречным человеком, но при этом всегда имел вкус к шутке, розыгрышам. Однажды они с Глебом пришли домой под утро — с первым трамваем. Бродили по городу, а потом устроились с бутылочкой на ограждении фонтана возле цирка. Дома Глеба тошило. Валентин объяснил: опыта нет, я-то, прежде чем запить водочку, побулькаю воду рукой, отгону всякую муть, а он сразу хлоп полными горстями — и проглотил лягушку. Глеб говорит: нет, лягушки не слышу, она тоже любит выпить — уже бы квакала от радости.

Вот так «присбирывали», как говорила одна из распутинских старух, пока не угомонились.

Сразу же, как Валентин стал знаменитым и, главное, выездным, ему было в радость привозить из-за границы и дарить знакомым всякие диковины. Семья Стуковых удивлялась: откуда он узнал, что сын Валерия Стукова, тогда студент музыкального училища, не может купить какой-то мудреный мундштук для саксофона? Распутин привез его из Японии. У меня тоже много чего от Валентина: шелковый шейный платок с изображением европейских замков, косметичка с идиллическим пейзажем, веер с рыбками из Японии, какой-то шершавый — не



Болгарский писатель Кирил Мончилов, Глеб Пакулов и Валентин Распутин

выскользнет из кармана — синий кошелек. Нам, чухонцам, в диво, и ему в радость. А Глебу откуда-то привез спиннинг золотистого цвета с катушкой и набор всяких мушек, которые, попав в воду, начинали шевелить лапками, трепетать крылышками. Впрочем, ангарский хариус этого не оценил. А в другой раз привез японские часы. Глебу пояснил, что часы не простые, со встроенным чипом, позволяющим пройти на какой-то завод. Поедешь, дескать, в Японию, завод посети обязательно — не пожалеешь. И подгадай в обеденный перерыв.

— А что там? — Глеб понял, что Распутин решил развлечься, и включился в игру.

— В это время приходят гейши. А как мы с тобой гураны — сойдем за своих. У тебя будет шанс убить медведя. Там знаешь какая забота о персонале — не наше горе.

— Так у гейш вроде другая специализация.

— Ну-у, это когда было? Теперь демократия. Подрабатывают.

— А успеют ли они за обеденный перерыв свой двенадцатиметровый пояс размотать?

— Наловчились.

— А ты сам-то много медведей убил?

— Нет, — вздохнул Валя, — с меня экскурсоводы в штатском глаз не спу-  
скали.

Глеб всегда понимал, когда Распутин его разыгрывает, и лишь однажды остался в недоумении. Валентин повез его на дачу, что-то надо было отремонтировать. Потом Глеб рассказывал:

— Только выехали на Байкальский тракт — и Валентин как попер, наверное, под сто. Я ему кричу: «Куда прешь, без году неделя за рулем!» А он мне: «Так в том-то и дело — не могу остановиться». Хорошо, что машин немного. Едем дальше, вот и поворот. Я ему: «Ты хоть поворачивать-то умеешь?» А он: «Ты пристегнись на всякий случай». Не знаю, верно, ваньку валял, но лицо больно уж серьезное.



— Так за рулем же человек, вот и серьезное, — вставила я, но тоже без уверенности.

В конце 1979 г. я защитила диссертацию, но ехать за дипломом было накладно. Валентин вызвался его привезти и таки привез. «Столько мытарств ради такого клочка бумаги?» — удивлялся он. Оно и вправду, без купленной самим диссертантом твердой корочки диплом выглядел неказисто, но жить стало легче.

Встречи были редкими: вот Распутин у нас в большой комнате у гроба мамы, несколько раз — в Новый год. Приходил на день рождения Глеба, все знали, что с ним будет по-особому празднично, не стоит только заводить разговоры о политике: он, познав политическую закулису не понаслышке, терпеть не мог выслушивать суждения, почерпнутые из медиазаморочек. В основном же встречи бывали в Союзе писателей, на праздниках «Сияние России» и, к сожалению, на похоронах. Но все равно было ощущение, что он где-то рядом.

«Гарь» Пакулова вышла по сегодняшним меркам неплохим (за четыре издания) тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров, но единственный «гонорар» был от Валентина Распутина. Зная, что Пакулов — автор из нерасторопных, он привел к нам бизнесмена из Братска, который купил книжечку «Гари» на шестьдесят тысяч рублей. В свое последнее посещение в октябре 2010 г. он подарил Глебу «Сибирь, Сибирь...» с магнитной застёжкой: «Брату Глебу дружески и с любовью, которую никогда и ничто не могло затмить. Спасибо, брат, за все. Ну, и поддержимся еще немного. Тамаре кланяюсь. В. Распутин. 30.10.2010».

Перечитала написанное о Валентине Распутине и поняла: смахивает он у меня скорее на любимого доброго дядюшку, не вышло разговора о великом писателе, который заглянул в душу своего народа и слился с ней настолько, что я, например, воспринимаю его старух почти как распутинский автопортрет. Эта нераздельность, как это всегда получается у больших писателей, у того же Достоевского, есть выражение общности души народной. Об этом более или менее хорошо писали и еще будут писать, а я же пишу воспоминания, это все-таки не тот жанр, где ставят серьезные аналитические вопросы. Дело еще и в другом: главное, то, что составляет понятие «Распутин», до меня еще не дошло и до конца моих дней не дойдет уж точно...

Распутин прожил не одну жизнь. Он мечтал о творческом, писательском уединении и одиночестве, но... «для веселия планета наша мало оборудована». Потому, по заветам нашей великой литературы и в полном соответствии с корневым смыслом сотериологии нашей православной культуры, Распутину пришлось не только спасать народ Словом — писать повести, которые ждала и захлеб читала Россия, — но и спасать страну делом. Спасать Байкал, спасать Сибирь от поворота куда-то ее рек, спасать культуру, книгу. Он был вдохновителем и устройтелем всероссийских фестивалей и «Сияний России». В надежде умерить свистопляску нашей перестройки — бил в набат: писал пронзительную публицистику. А еще строил церкви, отливал колокола для строящихся церквей, устраивал библиотеки. Это он, Распутин, написал книгу неслыханного жанра — «Сибирь, Сибирь...». Книга эта не только о прошлом, это книга провиденциальная. Ее еще никто толком не прочитал. Прочитают, если еще не «совсем изнемог», как горько заметил Распутин в конце жизни, наш русский народ.

Мы виделись в последнюю его иркутскую осень 2014 г. в областной больнице. Говорили недолго: он ждал именитых гостей. Пожаловался — мало того что в ушах постоянный шум, так еще и колокольные звоны стал слышать.

И теперь слушает. У стены храма...

---

**Геннадий ПРАШКЕВИЧ**  
**Сергей СОЛОВЬЕВ**

**ДУЧЕ**

*Главы из книги\**

**Глава двенадцатая.**  
**«Словно двое богов на облаках...»**

**1.**

В 1936 г. вспыхнул мятеж в Испании.

После падения почти семилетней диктатуры генерала Мигеля Примо де Риверы (1923—1930) и бегства в апреле 1931 г. за границу короля Альфонсо XIII на выборах победила лево-социалистическая коалиция. Новая Конституция, принятая 9 декабря 1931 г., объявила Испанию «демократической республикой трудящихся всех классов, построенной на началах свободы и справедливости». Громко декларировалось отделение церкви от государства и школы от церкви, свобода слова, печати, собраний, возможность национализации земли (за выкуп). Был введен восьмичасовой рабочий день, определены минимумы оплаты труда, пособия по беременности, страховки от несчастных случаев, введена обязательная оплата сверхурочных. К сожалению, реформы по вине неопытного правительства с самого начала пошли чрезвычайно трудно. Да иначе и быть не могло. В стране царил безработица, начались перебои с продовольствием. Непродуманные земельные разделы возмущали и крестьян, и землевладельцев, внезапное сокращение офицерского состава армии (почти на 40 процентов) вызвало резкий протест военных, католическая церковь тоже оказалась среди обиженных.

Испанию накрыло волной забастовок. Анархисты, коммунисты, либералы, демократы — все перемешалось. На Испанию теперь поглядывали с тревогой: куда ее занесет? Советский большевизм пугал всех. Когда в феврале 1936 г. с минимальным перевесом очередные выборы в Испании выиграл Народный фронт (социалисты, коммунисты, анархисты, левые либералы), начались забастовки и выступления. А 17 июля 1936 г. против республиканского правительства выступили военные в Испанском Марокко и на Канарских островах. Мятеж быстро охватил почти все военные гарнизоны. Под контролем путчистов (почти 14 тысяч офицеров и 150 тысяч солдат и унтер-офицеров) оказались Кадис, Севилья, Кордова на юге, Эстремадура на юго-западе и Галисия — на севере, значительная часть Кастилии и Арагона.

Главой мятежников объявил себя генерал Хосе Санхурхо. Но ему не повезло: 29 июля он погиб в авиакатастрофе. Пилот предупреждал своего пассажира,

---

\* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2018, № 7.

что тот берет с собой на борт слишком большой багаж, но тот ответил: «Я лечу в Испанию. Я должен появиться перед народом в парадном мундире, как и полагает диктатору Испании». Место погибшего занял командующий испанскими войсками в Марокко генерал Франсиско Франко Баамонде. 29 сентября путчисты избрали его главнокомандующим и одновременно главой Национального правительства; в тот же день генералу был присвоен почетный титул каудильо — вождь. Из 145 тысяч солдат и кадровых офицеров генерала Франко поддержали более ста тысяч.

Мятеж против республиканцев был на руку Германии, и Италии. Многие сторонники генерала Франко имели самые тесные личные связи и с нацистами, и с фашистами. Неудивительно, что вскоре путчисты начали получать военную помощь из обеих стран, хотя противовес этому нашелся быстро: на стороне республиканцев выступили добровольцы из СССР и других стран.

В августе 1936 г. путчисты захватили город Бадахос и установили контроль над городами Ирун и Сан-Себастьян, затруднив прямую связь республиканского Севера с Францией. Одно время казалось, что отряды генерала Франко вот-вот ворвутся в столицу Испании, но танки и самолеты, предоставленные Советской Россией, энтузиазм испанских республиканцев и добровольческих интернациональных бригад не позволили мятежникам развить успех.

Тогда генерал Франко обратился за помощью к Муссолини. Дуче генералу не отказал. После Эфиопской войны он по-новому чувствовал свою политическую значительность. К тому же опасался распространения коммунистических идей. Кроме того (опять мечта об Империи), разве не Испания была когда-то одной из самых богатых провинций Рима?

Первые двенадцать военных самолетов были отправлены в Испанию уже в конце июля, якобы для сопровождения судов, перевозящих отряды франкистов из Марокко. Акция эта держалась в тайне, но так случилось, что два самолета совершили вынужденные аварийные посадки во Французском Марокко и секрет открылся. Дуче это не смутило. Он откровенно хотел войны. Успеха в Эфиопии было ему мало. Тем более что Франция, Великобритания и США очень удачно для Муссолини объявили о своем «невмешательстве» в испанские события. В итоге в марте 1937 г. на территории Испании действовал уже Армейский добровольческий корпус (*Corpo Truppe Volontarie*, СТВ), включавший в себя четыре итальянские дивизии: три — чернорубашечников с пышными названиями «Божья воля» (*Dio lo vuole*), «Черное пламя» (*Fiamme Nere*), «Черное перо» (*Penne Nere*) и одну регулярную («Литторио»), всего около 78 000 человек под командованием генерала Марио Роатты. Тогда же мятежникам было поставлено 3400 пулеметов, 1400 минометов, 1800 орудий, 6800 автомашин, 160 танкеток (танков Италия еще не производила) и 760 самолетов. Общая стоимость помощи составила почти 8,5 млрд лир (около 1/5 всего годового бюджета Италии).

Нацистская Германия тоже не осталась в стороне: в Испанию были направлены наземные (в том числе танковые и авиационные) подразделения легиона «Кондор». Разумеется, советское правительство заявило, что в таких условиях не может оставаться в стороне, и направило в Испанию своих военных советников и добровольцев, прежде всего летчиков и танкистов. Тогда-то, 18 июля 1936 г., прозвучал ставший всемирно известным лозунг «¡No pasarán!» («Они не пройдут!»). Но в феврале 1937 г. франкисты заняли Малагу. Они были дисциплинированы и хорошо вооружены. Начав наступление на реке Харама к югу от Мадрида, они достаточно быстро вышли к морю у Винариса, отрезав этим маневром Каталонию.

К испанцам дуче всегда испытывал недоверие. Испанцы ненадежны. Они презирают дисциплину и государство. Они после своей революции даже с необходимыми переименованиями не смогли справиться. В самом деле, достаточно ли для того, чтобы переименовать отель, замазать краской слово «королевы» в названии «Отель королевы Виктории»? А объявив: «Испания — это республика трудящихся...», зачем добавлять к этому: «...классов»?

Испании нужна правильная фашистская революция!

Пусть курят наши итальянские папиросы. Пусть стреляют из замечательных итальянских орудий. Пусть восторгаются превосходными итальянскими самолетами. Конечно, неплохо было бы иногда накачивать республиканцев касторкой, точно пошло бы всем на пользу. Пусть завидуют тому, как эффективно итальянские боевые корабли и подводные лодки топят суда, заподозренные в помощи республиканцам. Потери? Конечно, потери есть. Они всегда есть. Как без потерь? (В Испании итальянцы, кстати, потеряли убитыми четыре тысячи человек; неизвестно, удовлетворила ли эта цифра дуче, посчитал ли он на этот раз число погибших достаточным для того, чтобы по-настоящему почувствовать вес победы?)

Дуче не хотел упускать шанс. Мешала ему только прогрессирующая болезнь. После смерти брата, после окончательного разрыва с Маргерит Сарфати, Муссолини все чаще подвергался приступам своей непонятной болезни. Близких друзей у дуче не было, с донной Ракеле он общался только дома, всего более из-за резкой смены его настроений страдала Кларетта Петаччи.

«Иди! Иди! Уходи! Ты можешь идти, — записала Кларетта в свой дневник 24 октября 1937 г. раздраженные слова Муссолини. — Мой день испорчен. Это невыносимо, когда любишь великого деятеля, а разочаровываешься в человеке. Ты любишь человека, но, сталкиваясь с моей должностью, начинаешь ненавидеть меня!» И, всегда гордившийся, даже кичившийся силой своего духа, дуче начинал произносить слова, никак не вяжущиеся с его образом: «Я никому не нужен... Единственно, что я отличный любовник... Но ты, конечно, скажешь, что таких, как я, повсюду полно, и не пятидесятичетырехлетних, а помоложе... Ну да, да, ты ведь знакома с таким количеством молодых людей...»

## 2.

К генералу Франко дуче относился своеобразно. Он во всем привык быть первым. Появление каудильо, еще одного вождя, несомненно, отвлекало внимание мировой общественности от фигуры дуче. Вынырнув из неизвестности, каудильо сразу получил все. Уже в 1936 г. Хунта национальной обороны присвоила ему звание генералиссимуса и назначила пусть временным, но главой государства. Это раздражало дуче. Он ждал решительных успехов путчистов в Испании, но при этом (втайне) был не против того, чтобы этим разболтанным (так он считал) офицерам каудильо устроили хорошую трепку.

Обстановка в Европе складывалась тревожная. 4 января 1937 г. Муссолини даже провел специальные переговоры с Германом Герингом — эмиссаром Гитлера. В ответ на прямое предложение фюрера считать будущую аннексию Австрии делом решенным, Муссолини заявил, что этого он не потерпит. Он все еще считал Италию более сильной, чем (пусть и быстро) восстающая из руин Германия.

«Я прослушал полуторачасовое выступление Гитлера от начала до конца и должен честно признаться: оно мне совершенно не понравилось, — делился дуче своими впечатлениями с Клареттой Петаччи. — Среди прочего Гитлер заявил: “Это я создал сегодняшнюю Германию, только мое имя будут вспоминать в связи с этим”. (Ревность душила дуче. — Г. П., С. С.) Не говоря уж об этом: “Я тут

главный, и все, что я делаю, — это прекрасно”. (Ревность, конечно, ревность. — Г. П., С. С.) Кроме того, фюлер постоянно повторяется. Речь без начала и конца, нагромождение бессмысленных фраз. Знаешь, если бы я себе такое позволил, в Италии наступил бы конец света».

### 3.

Дела в Испании складывались не лучшим образом. В начале марта произошло известное сражение под Гвадалахарой, в котором в основном досталось как раз итальянцам. Эта операция рассматривалась мятежниками как часть общего наступления на Мадрид, и сильному итальянскому корпусу отводилась в ней основная роль. Республиканцы совершенно не ожидали наступления с северо-востока, вдоль главной дороги, ведущей от Мадрида на Сарагосу и далее во Францию, поэтому вначале у франкистов и итальянцев было большое преимущество — и в людях, и в технике.

«Для участия в Гвадалахарской операции мятежным командованием был введен в действие в полном составе Итальянский экспедиционный корпус. Со вспомогательными задачами в операции участвовала испанская дивизия “Сория”. Общая численность войск, с самого начала принявших участие в операции, составила около 60 000 человек; вооружение — 30 000 активных винтовок, 1800 пулеметов, 250 орудий, 140 танков и броневиков, 60 самолетов и 5000 автомашин. Этим силам противостояла слабая 12-я сборная пехотная дивизия республиканцев в составе пяти бригад, растянутая на фронте в 75—80 км и имевшая всего около 10 000 человек, 5900 активных винтовок, 85 пулеметов и 15 орудий...»<sup>1</sup>

В первые несколько дней (с 8 по 12 марта) франкистам удалось продвинуться на значительное расстояние, несмотря на ошибки планирования. «Дороги, установленные для движения, были постоянно забиты автомашинами, создавались частые и длительные пробки, которые неизменно подвергались обстрелу со стороны республиканской авиации. Имея почти полностью моторизованные войска и абсолютное превосходство в силах, итальянцы отказывались от охватывающего маневра, отдав предпочтение лобовому удару и сосредоточению всей массы своих сил и средств на одном шоссе»<sup>2</sup>.

В результате к республиканцам подошли части с других участков фронта, и 12 марта наступление было остановлено. «В дальнейшем, по мере развития операции, войска республиканцев были значительно усилены переброской сил с других участков мадридского фронта. Эти силы образовали вновь созданный 4-й армейский корпус в составе трех дивизий (11-я, 12-я и 14-я). Численность корпуса к концу операции достигла 30 000 человек, 17 000 активных винтовок, 360 пулеметов, 39 орудий, 54 танка и 70 самолетов»<sup>3</sup>. Кстати, танки советского производства успешно подавляли легкие итальянские танкетки. «Боевая работа танков за первый период еще раз доказала абсолютное превосходство пушечного танка республиканцев над пулеметными итальянскими танками Ансальдо»<sup>4</sup>.

Значительную роль в остановке наступления сыграли 11-я и 12-я интербригады, в составе которых, кстати, воевали батальоны итальянских антифашистов. «Испания — не Абиссиния!» Это особенно возмущало Муссолини. Уже 13 марта итальянское командование перешло к обороне. На карту был поставлен между-

<sup>1</sup> Самойлов П. И. Гвадалахара (Разгром итальянского экспедиционного корпуса). М., 1940. URL: <http://nozdr.ru/militera/h/samoilov/index.html>.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же.

народный престиж Италии. После шумихи вокруг «последнего наступления на Мадрид» запахло скандалом. Вообще решение о переходе к обороне оказалось неудачным, так как из-за дезорганизации итальянских войск первая же настоящая контратака республиканцев превратилась в большое успешное наступление. Были захвачены пленные и даже штабные документы.

«Итальянские солдаты, — писал в своей книге П. И. Самойлов, — при первых же боевых столкновениях с республиканцами прямо отказываются воевать... к тому же они подавлены стойкостью сопротивления республиканской пехоты, наступательной силой танков, налетами авиации, чего, по уверениям своего командования, не должны были встретить; обманутые жалуются на крайне слабую поддержку со стороны своей боевой техники, на постоянные перебои в питании, снабжении и т. п.; их офицеры растеряны и слабы»<sup>5</sup>.

Итог операции оказался для итальянцев катастрофическим. «Последний этап Гвадалахарской операции характерен именно успешным наступлением республиканских войск. Итальянский экспедиционный корпус получил тогда наиболее ощутимые удары, они окончательно подорвали его боеспособность и вынудили надолго выйти из боя»<sup>6</sup>. Полностью, например, была разгромлена дивизия «Божья Воля».

В итальянской прессе, впрочем, оптимистично заявлялось, что недели через две «небольшое поражение» будет полностью отомщено. А когда через обещанные две недели ничего такого не произошло, дуче просто запретил распространение в Италии английских газет и приказал расстреливать итальянских антифашистов, которые попадали в руки солдат Итальянского экспедиционного корпуса.

Летом 1937 г. итальянские подводные лодки начали топить даже нейтральные суда, если возникали хоть какие-то подозрения в том, что они доставляют груз испанским республиканцам. Атаки вели именно итальянские подлодки, германских в то время в Средиземном море не было. «Даже зная об этом, Муссолини требовал удвоить число атак. Для нападений на чужие суда теперь использовалось сорок итальянских субмарин, пока дуче не узнал от немцев, что британские моряки (благодаря радиоперехватам) уже знают, на ком лежит ответственность»<sup>7</sup>.

Нацистская Германия потратила на войну в Испании вчетверо меньше и людей, и техники, чем Муссолини. Более того, воспользовавшись занятостью Италии, немцы расширили свое экономическое и военное проникновение на Балканы, прежде всего — в Румынию и Болгарию<sup>8</sup>.

#### 4.

Летом 1937 г. Муссолини отправил в Германию своего зятя.

С 21 по 24 августа Галеаццо Чиано провел с министром иностранных дел Германии бароном Константином фон Нейратом переговоры, по окончании которых встретился с самим рейхсканцлером. Он не произвел на итальянского министра впечатления, слишком уж разными людьми они были, но Чиано остро почувствовал: от Адольфа Гитлера исходит явная опасность. А дуче (об этом Чиано знал) все еще не совсем верно оценивал складывающуюся в Европе обстановку. Муссолини был откровенно заворожен своими выступлениями, а доклады иерархов (чрезвычайно преувеличенные) об успешном перевооружении армии, об усилении военной мощи Италии и ее влияния на международную политику еще больше

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Mack Smith, Denis. Mussolini. A Paladin Book. Granada Publishing Limited, 1983. P. 246.

<sup>8</sup> Ibid., p. 252.

мешали дуче. Он буквально взрывался, узнавая об упущениях и ошибках своих помощников. «Меня не хватает на все сразу». Необходимой энергией он теперь подпитывался от энтузиазма толпы, собирающейся под балконом палатцо Венеция во время его выступлений. Вот они, минуты восторга, минуты просветления. Но, возвращаясь с балкона, еще слыша за спиной восторженный рев толпы, Муссолини уже ворчал: «Жмут сапожища...»

Даже Кларетту Петаччи он теперь упрекал: «Я должен управлять своим народом, я должен всего себя отдавать народу, а посвящаю время тебе». И жаловался (не без тщеславия, впрочем): «Я устал от женщин. Ты этого не поймешь». И не мог удержаться от хвастовства: «Первое время по приезде в Рим был какой-то нескончаемый поток из женщин ко мне в гостиницу. Я спал иногда с четырьмя в день. Некоторые были со мной лишь раз, из чистого любопытства. Сейчас я думаю о них как о проститутках. Они отдавались мне, а я брал. Но я ни одну из них не вспоминаю, а если кого и вспоминаю, то чисто случайно». Ну да, отвечала на это Кларетта, ведь для всех этих женщин, Бен, ты был всего лишь ценным трофеем, способом заработка.

Дуче злился, а как иначе? Если ты не спишь с женщинами, про тебя сразу начинают говорить, что ты или импотент, или извращенец. И все это на фоне горящего мира. И все это на фоне все чаще проявляющейся болезни. «Он прилег отдохнуть (в апартаментах Кларетты в палатцо Венеция. — Г. П., С. С.). И попросил накрыть его пиджаком. Так ему кажется, будто он на войне, когда приходится спать прямо на земле и накрываться курткой. Он хочет выглядеть великим, даже когда болен. Но потом его начало рвать. Он лег, приняв такое же положение, какое использовал Наполеон, когда у него болел желудок, и мало-помалу ему стало легче...» И тут же: «Дай мне револьвер, я выстрелю в себя». Он не мог не играть, любая игра согревала его. «Я не могу болеть! — кричал он Кларетте. И тут же требовал: — Отвернись! Ты не должна видеть, как меня рвет. Уходи! Уходи! Пусть из меня выйдет вся эта желчь, она вся зеленая».

«Он спрашивает, люблю ли я его тело, — записала Кларетта в дневнике 22 ноября 1937 г. — Говорит: “Мне сказали, что у меня одна из лучших фигур во всей Италии”. Я спрашиваю, кто это сказал. Он отвечает: “Один человек на пляже. Он мне сказал: Муссолини, у тебя самый идеальный торс на всем пляже”. А я гордо ответил: “Во всей Италии!” Только вот кривые ноги меня портят. Гадкая Маргерит [Сарфати] часто говорила, что они у меня некрасивые. Мы были с ней вместе два года, а потом расстались. Я не мог любить ее по политическим причинам, уж слишком во многое она вмешивалась...»

Вдруг заболела младшая дочь Муссолини — Анна-Мария. Дуче расстроен. «Она так плакала! Она еще расстроилась из-за того, что платьице стало для нее слишком коротким. И фартучек тоже, ведь она выросла. Она пришла ко мне в комнату и была так расстроена, что не могла даже слова произнести...»

«У меня — двойное дно». Дуче сам это осознавал.

«У детей Эдды (старшей дочери Муссолини. — Г. П., С. С.) гувернантка-немка, и я этого не одобряю, — записала его слова Кларетта в дневнике 15 октября 1937 г. — Представляешь, однажды вечером эта девица почувствовала себя плохо и оставила их без присмотра. Девочка (дочь Эдды. — Г. П., С. С.) на глазах превратилась в бестию, она прямо с ума сошла, начала безостановочно носиться, прямо как ураган. Разбросала бумаги, вещи, прыгала по столам, стульям, каталась по полу. Ты же понимаешь, эта девушка подавляет детей. В восемь, хочется спать или нет, это неважно, — изволь ложиться в постель, утром в семь часов, выспался ты или нет, подъем. Есть тоже надо в определенное время, вне зависимости от чувства голода, и тому подобное. Туда нельзя, сюда нельзя,

этого не смей. Ужас просто! Конечно, дети великолепно владеют немецким, в особенности мальчик, но в остальном — все это сплошная пытка. Я решительно не одобряю такого, тем более что иностранки в доме, как правило, шпионки. Моя жена гувернантку не переваривает. Принцесса (Мария Жозе Бельгийская, принцесса Пьемонтская, жена наследного принца Умберто. — Г. П., С. С.) рассказывала, что у нее двадцать два года была немка гувернантка, и, когда разразилась война, она сразу уехала на родину. Провожая ее, принцесса на вокзале расплакалась, потому что успела привязаться к гувернантке. А та ей говорит: “Не плакать, не плакать, госпожа, я скоро вернуться, я вернуться сюда со своими пруссаками!” Как тебе такое? Если бы эта женщина, например, описала два или три года своей жизни у дочери дуче, представляешь, что было бы? Такая книга разлетелась бы в одно мгновение. Будь гувернантка итальянкой, ей можно пригрозить, запугать, но с иностранкой, с немкой, ничего не поделаешь».

Вот дуче выступает с балкона палаццо Венеция. Вот он салютует на экране кинотеатра. Вот он в фотохронике: кадры с итальянцами-победителями в Абиссинии, с германскими нацистами — на улицах Мюнхена. Дуче от увиденного в Германии в полном восторге. Кларетта передает дуче слова, случайно услышанные ею на улице: «Этот Муссолини вообще-то симпатяга — жаль только, что все время хочет воевать».

Дуче все это нравится.

Кларетта записывает его слова. О иерархах: «Они живут в лучах моего света». О фюрере: «Мы с Гитлером — словно двое богов на облаках».

А вот запись от 27 октября 1937 г. — о китайском после: «Бедняги [китайцы], они настоящие патриоты и страдают от этого. Сама понимаешь, это народ, у которого за спиной четыре тысячи лет цивилизации. Они сделали что могли. Он (китайский посол. — Г. П., С. С.) спрашивал меня, почему Италия не помогает Китаю. Я ответил: по простой причине. Италия никогда не будет там, где Франция и Англия. Если бы Франция и Англия были на стороне Японии, Италия была бы с Китаем. Он сказал, что им [китайцам] очень обидно, что у них нет такого друга и защитника, как Италия. Ну да, но ведь японцы назначают китайского губернатора в каждом местечке оккупированного Китая; конечно, под юрисдикцией Японии и в подчинении Японии, но все-таки — китайского. И спрашивает: может ли заяц противостоять стае волков? Нет, конечно. Так и китайцы. Бедняги, они защищаются, как могут, идут на верную смерть, но ведь, давая себя убивать, не выиграешь войну. Представляешь, их нация увеличивается на миллион ежегодно. Даже у здешнего [китайского] посла семеро детей. Это очень способная нация. Они, как обезьяны, копируют всех и вся. Они всему очень быстро учатся...»

## 5.

После пяти отказов посетить Германию дуче все-таки принял приглашение рейхсканцлера, и в сентябре 1937 г. Адольф Гитлер наконец продемонстрировал ему грандиозные военные парады.

Дуче покорен: он увидел всю мощь Германии.

Тем сильнее раздражают его затянувшиеся испанские события.

«Этот проклятый Франко совсем ничего не делает, — в декабре 1937 г. жалуется он Кларетте. — Он все чего-то ждет, хотел бы я знать — чего? Он замер, наверное, дожидается политического решения проблемы. Он весь в иллюзиях. Внутреннего политического баланса не достичь, если нет внешнего. Когда мне приходят телеграммы с текстом: “На испанском фронте без перемен”, я просто

зверю. Чего он дожидается? Чтобы враг вооружился до зубов? Нельзя давать противнику времени прийти в себя. А Франко дает. Они (франкисты. — Г. П., С. С.) прорвали линию фронта, обратив в бегство красные войска, и надо было воспользоваться этим, ведь так мало нужно, чтобы войти в Мадрид. Так нет же, они остановились. Ждут политической капитуляции. Франко доволен тем, что Япония его признала. Но этого недостаточно, потому что в момент поражения любое признание теряет силу. У испанцев отсутствует чувство времени, в этом они похожи на арабов: им что сегодня, что завтра, что через месяц, что через год. Представь, когда его (Франко. — Г. П., С. С.) спросили, когда закончится война, от ответил: “Это может случиться как в тридцать восьмом, так и в тридцать девятом”. Ну да, в Испании пока всего хватает. Но зачем продлевать войну, когда ее можно завершить, приложив совсем немного усилий и решимости. Лучше пожертвовать сотней тысяч человек за один месяц, но победить в войне, чем потерять пятьдесят тысяч в ходе продолжительной кампании, рискуя проиграть. Ведь войну ведут не генералы. Генералы — это старикашки, которые вечно думают о своих делах и во всем сомневаются. Когда поступает приказ, и они понимают, что его следует выполнять, тогда они говорят: “Нам приказано, так что вперед, будем надеяться на лучшее”. И горделиво говорит: итальянцев в Испании сейчас двадцать пять тысяч, боевой дух у них на высоте, и если бы все были итальянцами, то Мадрид давно был бы взят. Итальянская авиация творит чудеса. Если бы меня послушали, то давно вошли бы в Мадрид. Подумай только, какой бы это триумф был для нашей армии. Но не тут-то было: опять генерал [Франко] остановил наступление...»

«Лучше пожертвовать сотней тысяч человек за один месяц...» От Муссолини такое уже не раз слышали. «Пока Франко раздумывает, враг вооружается... Франко здорово рискует проиграть войну... Так уже было: он дважды попадал в беду, два раза красные прорывали линию фронта... Чтобы пойти в наступление, Франко нужны мы [итальянцы], способные спасти ситуацию при помощи авиации. Да, надо отметить, что он ко мне прислушивается и всегда прислушивался. Он очень уважает меня и мое мнение и даже восхищается мной. (Муссолини и в такой момент не может не покрасоваться перед любовницей. — Г. П., С. С.) Так что я скоро скажу ему, что пора начинать действовать. Спыхватывается. Конечно, я не могу поступить с Франко, как с Де Боно, когда он сомневался, а я приказал: “Марш, в атаку!” Франко — не мой генерал, и я могу советовать ему лишь до определенного момента...» Но и сказанного Муссолини мало. «Этот Франко — идиот, — кричит он. — Уже получил по голове в Теруэле, чего и следовало ожидать. Он думает, что выиграл войну, потому что одержал дипломатическую победу, и его теперь признают во всем мире. Но это смешно, когда в доме враг. Достаточно двух-трех атак, как от мирового признания ничего не останется. Вот уже четыре месяца, как они (франкисты. — Г. П., С. С.) могли одержать победу в этой войне. Если бы у них был размах, как у японцев [воюющих в Китае], сейчас все было бы кончено. Испанцы ленивы, инертны, в них много от арабов. Ведь до 1480 г. Испания была под властью арабов, восемь веков под гнетом мусульманства. Вот откуда у испанцев эта природа — они много едят и много спят. А наш народ — лучший во всей Вселенной. Ест только по необходимости, мало пьет и много трудится. (О эта противоречивость дуче, его непредсказуемые переходы от хулы до хвалы! — Г. П., С. С.) Мы бедны, это правда, у нас на всю страну всего-то пять или шесть миллионеров. Зато мы мудрые, сдержанные и отважные. У нас великий народ, великий. Сицилия тоже была под арабами, но это продлилось всего два века, и никаких следов не осталось. Представь себе, ведь именно на Сицилии в период с тысяча сотого до тысяча двухсотого мог ро-

даться итальянский язык, а не в Тоскане. Ты знаешь удивительной красоты стихи Чулло? Они прекрасны. И это 1200 г., не современность! Ну а потом появился Данте Алигьери, который затмил всех остальных силой своего слова и гениальностью...»

Но прежде всего война.

Мысли дуче заняты войной.

События в Испании требуют пристального постоянного внимания, мощной концентрации, точного анализа, но в поведении дуче вдруг что-то меняется. В долгих монологах, обращенных к любовнице, все чаще звучат растерянные нотки. «Я нахожусь в неприятной ситуации. Я сейчас [одновременно] и министр, и любовник. Твой муж обязательно будет болтать с другими офицерами, в столовой, например, или где-то там еще, и скажет им: “Муссолини, который так проповедует семейные ценности, разрушил мою семью, украл у меня жену”» (запись от 7 ноября 1937 г.). Вот что, оказывается, занимает Муссолини на фоне мировых событий.

А вот запись от 9 августа 1938 г.: «Эдда — сплошное разочарование. Я все еще сержусь на нее за то, что ее маленькая прелестная дочурка лежит в больнице совершенно одна. Хватит уже! Или она прекратит так себя вести, или я заставлю ее прекратить! Я на это способен, знаешь ли. Мне все равно, что она моя дочь, я могу наказать ее, и очень жестоко. Она не следит за домом, постоянно разъезжает, где ее дети, неизвестно, она ими вообще не занимается, бросила их на немецкую няньку, а сама ведет жизнь этакой гранд-дамы, изображает из себя графиню в компании с кретинами разных национальностей. То она на Капри, то в Абетоне, а теперь вот в Венеции. Эдда меня ужасно разочаровала. Я так надеялся, что ее будет интересовать жизнь партии, что она будет помогать бедным там, где они в этом нуждаются. Ведь она могла, как никто другой, быть близкой к народу и помогать мне, как никто другой. Вместо этого она общается с дебильными снобами. С той же Делией ди Баньо, которая превратилась в ее тень и тянет из нее соки. Все кончится тем, что она скомпрометирует Эдду, потому что люди много болтают, а эта их преувеличенная дружба уже всеми замечена и осуждается. Ну да, она любовница мужа Эдды, Галеаццо. В Риме про них так и говорят: “Они поменялись своими Галеаццо”. Когда они однажды пришли в театр со своими мужьями, все тут же сказали: “Партия четвером”. Нет, нет, так дело не пойдет. Все кончится тем, что она скомпрометирует будущее своего мужа, потому что я, когда чувствую запах скандала, иду по костям, для меня не существует в этот момент ни друзей, ни родственников: я просто рву отношения, и все. Я могу расстрелять любого в Италии, чтобы никто не смел и рта открыть!»

Кларетта понимает, Кларетта сочувствует. Стоит случиться размолвке, Кларетта в панике. 3 февраля 1938 г. она, например, шлет своему Бену отчаянное письмо. И отчаяние ее, конечно, не из-за событий в Испании и не из-за угроз Франции или Великобритании. «Любимый, сердце мое полно тревоги. Ты позвонил мне, а меня не было дома. Я не могла тебя слышать. Может быть, ты хотел позвать меня к себе... я сходила с ума от вожделения... мне хочется плакать... Я должна была пойти с матерью навестить бабушку, у которой стало плохо с сердцем... Когда я вернулась, ты звонил во второй раз, но напрасно. А мне так хотелось увидеть тебя и попросить извинения. О, прости меня и не сердись — это было не по моей вине. Я всегда жду твоего звонка, и в этом заключается смысл всей моей жизни. Я люблю тебя, и твой голос единственная моя радость и блаженство. Видеть тебя, говорить с тобой — вот мое счастье. Скажи мне, что ты не слишком расстроен. Я обожаю тебя и прошу меня простить. Мне хочется бежать к тебе, хочется посмотреть в твои глаза, чтобы убедиться, что они такие же ла-

сковые, как и всегда. Прими, пожалуйста, мои извинения и признания в любви, преданной и безграничной. Я вся дрожу от мысли, что разочаровала тебя...»

«Сердце полно тревоги... Хочется плакать... Прости...»

А причина этой паники? Не созвонились!

## 6.

Начало 1938 г.

Близится аншлюс Австрии.

Муссолини все чаще поглядывает в сторону Германии, хотя привычно ведет все ту же двойную игру. «В феврале 1938 г. он подтвердил немцам, что продолжает готовиться к сражению с британцами. Старался успокоить британцев, предлагая очередной “пакт дружбы”. В частных беседах дуче признавал, что национализация Австрии неизбежна, хотя ошибочно полагал, что Гитлер заранее предупредит Италию, чтобы подготовить публику к внезапной смене курса»<sup>9</sup>.

Но Гитлер ни о чем предупреждать не стал. В марте он аннексировал Австрию, сообщив Муссолини о своих планах только в самый последний момент. Австрийский канцлер Курт Шушниг был отправлен в концлагерь, а Италия лишилась удобного буферного государства на границе с опасным соседом. Через информаторов (полиции и секретной службы) дуче знал, конечно, что общественное мнение Италии, несмотря на внешне восторженную реакцию парламента, отреагировало на события крайне негативно. И вот странно. «Сдав» Австрию, Муссолини распорядился начать строительство укреплений вдоль границы с рейхом.

## 7.

В начале мая 1938 г. Адольф Гитлер снова посетил Италию. Это был деловой, но пышный, даже торжественный визит. Рим, Неаполь, Флоренция, Генуя — теперь уже дуче старался поразить своего «друга-врага». В записях Кларетты дуче чуть не лопаются от гордости — за «мощь нашего войска», за «великий флот», за «непобедимые подводные лодки», тоже показанные рейхсканцлеру. «Муссолини лично занимался приготовлениями и внимательно проверил весь маршрут, чтобы убедиться, что дома хорошо покрашены (а если необходимо, то снесены), установлены фальшивые деревья и декорации фасадов, и создать иллюзию богатства и мощи. Он был стопроцентно уверен, что все в Италии у него организовано более величественно, чем в Германии, а итальянские газеты гордо писали о демонстрации новых видов оружия. Руководство армии, однако, было среди тех, кто создавал, что это всего лишь декорация, и маршал Грациани отмечал с недоумением, что на некоторых броневиках стояли деревянные пушки»<sup>10</sup>.

«Представляешь, — рассказал дуче своей любовнице о военных маневрах, проведенных в Неаполитанском заливе. — Какое-нибудь течение, какая-нибудь авария — и случилось бы страшное. Даже адмирал Рэдер, который был рядом со мной, этот мужественный человек, сказал: “Три минуты [синхронного погружения], но как долго они тянутся”. И когда всплыли все 86 [подводных лодок] без всяких происшествий и одновременно, это был такой потрясающий маневр, что все разволновались не на шутку. Они (подлодки. — Г. П., С. С.) были идеальны. [Адмирал граф Артуро] Риккарди просто молодчина. Я сам приказал: “Они (подлодки. — Г. П., С. С.) должны пройти так близко к [флагману] “Ка-

<sup>9</sup> Mack Smith, D., op. cit., p. 252.

<sup>10</sup> Ibid., p. 254—255.

вур”, чтобы было видно, блондины моряки или брюнеты”. Немцы обомлели, они даже представить такого не могли. Они стояли с сияющими глазами, смотрели и даже не знали, что сказать. Это были фантастические маневры. А утром они наблюдали за римским шагом с удивлением и восторгом, а потом сказали мне: “Мы потратили долгие годы на то, чтобы научить наших солдат маршировать, а ваши освоили это всего за несколько месяцев”. Это великолепно! Не говоря уже о том, что было, когда проходили [на параде] длинными рядами пушки, танки. Они были поражены мощью нашего войска...»

И далее (запись от 10 мая 1938 г.): «Флорентийцы тоже все организовали как надо. Гитлер был очень доволен, все время хохотал. Да, наконец-то. Мы здорово повеселились, в особенности с Геббельсом. Он ужасно походил на итальянцев, у него такое потрясающее чувство юмора! Они мне поведали обо всех неожиданностях и перипетиях моего (прошлого) визита в Берлин. Как дирижер стучал дирижерской палочкой по головам и пропускал момент, когда надо начинать играть. А в Кампо ди Марте звонарь все звонил, звонил в колокол и никак не хотел останавливаться. Ему отдали неправильный приказ, и он, будучи педантичным пруссаком, не прекращал звонить. “Мне было велено звонить до двадцати ноль-ноль, и я буду звонить до двадцати ноль-ноль”, — сказал он. А мы должны были выступить, но этот звонарь звонил не прекращая. Много времени ушло на то, чтобы убедить упрямого пруссака, что приказ был ошибочным». «Ты знаешь, — записала Кларетта слова дуче, — эти немцы такие симпатичные, а Гитлер рядом со мной превращается в мальчишку».

Ну где еще можно прочесть такое? Где можно с такой силой ощутить эту страшную и нелепую коричнево-черную Атлантиду, к счастью, уже погружившуюся на дно истории?

«Гитлер был так растроган, что даже плакал, когда уезжал. Он сказал мне: “Это были самые прекрасные дни в моей жизни, я их никогда не забуду. Шесть дней, похожих на сон. Я жалею, что не стал архитектором, я выбрал неправильный путь”. А я ему ответил: “Для вашего народа этот путь правильный”. Он сказал: “Да, это так, но не это было моим призванием. Я никогда не забуду время, проведенное здесь”.

Он был тронут, в его глазах блестели слезы.

Знаешь, я ведь запретил кричать: “Да здравствует дуче!”, поэтому все везде выкрикивали что-то невнятное. Прямо за нашими спинами висел громкоговорящий, который буквально оглушал. Единственное, что было слышно, это рев толпы. На пьядца делла Синьория разыгралось незабываемое действо, люди напирала и напирала, их невозможно было остановить. В театре я строго смотрел по сторонам, так что всем было неловко. Там собирались устроить овации с криками “Дуче, дуче!”, но я их остановил. И все кругом просто без устали нас разглядывали. Зато люди дали волю чувствам, когда я проехал по улице один, после того как отвез Гитлера. Они не давали моей машине проехать, все кричали: “Дуче! Дуче!” Но должен сказать, перед ним они тоже не упали лицом в грязь. Представь себе флорентийцев, которые кричат: “Гитлер! Фюрер!” — ведь это еще более потрясающе, чем когда это делают римляне и неаполитанцы».

Поистине, невероятная, давно затонувшая Атлантида.

«Когда я ездил куда-нибудь с официальным визитом, — делился дуче своими чувствами с Клареттой, — я никогда, ни разу не дал ни одного повода для сплетен. Я забочусь о своем престиже, в репутации — моя сила. Единственная женщина, с которой я встречался, — это жена префекта. Я прошу тебя (это дуче говорит Кларетте, своей любовнице. — Г. П., С. С.), говори о дамах с уважением, если хочешь, чтобы уважали тебя. Я побывал на заводах и фабриках. Муж-

чины и даже женщины в рабочих комбинезонах — это так здорово. Хотя, когда женщина так одета, это производит немного странное впечатление. Все кончается тем, что они теряют свою красоту в сплошном грохоте и пыли. Но вообще все эти люди сильные, здоровые, просто молодцы. Я доволен, но немного устал, столько километров проехал. Со мной фотографировались даже официанты, даже повар — он такой замечательный, жаль, что я мало ем. Я приказал заплатить рабочим за субботу и воскресенье, а многодетным семьям подарил по 250 лир...» И далее: «Я смотрел на новое поколение, они все такие, какими я их хотел видеть: сильные, красивые, здоровые, ходят в бассейны, в спортивные залы. Они просто великолепны. Прекрасная молодежь — те, кому от четырнадцати до двадцати. Я зашел в одну школу во время урока, когда учительница рассказывала о движениях микроба в организме. Там было изображение человеческого тела со всеми органами — желудком, печенью. Учительница спросила: “Мне продолжать урок?” Я ответил: “Да, конечно, продолжайте”. Но все девочки стали говорить: “Какие микробы, хватит про микробов!” И как закричат: “Дуче! Дуче!” Потом я зашел в приют для девочек, где в каждом зале со мной говорила какая-нибудь малышка. Одна из них мне сказала: “Знаешь, дуче, как здорово вечером ложиться вот в эту кроватку, такую мягкую и теплую, и знать, что это ты ее нам подарил”. Потом, в столовой, другая девочка говорит: “Дуче, эту вкусную еду, все это даешь нам ты. Сегодня у нас ризотто, а иногда бывает суп”. И все в таком духе. Они преданы мне до фанатизма».

Преданностью пропитан и фашистский гимн «Джовенецца» («Юность»):

Да здравствует народ Героев,  
 Да здравствует бессмертная Родина.  
 Твои дети возродились  
 С верой в идеал,  
 В мужество твоих бойцов,  
 В доблесть первопроходцев.  
 Видение Алигьери  
 Сегодня сверкает у всех в сердцах.

Припев:

Юность, юность,  
 Весна красоты,  
 Время превратностей жизни,  
 Твоя песня звучит и идет!  
 Это ради Бенито Муссолини,  
 Это ради нашей славной Родины —  
 Эйя эйя алала,  
 Эйя эйя алала!

И далее:

В пределах Италии  
 Переродились итальянцы.  
 Их изменил Муссолини —  
 Ради завтрашней войны,  
 Ради славы труда,  
 Ради Мира и лавров,  
 Ради заключения тех,  
 Кто от Родины отрекается.

<...>

Поэты и ремесленники,  
 Землевладельцы и крестьяне  
 Клянутся в верности Муссолини,  
 Нет даже бедного квартала,  
 Который бы не послал свои отряды,  
 Который бы не развернул флаги  
 Фашизма-освободителя.

## 8.

Ну какие тут комментарии?

## 9.

Четырнадцатого июля 1938 г. в Италии был опубликован Манифест о расе (Manifesto della razza). Теперь итальянцы были отнесены к арийской расе. Новые законы позволяли властям конфисковать собственность евреев, запрещали евреям многие престижные профессии в области торговли, банковского дела, образования и государственного управления. Одновременно подчеркивалось расовое превосходство итальянцев над «испанцами, румынами, греками и левантийцами»<sup>11</sup>. Запрещались браки и вообще сексуальные отношения между итальянцами и евреями.

Таким образом Муссолини утверждал свою солидарность с нацистами.

«Следует признать, однако, что, несмотря на обычное единогласное одобрение в парламенте, новая расовая политика была плохо принята широкой публикой. Итальянцам буквально приказывали учиться чувствовать себя расой господ и подавлять чувство жалости к преследуемым. Газеты печатали статьи, оправдывающие расовые преследования. Нигде не должен был упоминаться протест, выраженный папой»<sup>12</sup>.

Возмущение, выражаемое некоторыми западными демократиями, казалось, доставляет дуче удовольствие. Поскольку и Ватикан продолжал протестовать, Муссолини вновь начал проявлять самый открытый антиклерикализм и однажды «поразил свой кабинет, заявив, что ислам, возможно, является более эффективной религией, чем христианство»<sup>13</sup>.

## 10.

Атлантида.

Воистину, Атлантида.

Древняя, темная, страшная Атлантида.

«Когда я умру, — записала Кларетта слова дуче 12 июля 1938 г., — не хочу никаких траурных церемоний, поминальных речей. Ничего не надо. И памятник не нужен. Просто квадратный камень два на два с большой буквой “М” в центре и надписью “1883” с одной стороны и датой смерти с другой. Я знаю, когда умру, я точно знаю. Но ты не спрашивай. Я не могу этого сказать. Нельзя. Ты будешь очень переживать. Но потом успокоишься и будешь рассказывать обо мне...»

<sup>11</sup> Mack Smith, D., op. cit., p. 256.

<sup>12</sup> Ibid., p. 257.

<sup>13</sup> Ibid., p. 258.

Колонии — вот о чем дуче неустанно думает. Ведь колонии — это не просто золото, медь, железо, нефть, это огромное количество цветных солдат, которых несколько не жалко (они не арийцы, они дикари). Да, дуче любит музыку Бетховена, но при этом помнит о еврейском происхождении композитора. Да, дуче против невежества «попов», но верит и в астрологические прогнозы, и в свою «исключительную» интуицию. Впрочем, интуиция часто обманывает диктаторов. Этому есть логическое объяснение. Успех не позволяет достаточно критически воспринимать настоящее, следовательно, представления об окружающем мире неизбежно теряют связь с реальностью. Пытаясь ее сохранить, дуче тратит массу времени на ознакомление с доносами и результатами прослушки телефонных разговоров.

Он любит наблюдать за приготовлениями к торжественным парадом.

Он сообщает в полицию (сам) о случайно замеченных нарушениях дорожных правил. (Дуче видит все!) Он обращает внимание даже на самые случайные мелочи. Однажды американский консул в Неаполе задал первому попавшемуся ему на улице нищему вопрос о вполне возможной войне, и нищий этот, к изумлению консула, ответил, что боится не войны. А чего же? Революции! Когда доклад попал в руки дуче, он долго и довольно смеялся. «Даже наши нищие настолько довольны условиями жизни при фашистском режиме, что боятся не войны, а революции!»

При этом дуче все чаще и чаще раздражался грубой бранью по адресу своих любимых итальянцев — ленивых, глупых (его определения), не умеющих думать о будущем. Рождаемость падает, тяга к алкоголю растет, пора, давно пора жестко лечить тайные язвы нации. Построить Великую Империю могут только физически крепкие, духовно сильные люди. Дуче готов свести прекрасные густые леса Апеннин — для того только, чтобы сделать климат Италии более суровым: ну как еще приучить нацию к испытаниям?

И вот еще важный вопрос. Кому верить? На кого опираться? Даже самые близкие ведут себя не так, как следовало бы. «У Эдды [очередной] ужасный нервный срыв, — жалуется дуче на собственную дочь (запись в дневнике Кларетты от 5 марта 1940 г.). — Она все курила, курила без конца и целый день играла в бридж. Я сержусь на нее, причем давно. Она не слушается: курит, играет в азартные игры, выпивает. А сейчас настолько истощена, что ей даже запретили садиться за руль, курить, читать и поздно ложиться спать. Все это я сам ей уже говорил. Она дошла до того, что режется в бридж с этими глупыми гусынями, вот идиотизм. А ведь я ей говорил: “Поживи хоть немного жизнью режима. Сделай что-нибудь доброе, стань ближе к народу, так ты сделаешь доброе дело и для себя самой”. Никакой реакции. А иностранные газеты пишут, что я нахожусь под влиянием Эдды, прислушиваюсь к ее советам, постоянно с ней встречаюсь, что она невероятно важная фигура...»

Он жалуется Кларетте: «Мне жаль, когда я вижу, что умирает рыбка». И уверяет ее: «Я мог бы жить в шалаше и питаться одной травой». При этом душу дуче переполняет огромное, никогда не преходящее, поистине всеобъемлющее желание: скорее вступить в войну! Не в воображаемую, а в настоящую войну!

Вот только на кого опереться?

Предают даже проверенные в деле соратники.

О *Чезаре де Векки* (1884—1959), одном из организаторов «марша на Рим», дуче прямо говорит, что вынужден все восемнадцать лет существования режима буквально тащить за собой «этого Чезаре». «22 октября 1922 г. (дата “похода на Рим”. — Г. П., С. С.) он уже хотел предать нас для того, чтобы получить какой-

нибудь портфель в новом кабинете, если бы кабинет был образован коалицией различных партий». Муссолини помнил все ошибки, допущенные Де Векки. «Он возбудил гнев Господний угрозой отнять пенсии у инвалидов войны и потом произнес речь, которая просто шокировала режим. Затем в Африке (назначенный губернатором итальянского Сомали) он сделал все возможное для того, чтобы силой оккупировать территории, уже принадлежавшие нам, и устраивал там жестокие и бесполезные массовые убийства...»

И все же он прощает иерарха, дает ему все, что тот просит.

В сорок один год Чезаре де Векки уже сенатор, король жалует ему графский титул. Де Векки назначен президентом Института истории Рисорджименто, он глава Министерства образования. И это правильно. Именно Де Векки приучил преподавателей и школьников ходить по струнке, заменил изучение скучных классиков современной милитаризованной культурой, заставил преподавателей выходить на занятия в черных фашистских рубашках. Даже неумолимый Акилле Стараче начинает злиться на «высочку». В конце концов, в октябре 1936 г. Чезаре де Векки (к облегчению многих иерархов) отправлен подальше от Рима — губернатором Додеканеса, архипелага в Эгейском море.

Агенты, приставленные к Де Векки, ежемесячно докладывали: «Когда Его Превосходительство едет в автомобиле по улицам города, он требует, чтобы все жители узнавали его машину и останавливались, поднимая руку в римском приветствии; если это не делается, он выходит из машины и оскорбляет всех подряд — и горожан, и военных, угрожая серьезными наказаниями тем, кто не остановился и не поприветствовал его. Он даже поменял клаксон на сирену, чтобы его сразу узнавали все; и горе тем, кто не остановится и не поприветствует...»

А министр корпораций *Джузеппе Боттаи* (1895—1959)?

Он член Большого фашистского совета. Он интеллектуальный иерарх фашизма. Он автор многих ученых книг, основатель журналов «Фашистская критика» (*Critica Fascista*) и «Первенство» (*Primato*). На Великой войне был ранен, в марте 1919 г. основывал фашистские отряды в Риме, затем — боевую squadру в Лацио. Во время «марша на Рим» командовал колонной, которая вошла в город через ворота Сан-Лоренцо.

Казалось бы, верный, много раз проверенный товарищ. Но Муссолини не любил Джузеппе Боттаи за его чрезмерную резкость, за неуместную (на взгляд дуче) критичность. Теоретик фашистского корпоративизма занимал пост заместителя министра, а затем в 1929—1932 гг. — министра корпораций. Был Боттаи и губернатором Рима, и гражданским губернатором Аддис-Абебы (после провозглашения Империи), даже министром образования (1936—1943). Почему нет? Истинный фашист должен уметь все. К тому же, в отличие от многих других сподвижников, Джузеппе Боттаи никогда (и это чрезвычайно важно) не претендовал на первенство в фашистской иерархии и (хотя сам не одобрял сближения Италии с нацистской Германией) по первому же приказу дуче начал внедрять расовые законы...

А *Этторе Мути* (1902—1943)?

Этот моложе многих, родился в Равенне в 1902 г.

Чтобы попасть на войну, он подделал дату в документах.

Активный участник «марша на Рим», полковник фашистской милиции.

Несомненно, Этторе Мути смелый человек, настоящий сорвиголова. Во время эфиопской кампании он однажды прошел на бреющем полете прямо над центральным вражеским аэродромом, не каждый решится на такое. Неслучайно в октябре 1939 г. именно Этторе Мути был назначен генеральным секретарем партии, заменив опытного Стараче.

Но вот запись в дневнике Галеаццо Чiano.

«Он (Мути. — Г. П., С. С.) хороший товарищ, привязанный и преданный, но недалекий. Он не может удержаться от соблазна строить планы исходя из своих личных соображений. Вся его политика основывается на том, чтобы покровительствовать одним и обманывать других. Все остальное для него не существует. Он не в состоянии понять существа проблемы. Совершенно бессознательно он действует по своему усмотрению и все меньше внимания уделяет тому, что я ему говорю. Он считает, что оказывает влияние на Муссолини, но не понимает того, что только последний является суровым судьей. Дуче мудро не противоречит своим собеседникам, не спорит, не возражает, но, когда нужно, уничтожает их самыми беспощадными методами. Мути полагает, что это он играет в кошки-мышки с Муссолини, но в действительности мышкой является он сам...»

Может, Луиджи Федерцони (1878—1967)?

Отец его был известным специалистом по Данте.

Впрочем, фашистским воззрениям сына это не помешало.

Человек откровенно правых взглядов (но всегда за союз с католиками), Федерцони не раздумывая поддержал Муссолини в «марше на Рим». В первом правительстве он — министр колоний, а после убийства депутата Маттеотти — министр внутренних дел. Везде полезен и исполнителен, но достаточно ли этого в сложных, постоянно меняющихся ситуациях?..

Или Роберто Фариначчи (1892—1945)?

Личной храбрости Роберто Фариначчи было не занимать.

Всю Эфиопскую кампанию, пройдя ускоренное обучение летному делу, он провел рядом с Галеаццо Чiano. Однажды совершил вынужденную посадку на вражеской территории, откуда через два дня его вывез на своем самолете Бруно Муссолини. Потерял руку при случайном взрыве гранаты, за что злоязычный Мути прозвал его «Мартинио-рыбаком». В 1938 г. дуче именно Роберто Фариначчи отправил в Испанию к генералу Франко. Роберто договорится! К тому же с самого начала Фариначчи был сторонником сближения с Германией...

Или Итало Бальбо (1896—1940), еще один герой «марша на Рим»?

Четыре перелета через Атлантический океан опять сделали его героем. Кстати, самый эффектный из перелетов состоялся в 1933 г., когда 24 гидросамолета «Савойя Маркетти» вел через океан лично он — Итало Бальбо, молодой министр авиации. Муссолини приказал ему создать военно-воздушные силы Италии, и Бальбо приказ выполнил. Но для полного доверия Бальбо, пожалуй, слишком популярен. Дуче с удовольствием присвоил «летающему» министру звание маршала авиации, но почти сразу после этого отстранил от реальных дел (взяв на себя министерства — и военное, и военно-морское, и авиации) и отправил подальше — в Ливию, генерал-губернатором.

Пост, конечно, престижный, но иерарх обижен.

Не болтать всюду о случившемся у Бальбо ума хватило, но Ренцо Кьериче, человеку *своему*, близкому, Бальбо все же высказал свои огорчения (телефонный разговор был записан). «Мне не на что жаловаться. Я и не жауюсь. Конечно, мне жаль оставлять дом, работу. Но я уезжаю [в Ливию] спокойно и радостно. Я не из тех, кто хлопает дверью, тем более что я всем доволен, даже несмотря на то, что мне грустно. И я звоню тебе вот зачем. Возможно, кто-то из наших друзей воспримет это дело не столь одобрительно. Так вот, ты всем дашь знать, что я тебе уже писал (или говорил, или звонил), что я совершенно удовлетворен случившимся, я доволен, и мне не на что жаловаться. Я не хочу, чтобы болтуны были большими роялистами, чем король. Как только новость о моем новом назначении будет официально объявлена, сделай вот что: сообщи всем местным секретарям,

что я, конечно, не мог оставаться министром всю жизнь, что я хорошо вознагражден, что мои министерские обязанности берет на себя сам шеф и, следовательно, мне нечего возразить. Всем ясно объясни: Итало доволен. Итало должен уехать. Ливия — важная колония, и так далее».

В январе 1934 г. Итало Бальбо улетел в Ливию. Он был против начавшегося сближения с нацистской Германией, он противился всем этим новым расистским новинкам. Обиды его копились. Наверное, в злосчастный день 25 июля 1943 г. он принял бы участие в низложении дуче, но этого не случилось: 28 июня 1940 г. самолет Итало Бальбо (видимо, по ошибке) был сбит своими же, итальянскими, силами ПВО.

«Умер Бальбо, — записал в рабочем дневнике Галеаццо Чиано. — Он погиб в результате трагической ошибки. Зенитная батарея в Тобруке обстреляла его самолет, приняв за английский. Эта новость очень меня огорчила. Бальбо не заслуживал такого конца. Он был человеком неукротимой энергии, неугомонным; любил жизнь во всех ее проявлениях. У него было больше порыва, чем таланта, больше живости, чем пронизательности. Он был порядочный человек, и даже в политических стычках, которые доставляли наслаждение его пылкому темпераменту, он никогда не опускался до бесчестных и сомнительных приемов. Он не хотел войны и противился ей до последнего. Но с того момента, когда вопрос был решен, он говорил со мной языком преданного солдата, и, если бы судьба не была против, он был бы готов действовать с решимостью и отвагой...»<sup>14</sup>

Ну, еще *Акилле Стараче* (1889—1945).

В личной его преданности никаких сомнений нет, но вот еще одна запись в дневнике Чиано: «Я говорил со Стараче о внутреннем положении и сказал ему, что некоторые его методы не способствуют искоренению антифашизма, напротив, они создают его. Вечером на виа Венето я видел, как избили совершенно безобидного человека (патриота и фашиста); его избила небольшая группа бандитских элементов, которые защищены своей принадлежностью к партии и уверены в своей безнаказанности. Они избили этого фашиста, прибывшего из-за границы, за то, что он сказал “лей”, а не “вои”<sup>15</sup>. Моего появления было достаточно, чтобы быстро покончить с инцидентом, но взгляды собравшейся толпы не предвещали ничего доброго. Безответственные действия сквадристов вредны, и я собираюсь поговорить с дуче об этом. Я далеко не сожалею об избиениях, когда они заслужены, но чувствую отвращение при виде таких вот идиотских и трусливых актов насилия. К несчастью, это вошло в привычку у многочисленных наемников, используемых партийными главарями...»

Кого ни возьми, у каждого минусы. Даже у Кларетты Петаччи, даже в ее окружении. Слухи о родственниках Кларетты приводили дуче в бешенство. Этим-то чего не хватает? Почему вместо честной работы на нацию Марчелло, брат Кларетты, спекулирует валютой и золотом, поставками в армию, помогает (конечно, за деньги) случайным «друзьям»? Руководитель ОВРА<sup>16</sup> не раз докладывал Муссолини, что «этот Марчелло» причинил его репутации вреда больше, чем пятнадцать проигранных сражений.

Даже Кларетту дуче начинал обрывать. «Дорогая, я прошу тебя больше никогда не спрашивать меня про работу, в особенности по телефону. Ни о том, с кем я вижусь, ни о том, что обсуждалось на заседаниях. Ты же понимаешь, что это

<sup>14</sup> Mack Smith, D., op. cit., p. 310.

<sup>15</sup> Слова *voi* и *lei* в итальянском языке означают «вы». Однако *voi* — это обычная форма обращения, а *lei* — вежливая. Фашисты настаивали на полном устранении обращения «лей». Нередко тех, кто так говорил, избивали.

<sup>16</sup> ОВРА (OVRA) — «Орган надзора за антигосударственными проявлениями» (*Organo di Vigilanza dei Reati Antistatali*), политическая полиция Италии.

непозволительно. Я не собираюсь отчитываться о своей работе. Мои телефоны могут быть под контролем».

Кларетта понимала. И принимала к сведению. Муссолини — вождь. У него железная воля. Но странно все-таки. Железная воля, непреклонный вождь, а жалуется. «Ты такая молодая... Когда я дострою твою виллу, ты меня бросишь. Просто спишешь со счетов, и все... Я старею, а ты еще будешь совсем молоденькая, и ты скажешь: “Ведь я ему подарила свои юные годы, так что вполне справедливо, что он дарит мне дом. Теперь мы квиты”. Ты заведешь себе молодого любовника, с густыми волосами, сильного. И будешь ему говорить: “Прости, дорогой, знаешь, мне сейчас надо сходить к этому старику. Ему мало надо, так, одни капризы. Он надоедливый, я знаю, но люблю-то я тебя”. Он отпустит тебя ко мне, ты придешь и будешь со мной, преодолевая отвращение...» Должен ли так говорить создатель Империи?

Семнадцатого мая 1938 г. Кларетта записала впечатления дуче от поездки в Геную. «Ты бы видела, какие там потрясающие бассейны. Один закрытый, два открытых — с трибунами для зрителей, чтобы наблюдать за соревнованиями. Там не столько девушки хороши собой, сколько молодые люди — крепкие, мускулистые, ловкие. Замечательная молодежь. Я имею в виду, в смысле эстетическом, с точки зрения расы. Зато обед — это прямо какая-то сходка мумий, от этих официальных обедов один вред. Женщины какие-то старые, уродливые. Речь идет о приближенных к власти, я понимаю, но пора все менять: долой эти обеды с мумиями. Видела бы ты, какие страшилища, и все крашенные. Там не было ни одной женщины моложе пятидесяти лет. Рядом со мной сидела маркиза Гунччардини, ей за шестьдесят, длинный нос крючком, вся рябая. Эти обеды — просто кошмар какой-то. Конечно, я понимаю, что к власти приходят вовсе не в юном возрасте. Но невозможно находиться среди сплошных стариков, это деморализует, вгоняет в депрессию...»

## 11.

А в Испании идет война.

Страна выжжена и разбомблена.

Но такая выжженная Испания — прекрасный плацдарм для отработки будущих войн, считал Муссолини. Нужно проверить новую стратегию, новое вооружение, новые методы ведения тотальной войны, такие, как, скажем, бомбардировка баскского города Герника эскадрилей германского легиона «Кондор» 26 апреля 1937 г. Через Испанию, охваченную гражданской войной, прошло в общей сложности 30 тысяч солдат и офицеров вермахта и 150 тысяч итальянцев.

С другой, республиканской, стороны в Испании воевали почти две тысячи советских военных советников и добровольцев. Там побывал создатель советской военной разведки Ян Берзин, принимали участие в боевых действиях будущие маршалы и генералы — Николай Воронов, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков, Павел Батов, Александр Родимцев. Главной особенностью испанской гражданской войны стали интербригады, созданные антифашистами из граждан 54 стран мира, собственно, это было первое боевое столкновение мировых демократических сил с силами фашизма. Через интербригады прошли будущий югославский лидер Иосип Броз Тито, мексиканский художник Давид Сикейрос, французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери, будущий бундесканцлер ФРГ Вили Брандт. Анархисты, социалисты, коммунисты, республиканцы, католики, христиане, кто только не воевал на стороне республиканцев. Был там либерал

Карло Роселли, были коммунисты Марио Анджелони и Луиджи Лонго, социалист Пьетро Ненни, а с ними — Пальмиро Тольятти, Андре Мальро, Мате Залка (генерал Лукач), Михаил Кольцов, Пабло Неруда, Эрнест Хемингуэй, Людвиг Ренн, Мартин Андерсен-Нексе, Эрвин Киш, Жан-Ришар Блок, Николас Гильен, Джон Дос Пассос, Вилли Бредель и многие другие.

Да, анархисты посмеивались над коммунистами: «У вас там в России — государство, а мы — за свободу». Да, анархисты выступали против тюрем, считая, что предателей надо просто ставить к стенке, а не держать в тюрьме, как рабов. Да, итальянские фашисты сжимали кулаки: «Всем бы вам сейчас касторки по полной!» Но Испания, выжженная неистовым солнцем и бомбежками, перепаханная снарядами, напитанная трупным запахом, была в ту пору той удивительной странной местностью, где поистине выковывался новый человек. Не какой-то мифический, а *новый*.

К сожалению, у республиканцев не было шансов на победу. Помощь нацистской Германии и фашистской Италии значила слишком много, что не раз отмечал в своем дневнике Галеаццо Чиано. «Единственная опасность, которую можно предвидеть в настоящее время, — это возможность массового вмешательства французов со стороны Пиренеев». Хотя вряд ли. Лондон и Берлин были заранее оповещены о том, что Италия (в случае выступления французов на стороне республиканцев) сразу пошлет в Испанию регулярные дивизии. «Это означает, — записывал Галеаццо Чиано, — что мы будем вести войну против Франции по всей испанской территории». И указывал тут же: «Муссолини, когда он что-нибудь получает, всегда просит еще чего-нибудь». И еще: «Дуче сообщил мне, что информировал короля о предстоящем военном союзе с Германией. Дуче не любит немцев, но гораздо больше не любит, ненавидит французов, считает их способными на внезапную атаку против нас, поэтому был бы доволен, если бы Германия взяла на себя обязательство оказать военную помощь Италии»<sup>17</sup>.

Многое можно прочесть в дневнике Чиано. Вот запись от 8 января 1939 г. «Сеньор Анос привез дуче от генерала Франко послание, в котором дается общая оценка положения и говорится о скорой победе. Дуче одобрил послание и рассказал, как оно было передано, охарактеризовав все это как “доклад подчиненного” (тщеславие Муссолини просто невероятно. — Г. П., С. С.). Затем мы подробно рассмотрели вместе с дуче, какие действия надлежит предпринять: более тесные отношения с Югославией, Венгрией, Румынией и, возможно, Польшей — в целях обеспечения сырьем. Союз с Испанией, как только война будет выиграна. Урегулирование счетов с Францией. Мы не требуем Ниццы и Савойи, ибо они находятся по ту сторону Альп. Корсика: автономия, независимость, аннексия. Тунис: урегулирование вопроса о меньшинствах для итальянцев, автономия бея, итальянский протекторат. Джибути: свободный порт и открытая железная дорога, совместная администрация с Францией, аннексия. Суэцкий канал: широкое участие в администрации. Ликвидация Албании по соглашению с Белградом, при случае — содействие созданию сербской зоны в Салониках».

В феврале 1939 г. режим каудильо (с временной столицей в Бургосе) был официально признан Францией и Великобританией, а 28 марта пал осажденный Мадрид. Уцелевшие интернационалисты уходили из Испании. 1 апреля 1939 г. генералиссимус Франко торжественно объявил по радио об окончании долгой гражданской войны. В тот же день Испанию официально признали США, а самого Франко фалангисты провозгласили пожизненным главой государства. Принимая эту честь, каудильо дал торжественное клятвенное обещание, что после

<sup>17</sup> Mack Smith, D., op. cit., p. 19—20.



его смерти Испания снова станет монархией, и даже назвал преемника — внука короля Альфонса XIII, принца Хуана Карлоса де Бурбона.

Так оно позже и произошло.

Но стоило ли все это заплаченной цены?

По разным оценкам (точных данных до сих пор нет) за годы гражданской войны в Испании погибло от полумиллиона до трех миллионов человек, страну навсегда покинуло более 600 тысяч испанцев. Почти 40 тысяч «детей войны» было вывезено в разные страны, из них около трех тысяч — в СССР.

Узнав о падении Мадрида, о вырванной, наконец, победе над республиканцами, дуче вышел на балкон палатцо Венеция с тяжелым географическим атласом в руке.

«Черные рубашки! Жители Рима! — торжествующе прокричал он в толпу. — Вы — счастливые свидетели того, как мы творим мировую историю. Вот в моих руках атлас. Сегодня мы переворачиваем в нем новую страницу!»

Толпа ликовала. Разминка перед Второй мировой завершена.

А во Франции Альбер Камю, философ и писатель, с горечью записал: «Именно в Испании мы узнали, что ты можешь быть прав и все же проиграть, что сила может победить дух и что бывают времена, когда смелость не вознаграждается».

## Глава тринадцатая.

### «Нам нужна особая аристократия...»

#### 1.

Власть дуче уже ничем не ограничивалась.

Но где же, где они, пусть и разгромленные, антифашистские силы? Конечно, кто-то бежал из Италии во Францию, кто-то отошел от политики, затаился, кого-то насильно выслали на острова. Практически отсутствовали «свои» в парламенте, остро складывались отношения между немногими оставшимися в стране социалистами и коммунистами. Каждый настаивал на своем, никакого единства вообще не существовало. Решительнее всех призывали к борьбе с режимом коммунисты Пальмиро Тольятти, Умберто Террачини и Антонио Грамши, их партия была достойно представлена в Коминтерне. Ну а парламентский путь...

Тут действительно были сложности. Амадео Бордига, один из основателей компартии, прямо утверждал, что парламент — не для коммунистов. Антонио Грамши гораздо глубже понимал опасную суть фашизма, но ему приходилось руководить из-за рубежа, это создавало свои сложности. А немногие оставшиеся в стране социалисты в принципе отвергали насилие, выступали за переговоры в решении основных экономических и социальных проблем. Что же касается popolari, то католическая партия с самых первых шагов считала себя партией компромиссов. Создатель ее — священник Луиджи Стурцо — резко выступал против любой революции, а коммунистов считал прямым злом. Какое уж тут объединение.

Дуче претендовал на полную власть и получил ее. Он мечтал о большой власти с детства. Неукротимая энергия и столь же неукротимая беспринципность позволили ему получить эту власть. Объявленный вождем, дуче, он напрямую связывал свое личное положение с развитием Италии, с ее укреплением, потому и получил поддержку короля Виктора Эммануила III, мечтавшего о стабильности, армейского (и полицейского) руководства, крупных промышленников, католической церкви. На этом строились первые успехи дуче. Конечно, убийство депутата

Маттеотти могло поломать все построения фашистов, но депутаты оппозиции совершили ошибку, покинув парламент. Они были уверены, что король отправит Муссолини в отставку. Но этого не произошло. И на папу надежд было мало.

«Ты не представляешь, сколько вреда приносит нам этот папа, — разразился Муссолини очередным монологом перед Клареттой Петаччи 8 октября 1938 г. — Никогда еще ни один папа не был так враждебен религии, как этот. Есть убежденные католики, которые его вообще не воспринимают. Он потерял практически весь мир, Германию, по крайней мере, полностью. Он не удержал имевшееся влияние, наделал массу ошибок. Мы сегодня единственные, вернее, я — единственный, кто поддерживает затухающую религию. А папа делает недостойные вещи. Например, говорит, что мы схожи с семитами. Как это так? Ведь мы с ними боролись веками, мы ненавидим их, а он говорит, что мы такие же, как они, якобы у нас одна кровь. Он проводит кампанию против моей позиции насчет того, что не должно быть смешанных браков. Хотел бы я посмотреть, что будет, если итальянцы станут вступать в браки с черными. Мы уже убедились в том, что даже браки с белыми иностранцами в условиях войны приводят к распаду семей, потому что оба супруга в какой-то момент чувствуют, что у них разные родины. Отсюда невозможность договориться, прийти к согласию, и глядишь, семья уже развалилась. Пусть папа дает свое благословение, я согласна на такие браки не дам. Ты не представляешь, какие препоны мне ставят. Например, в “Оссерваторе” меня даже не упоминают, и про Мюнхен<sup>18</sup> не пишут ни одного слова. Папа вызвал недовольство католиков, он ведет вредные и глупые разговоры. Он говорит: “Сочувствуйте евреям”. И еще он говорит: “Я чувствую себя таким же, как и они”. Это уже слишком. Все папы, которые носили имя Пий, были несчастьем для Церкви. Пий VI (1717—1799) подчинился Французской революции. Пий VII (1742—1823) получил пощечину от Наполеона. Пий VIII (1761—1830) не успел натворить дел только потому, что прожил недолго. Пий IX (1792—1878) — Римская республика. Пий X (1835—1914) — мировая война. Теперь смотри, что творит этот. Он теряет всякое влияние на мир, рискует разрушить все в Италии. Как католик, я должен сказать, что хуже этого папы никого быть не может».

## 2.

Миротворцем дуче начал считать себя после Мюнхена. Там в конце сентября 1938 г. было подписано (многими тогда же названное позорным) соглашение четырех государств (Германии, Великобритании, Франции и Италии) о передаче Чехословакией Германии Судетской области. Свои подписи под соглашением поставили Адольф Гитлер, Невилл Чемберлен, Эдуард Даладьё и Бенито Муссолини.

К этому времени Муссолини многому научился у Гитлера. Рассуждая о будущем Европы, он уже сам указывал на Чехословакию, Австрию, Швейцарию, Бельгию как на некие искусственные государства, ведь за ними не стоят единые нации. Когда Гитлер заговаривал о планах вторжения в Восточную Европу, чтобы устранить всякие мелкие «недогосударства», Муссолини давал понять, что поддерживает его. Когда в сентябре вторжение в Чехословакию выглядело уже неминуемым, Невилл Чемберлен попросил итальянское правительство повлиять на Гитлера. Муссолини пообещал, в своем кругу, впрочем, удовлетворенно заметив, что Британия впадает в старческий маразм, иначе не стала бы просить о помощи<sup>19</sup>. Но за посредничество он взялся, только когда понял, что Британия все равно со-

<sup>18</sup> Активно утверждая войну, Муссолини тем не менее продолжал считать себя миротворцем.

<sup>19</sup> Mack Smith, D., op. cit., p. 259.

гласится с аннексией части чехословацкой территории. Он считал, что лавирование между двумя противоборствующими силами может ему самому дать многое. В краткосрочной перспективе он не ошибся.

Население Чехословакии на то время составляло 14 миллионов человек, из которых три с половиной являлись этническими немцами. Большая часть их (почти три миллиона) проживала в Судетах. В мае 1938 г. (по уже хорошо отработанному сценарию) фашистская Судетско-немецкая партия под руководством Конрада Гейнлейна подготовила путч, одновременно вермахт выдвинул свои части к чехословацкой границе, что привело к 1-му Судетскому кризису. Чехословацкая армия, пусть и не полностью, была мобилизована, войска выдвинулись в Судеты, а главное, заняли приграничные укрепления. О поддержке Чехословакии заявили СССР и Франция. Интересно, что на этом первом этапе Италия тоже выразила свой протест. В итоге Гитлер не решился отдать приказ о переходе границы.

С мая по сентябрь шли переговоры, формально — между Гейнлейном (за которым стоял Гитлер) и чехословацким правительством, при посредничестве британского представителя, виконта Уолтера Ренсимена. 5 сентября президент Чехословакии Эдвард Бенеш согласился удовлетворить практически все требования судетских немцев, но это не устроило Гейнлейна, к тому же Гитлер уже успел заинтересовать идеей раздела Чехословакии ее соседей — Польшу и Венгрию.

Повод для путча организовали сами гейнлейновцы. Они выступили 12 сентября, но их никто не поддержал, все закончилось крахом, Конрад Гейнлейн бежал в Германию. Чехословакия объявила всеобщую мобилизацию, Франция начала призыв резервистов, советские войска тоже активизировались, хотя Польша заявила, что не пропустит через свою территорию ни одного советского солдата ни при каких обстоятельствах (в то время у СССР и Чехословакии не было общей границы). Герман Геринг, выступая на нацистском партийном съезде в Нюрнберге 10 сентября, заявил: «Жалкая раса пигмеев-чехов угнетает культурный [немецкий] народ, а за всем этим стоит Москва и вечная маска еврейского дьявола!»

Одинадцатого сентября Англия и Франция заявили, что если начнется война, они немедленно поддержат Чехословакию, но вот если Германия не допустит войны... намек был вполне ясен... она, наверное, сможет получить все, что хочет. 14 сентября Невилл Чемберлен даже послал Гитлеру телеграмму, в которой сообщил о своей готовности посетить его «ради спасения мира».

Мюнхенская конференция созывалась в спешке. Главные договаривающиеся стороны — Невилл Чемберлен (премьер-министр Великобритании), Эдуард Даладьё (председатель Совета министров Франции), Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Разумеется, чехи тоже присутствовали, но к самим переговорам их не допустили.

Проект соглашения представил Муссолини. «Он предложил решение, которое все приняли и которое давало немцам большую часть того, что они хотели: он называл свои предложения делом честного посредника, хотя они были подготовлены в немецком министерстве иностранных дел и переданы ему перед самым началом конференции. Он чувствовал себя неловко, вынужденный участвовать в дискуссии с двумя демократическими премьер-министрами, Эдуардом Даладьё и Невиллом Чемберленом, но его репутация от этого очень выиграла, так как на него стали смотреть как на миротворца Европы»<sup>20</sup>.

Хорошо известны слова Невилла Чемберлена по возвращении в Англию: «Я принес мир для нашего поколения» (*peace for our time*). Но известны и слова его постоянного оппонента Уинстона Черчилля: «У Чемберлена был выбор между войной и позором. Сейчас он выбрал позор, а войну получит позже».

<sup>20</sup> Ibid.

«В Мюнхене нас принимали просто фантастическим образом, и фюрер проявлял большую симпатию, — записала Кларетта полные торжества слова дуче. — Гитлер — очень сентиментальный в глубине души. Когда он увидел меня, у него слезы на глазах навернулись. Он действительно очень любит меня. (Давно ли дуче отзывался о Гитлере грубо и презрительно? — Г. П., С. С.) Для меня были приготовлены апартаменты в Княжеском дворце, но я смог туда съездить только на минуту утром, чтобы позвонить тебе. Там был тот венгр, симпатичнейший парень, который когда-то приезжал в Ливию. Он был в восторге от Италии и от меня. А завтракали мы у фюрера. Представляешь, он до сих пор живет в самом обычном доме, вместе с другими жильцами. Там внизу есть лифт. Но он фюреру не нужен, ведь у него нет жены. (Смеется.) В доме живут еще какой-то профессор и рабочий. Очень скромный, самый обыкновенный дом. Нас было человек двадцать: и фашисты, и нацисты. Гитлер повторял со слезами на глазах: “Ах, Италия, Италия, как она прекрасна!” А я ему сказал: “Вы можете приезжать к нам инкогнито. Можете побыть месяц во Флоренции”. Он даже разволновался: “Вы не можете себе представить, какое волшебное ощущение дарит мне ваше искусство. Надо было мне стать художником”. “Но ведь и ваша политика — это искусство, сложное искусство”. “Это верно, но я мечтал стать художником”».

И далее — характеристики, для нас, скажем так, непривычные: «Геринг — такой симпатичный мальчик, он все толстеет, становится просто огромным. Присутствовал Геббельс, но он был сам не свой: какой-то нервный и не очень радостный, совсем не такой, каким был, когда приезжал в Италию. В любом случае, любезный, конечно. Но думаю, его звезда скоро закатится. Даладье? Ну да, он симпатичный. А Чемберлен — потрясающий. Представь себе, человеку 70 лет, а он в шесть утра вылетает из Рима, спустя три часа он в Германии, там садится в машину и добирается до установленного места. После долгих нервных разговоров в два часа дня он был еще свеженьким. По нему никак нельзя было сказать, что он на ногах с шести утра. Поел в гостинице за двадцать минут и вернулся, даже не отдохнув». И далее, с восхищением: «Гитлер приехал встречать меня, и часть поездки мы провели вместе. Демократии пора уступить место диктатуре. (Вспомним: “Мы с Гитлером словно двое богов на облаках”. — Г. П., С. С.) Мы с ним были единой силой, представляя одну идею, один народ. Он в коричневой рубашке, я — в черной. А все остальные — отдельно, униженные и одинокие. Диктатура побеждает. Старые режимы перестали быть актуальными, они лишь создают беспорядок. У руля должен стоять один человек, и ему — командовать. Сегодня Германия — самая сильная держава в мире. Это 80 миллионов человек, надо сильно подумать, прежде чем насадить на них». Что ж, одна половина человечества (нацисты с фашистами) точно определилась. Половина — понятие, конечно, условное, но Муссолини и впрямь чувствовал себя вождем, истинным вождем, сильнейшим среди сильнейших.

«Я все подготовил сам, — рассказывал Муссолини своей любовнице. — Они (участники Мюнхенской встречи. — Г. П., С. С.) даже не знали, с чего начать. Если бы я не привез меморандум, который они прослушали и одобрили, сами они ничего бы не сделали. У них даже идей никаких не было. Языков они не знают, а с переводчиками все это длилось бесконечно. В общем, я взял инициативу в свои руки и, обращаясь поочередно то к одному, то к другому, задавал вопросы и повторял. Да, они были очень сговорчивы. И было так приятно, что, обращаясь ко мне, они постоянно говорили: “Дуче, дуче”. (Ах, эти сладостные детали! — Г. П., С. С.) Даладье говорил: “Ça va bien comme dit le, дуче”. А Чемберлен:

“Уес, дуче”. И так все время: не мсье, не мистер, не глава правительства, а именно так — дуче. (Не будем забывать, дуче — это *вождь*. — Г. П., С. С.) Гитлер — sentimentalный человек, но его внезапные вспышки ярости мог остановить только я. У него глаза сверкали, он весь трясся и с трудом держал себя в руках. А я был всегда невозмутим. В определенный момент, когда спор никак не заканчивался, я сказал: “Господа, уже почти час ночи. Наступило 13 сентября, не забывайте, что именно сегодня [немецкие] войска должны войти [в Чехословакию]. А мы еще так ничего и не решили. Давайте принимать решение, и быстро”. Так я все время возвращал их к основной теме разговора».

И опять звучат возвышающие Муссолини детали: «Чемберлен потрясающий: он почти совсем не устал. В два часа ночи он был по-прежнему энергичным и находчивым, немного утомленным, но ни на мгновение не теряющим нить разговора. А потом он решил уехать, даже не захотел отдохнуть в отеле. А Даладье отдыхал. Они все смотрели на меня с любопытством и вниманием. Гитлер меня обожает. Когда я дал знать, что мне хотелось бы, чтобы он отложил на сутки ввод своих войск, я не говорил с ним напрямую, а попросил передать ему это через посла Агтолико. Чтобы он отложил не мобилизацию, а именно ввод войск. Гитлер спросил: “Это Муссолини так хочет?” “Да”, — ответил посол. Гитлер растерялся, но потом сказал: “Ну, если этого хочет Муссолини, хорошо, пусть будет так”. Это было удивительным доказательством дружбы с его стороны. Он не послушал бы никого другого».

Мюнхенская встреча («соглашение» — по терминологии Запада, «сговор» — по советской) давно детально расписана самыми разными историками; нам сейчас интересно впечатление изнутри — от самого Муссолини. «Это был очень нервный день, но я держался молодцом и сохранял спокойствие. А в определенный момент сказал: “Господа, нет смысла умалчивать тему маленьких государств. Нам нужно как-то улаживать вопрос с Судетами и Германией. Как говорится, все равно придется вырвать зуб, бессмысленно ждать флюса. И неправильно откладывать решение столь деликатного вопроса. У Польши и Венгрии должны быть те же права, что у Судетов”. Чемберлен и иже с ним пытались уйти от этой темы и говорили: “Мы это обсудим, но не сейчас”. А еще Чемберлен сказал: “Дуче, на это у меня нет полномочий, я должен обратиться к парламенту”. “Нет, дорогой Чемберлен, — возразил я, — мы должны это урегулировать прямо сейчас, ведь вам поручено найти оптимальное решение этого вопроса. Так мы решим судьбу целых народов”. Так мы пришли к решению, что будет проведено всенародное голосование и, если в течение трех месяцев эти проблемы не будут разрешены, мы соберемся еще раз. Я нашел способ договориться со всеми. В конце концов мы распрощались по-простому».

«Я привез мир для нашего поколения», — торжественно объявил Чемберлен, вернувшись в Британию. Но еще больше гордился дуче. Он буквально надувался от чувства своего величия. «Во всем виноват Версаль (Версальский мир 1919 г. — Г. П., С. С.), — утверждал он. — Нельзя было так унижать побежденный народ. Его реакция вполне логична, и вот результаты. Нам, итальянцам, бояться нечего. В любом случае, лучше иметь таких друзей, как немцы, ведь они сильнее других и более лояльны к нам. Ты бы видела, — с удовольствием повторял дуче, — с какой теплотой, симпатией и восхищением меня повсюду встречали. Люди быстро поняли, что я миротворец и что я — единственный человек, способный удержать Германию от каких-либо действий!» И далее: «Мы [с Гитлером] никогда не ели за одним столом с этими Даладье и Чемберленом. Мы ели только с фашистами и нацистами. И я чувствовал себя замечательно».

Мюнхенское соглашение не спасло мир. 15 марта 1939 г. Галеаццо Чиано записал в дневнике: «После встречи Гитлера, [президента Чехословакии] Гахи и [министра иностранных дел Чехословакии] Хвалковского германские войска начали оккупацию Богемии. Дело серьезное, поскольку Гитлер заверил всех, что он не хотел аннексировать ни одного чеха. Это германское наступление уничтожает, во всяком случае, не версальскую Чехословакию, а ту, которая была создана в Мюнхене и Вене. Какой вес можно будет придавать в дальнейшем тем декларациям и обещаниям, которые непосредственно касаются нас? Бесполезно отрицать, что все это тревожит и унижает итальянский народ. Необходимо дать ему удовлетворение и компенсацию: Албанию. (Вот взгляд истинного фашиста. — Г. П., С. С.) Говорил об этом с дуче, которому выразил убеждение, что в данное время мы не встретим ни местных препятствий, ни серьезных международных осложнений на пути нашего наступления. Дуче разрешил мне телеграфировать генералу Якомони (на тот момент чрезвычайный и полномочный министр в Тиране. — Г. П., С. С.) и потребовать, чтобы тот подготовил местные восстания, а сам дал приказ военно-морскому флоту держать наготове вторую эскадру в Таранто»<sup>21</sup>.

Собственно, большая война уже шла.

Она шла, прежде всего, в умах; и не только в Европе.

Президент США Франклин Делано Рузвельт, обеспокоенный «еврейским вопросом», возникшим и в Италии, передал дуче неожиданное послание. Он предлагал расселять итальянских евреев, коль уж для них не достало места в метрополии, в Эфиопии и в других колониях. Дуче послание Рузвельта попросту высмеял. Мы решаем такие вопросы сами, исходя из реалий, сказал он. Сейчас только Советская Россия и Соединенные Штаты имеют достаточно территории для прямого решения таких вот вопросов.

Позиции Италии и Германии быстро сближались. В Берлине 22 мая 1939 г. министры иностранных дел Галеаццо Чиано и Иоахим фон Риббентроп подписали итало-германский договор об оборонительном и наступательном союзе, так называемый «Стальной пакт».

Это был чрезвычайно важный документ. «В случае, если одна из сторон будет вовлечена в военный конфликт, — гласил он, — другая сторона немедленно придет ей на помощь и предоставит в ее распоряжение все свои вооруженные силы». Разумеется, король Италии Виктор Эммануил III предпочел бы более традиционных союзников, таких как Франция, которую он любил, но дуче вполне осознанно шел на сближение с Гитлером. Во-первых, из опасения, что Италия может оказаться в полной изоляции в Европе (в результате проводимой ею политики), во-вторых, из желания выторговать (в случае победы в грядущей войне) новые территории. Правда, при этом Чиано настоял на том, что Италия вступит в будущую войну не ранее 1943 г. Для такого серьезного шага, как война, пояснил он, Италии следует хорошо подготовиться: усмирить Эфиопию и Албанию, построить шесть новейших линкоров, вернуть из Франции миллион уехавших туда на заработки итальянцев (вернулось всего несколько тысяч), перевести развитую промышленность итальянского севера на отсталый сельскохозяйственный юг, решить множество других проблем. «Да, конечно», — кивнул Гитлер, но никаких гарантий не дал.

Все-таки «Стальной пакт» был подписан, и Чиано записал в дневнике: «Он (дуче. — Г. П., С. С.) знает, что за [нашим] более-менее приличным фасадом мало что имеется». Впечатление от недавно объявленной мобилизации для албан-

<sup>21</sup> Ciano G. Journal (1939—1943). LaBaconnière / Payot, 2013. P. 62.



ской экспедиции еще более усиливало пессимизм министра иностранных дел. Для армии набирают дополнительных солдат, чисто механически увеличивают число дивизий, отмечал он в рабочем дневнике. На самом деле дивизии не укомплектованы полностью, иногда отдельная дивизия не сильнее полка. Склады снаряжения и боеприпасов пусты; артиллерия устарела; противоздушных и противотанковых орудий катастрофически не хватает. «В военной области много блефуют и напрямую обманывают дуче. Валле<sup>22</sup> заявляет, что боеспособных самолетов у нас — 3096, а служба информации флота — что только 982. Весьма существенное расхождение. Я доложил об этом дуче, считая своим долгом говорить с ним совершенно искренне о таких вопросах, но, к сожалению, дуче и тысяча самолетов показалась достаточной».

Галеаццо Чиано, человек трезвый, прагматичный, всеми способами пытался раскрыть глаза главе правительства на истинное положение дел, прежде всего на тот факт, что итальянцы не хотят войны, не хотят воевать на стороне Германии. Так уж исторически сложилось. Дуче нередко соглашался с зятем, но как только Чиано выходил из кабинета, кардинально менял свою точку зрения. Он метался. Он боялся опоздать — к разделу мира. А может, и того, что, стоит ему проявить слабость, и его собственная империя легко может стать объектом раздела. И как только Германия заключила пакт с СССР (23 августа 1939 г.), решил: вот теперь пора! Вот теперь, наконец, пора решиться и вступить в войну, иначе мы потеряем свою часть добычи. Теперь Муссолини отказывался от нейтралитета. Он хотел быть с победителями, только с ними. К счастью для Италии, пакт с СССР позволил Гитлеру высвободить часть своих сил, хотя и дуче, и Чиано прекрасно понимали, что эта передышка временная. «Наше вмешательство [в войну], — писал Гитлеру реалистически настроенный Чиано, — может быть немедленным в том случае, если Германия поставит нам военную технику и сырье. Это позволит нам отражать будущие атаки французов и англичан».

Какие товары и вооружение нужны? На этот раз Гитлеру ответил сам дуче (понятно, с подачи своего министра иностранных дел): 6 млн тонн угля, 2 млн тонн стали, 7 млн тонн нефти, 1 млн тонн леса, сотни миллионов тонн других промышленных товаров. Такие цифры могли отпугнуть кого угодно (на что Чиано и надеялся), но Гитлер все это понял правильно. Пришлите в Германию итальянских рабочих, попросил он дуче, кто-то же должен добывать все эти миллионы и миллионы тонн. Никаких проблем! Дуче полон энтузиазма. Он даже предлагает созвать новую крупную международную конференцию, теперь с участием Германии, Италии, Великобритании, Франции, Испании, СССР и Польши. Он, дуче, миротворец! Он опять, как в Мюнхене, остановит войну.

Но война уже шла. И главную роль в ней играл Гитлер. 12 августа 1939 г., после встречи в Берлине с рейхсканцлером, Галеаццо Чиано внес в дневник такую запись: «Гитлер очень сердечен, но бесстрастен и непоколебим в своих решениях. Он говорит в большой гостиной в своем доме, стоя перед столом, на котором разложено несколько карт. Он проявляет глубокие военные знания. Он говорит очень спокойно и волнуется лишь тогда, когда советует нам как можно скорее нанести Югославии окончательный удар. Я сейчас же сознаю, что больше нечего делать. Он решил нанести удар и нанесет его. Все наши доводы никоим образом не остановят его. Он продолжает повторять, что локализует конфликт с Польшей, но его уверенность в том, что великая война должна вестись, пока он и дуче еще молоды, заставляет меня еще раз подумать, что он действует нечестно. Да, он хорошо отзывается о дуче, но не очень внимательно и без интереса слушает то, что я говорю ему о тяжелых последствиях, которые война имела бы для ита-

<sup>22</sup> Джузеппе Валле (1886—1975) — генерал авиации, в 1928—1933 и 1934—1939 гг. начальник Генерального штаба ВВС и заместитель министра авиации.

льянского народа. Я считаю, что для немцев союз с нами важен только по той причине, что враг будет вынужден держать определенное число дивизий против нас, тем самым облегчая положение немцев на их фронтах. Немцев больше ничто не заботит»<sup>23</sup>.

Галеаццо Чиано был противником отношений с Германией. Он боялся этих (уже союзнических) отношений, но, конечно, следовал всем указаниям дуче. 1 октября 1939 г. в Зальцбурге он записал в рабочий дневник новые впечатления о Гитлере: «[Ранее была] заметна внутренняя борьба, происходившая в этом человеке, уже принявшем решение действовать, но еще не уверенном в своих средствах и расчетах. Сейчас же, наоборот, он казался абсолютно уверенным в себе. Испытание, которое он прошел (нападение на Польшу. — Г. П., С. С.), дало ему уверенность в исходе будущих испытаний. На нем был зеленовато-серый френч и, как всегда, черные брюки. На лице следы усталости, но она не отражалась на живости его ума. Гитлер говорил почти в течение двух часов и приводил цифру за цифрой, ни разу не сверившись с предварительными заметками. В отношении Италии его позиция такая же, как прежде. Что прошло, то прошло. С настоящего момента он смотрит в будущее и хочет, чтобы мы были вместе с ним. Но я должен сказать, что наши предложения о военном сотрудничестве обсуждались совершенно открыто, и что произвело на меня самое большое впечатление, так это его уверенность в окончательной победе. Либо он одержимый, либо он действительно гений. Он намечает свои действия и приводит даты с уверенностью, не допускающей возражений».

«С уверенностью, не допускающей возражений...» В немалой степени именно это и сгубило Германию.

## 5.

После завершения гражданской войны в Испании дуче надеялся на быстрый и легкий успех в Албании. Так оно и получилось. 7 апреля 1939 г. итальянские войска вошли на территорию этой страны, и уже через девять дней представители парламента Албании в римском дворце Квиринал поднесли Виктору Эммануилу III албанскую корону. Теперь он был не только королем Италии; теперь он был императором Эфиопии и королем Албании. Муссолини стоял рядом, он слышал восторженный рев толпы, заполнившей площадь, и остро чувствовал несправедливость: ведь истинный император — он!

И, в отличие от короля, он знал, что Гитлер собирается ввести войска в Польшу.

Фюрер Германии был уверен, что ни Франция, ни Великобритания, ни другие западные страны не посмеют вмешаться в события. Он был так уверен в этом, что без лишних рассуждений предложил и Муссолини воспользоваться моментом: не тяните, дуче, Югославия в ваших руках!

Но перевооружение итальянской армии еще было далеко не завершено. А король Виктор Эммануил III еще не отказался от нейтралитета. Дуче это мешало. Он не любил короля. Он не раз говорил Чиано, что с этим «карликом» (намек на рост короля) Италии не повезло. «Не моя вина, что король физически уже давно не более, чем холостой патрон». А узнав о недовольстве короля введенным в армии «гусиным шагом», как-то заметил: «Эта маленькая жалкая развалина никогда не сможет сама промаршировать подобным образом на параде. Но это уже не имеет значения. Королю 70 лет, и я надеюсь, что сама природа придет нам на помощь».

Министр иностранных дел Италии граф Галеаццо Чиано и глава британского Форин Офиса Эдуард Вуд, больше известный как виконт Галифакс, часто вели

<sup>23</sup> Ciano G., op. cit., p.149.

между собой телефонные переговоры. Англичане надеялись привлечь Италию на свою сторону — против Германии, как это когда-то было во время Великой войны. А вот французское правительство было настроено более прохладно. У Франции были опасения. Корсика, Ницца, Савойя... Италия не раз намекала, что пора бы вернуть им эти «исконно итальянские» территории.

Тридцатого января 1939 г. Галеаццо Чиано записал в дневнике: «Дуче простудился, но в то же время сильно озабочен подготовкой милиции к параду 1 февраля. Он заботится о мельчайших деталях. Он много раз подходит к окну кабинета и, спрятавшись за синими занавесями, наблюдает за движениями различных соединений. По его приказу барабаны и трубы должны действовать одновременно. Он сам выбрал палочку для капельмейстера, сам дает указания, какие движения нужно производить, сам меняет пропорции и форму палочки. Он твердо убежден, что в вооруженных силах именно форма определяет сущность». Кстати, на той же странице приписка: «Дуче часто обвиняет короля в том, что тот понизил физический уровень нашей армии только для того, чтобы она гармонировала с его собственной неудачной внешностью». А дуче верил в будущую Империю. Он собирался вернуть Италии бодрящий дух Древнего Рима.

В местах, затронутых мрачным укладом, который несет с собой любая техническая цивилизация, гробов всегда больше, чем колыбелей, мораль там быстро падает, раса дряхлеет. Но против течения не пойдешь. Выигрывают, конечно, новые технологии. Значит, надо срочно перековывать народ, нацию, расу! Нам нужна теперь особая аристократия — аристократия воли и духа.

«Кредо истинного фашиста — героизм, кредо буржуа — эгоизм». Надо жестко рвать с буржуазией. Только большая война по-настоящему встряхивает достойную будущего нацию. Только война формирует Нового человека.

## 6.

Но до этого Нового человека еще далеко.

У Муссолини свой дом в Предапио, в родной Эмилии-Романье. У него там прекрасная земля, домашние животные, там дышится легко. И все равно, яростно жестикулируя, жаловался дуче Кларетте, несмотря даже на то, что «мои люди [в Предапио] ни в чем не нуждаются, они украли у меня 34 мешка пшеницы. У них не было необходимости делать это, потому что у них есть все, что они пожелают, и я их не контролирую. Они едят, возят на продажу кур, яйца, салат, а нам отдают самую малость. Все, что не нам, остается им. Представляешь, я поставлю в Рим 80 литров молока в день. И все-таки они украли. Это очень плохо. Моя жена так разозлилась, что хотела всех выгнать. Но я их оставил. Люди не на шутку перепугались, они стояли передо мной с шапками в руках. Там были прелестные детки, одна малышка, лет четырех, просто куколка белокуроая, с голубыми глазками. Им хорошо в деревне живется».

И вдруг начинал злиться по-настоящему. «Ох уж эти мне итальянцы, я их насквозь вижу. Для многих из них я как кость в горле, и энтузиазм по отношению ко мне — это одна видимость. А правда, видите ли, в том, что они устали от меня, им надоело маршировать. Им бы только сидеть на своих задах с геморроем. Они превращаются в обыкновенных презренных трусишек. Когда ты только уйдешь? — думают они. Когда ты только позволишь нам стать прежними трусами? Ведь мы так привыкли, что у нас вечно страха полные штаны. Знаешь, многие вздохнут с облегчением и скажут: наконец-то мы можем открыто вести себя как трусы, может, даже станем колонией Англии и будем жить под ее покровительством. О, я хорошо знаю свой народ, который до сих пор не избавился от внутреннего рабства, этих коварных и лживых людей, всех этих богачей, тря-

сущихся над тугой мощной. Я не строю никаких иллюзий, я в их глазах — ненормальный, а во время войны в Африке стал для них чуть ли не сумасшедшим. Они хотели бы тихо и спокойно наслаждаться своим добром, ничего не делая, не прилагая никаких усилий, не работая. Им совсем некстати мои пинки сапогами и мой бешеный ритм. Беда в том, что все итальянцы делятся на две категории: те, кто происходит от вольноотпущенников, от рабов, и те, кто происходит от патрициев. Те, кто ведет свое происхождение от рабов, сейчас сожительствуют с негритянками в Абиссинии, лишают девственности тринадцатилетних негритянок, убивают старух из-за пары талеров. Вот такие они, вольноотпущенные. Позавчера я подписал указ о расстреле четырех сардинцев, убивших в колонии старушку. Я приказал, чтобы при казни присутствовали знатные эфиопы. Чтобы не говорили: “Римское правительство — сильное, но эти белые ничем не лучше нас”. Вот такую цивилизацию мы туда принесли. Мы вынуждены были из-за безработицы отправить туда всех, даже гнилую кровь. Я сам запретил, чтобы наши люди работали на дорогах вместе с местными. Чтобы те не говорили: “Твоя есть белый раб?”»

Вот тебе и Новый человек. Вот тебе и все более усложняющиеся комплексы.

«Англичане презрительно спрашивали [про итальянцев в колониях]: “А кто из всех этих черных — итальянец?” Ты представляешь? Да, конечно, англичане эксплуатируют миллионы людей в колониях и посылают туда только одного белокурого высокого офицеришку, который следит за всем, запершись в своем бунгало. Работают местные. В Англии два миллиона безработных, но никто из них даже не думает ехать в колонии. Они живут на содержании у государства, которое выплачивает им по двадцать лир в день в качестве пособия. Франция полна английских безработных, которые приезжают туда как туристы и расплачиваются франками или фунтами. Да, эта эксплуататорша Англия живет за счет 450 миллионов работяг, которые трудятся на 40 миллионов англичан. Педерасты! В Англии такое в порядке вещей. У них есть университет, вернее, колледж... Да, да, колледж, в котором учился Иден... И там формируют отдельный класс... Там говорят на своем особом английском и там все педерасты... А теперь и у нас появились итальянцы, которые хотели бы так жить...»

## 7.

И еще одна запись из дневника Чиано: «27 сентября 1941 г. — заседание Совета министров. Приходится обращать больше внимания на душевное состояние дуче, чем на принятые на заседании решения. Он почти непрерывно говорил три часа. Его доводы были направлены против буржуазии, против “зажиточных, представляющих собой худший тип итальянца”. Он несколько раз касался войны и ее развития, но только для того, чтобы сказать, что теперь он уверен, что война затянется на долгие годы. Хлебный паек установлен в размере 200 граммов, с повышением до 300 или 400 граммов для лиц тяжелого физического труда. И пусть никто не думает, заявил дуче, что это нормирование окончится сразу после войны. Оно будет сохранено до тех пор, пока я этого хочу. Только таким путем можно заставить всяких [промышленников] Аньелли и Донегани кушать столько же, сколько ест последний из их рабочих. Если 200 граммов хлеба недостаточно, то я вам заявляю, что ближе к весне паек станет еще меньше, и я этому очень рад, ибо наконец-то мы увидим на лицах итальянцев признаки настоящего страдания...»

И неожиданное: «Это очень нам пригодится за столом мирных переговоров».

(Окончание следует.)

---

Александр САРАЕВ

## ГЕНЕРАЛ И ГУБЕРНАТОР

Об Александре Ивановиче Лебеде написано много. Большая часть публикаций посвящена ему как политику, чуть меньше — как военачальнику. Что касается публикаций о Лебеде как губернаторе Красноярского края, то таких материалов совсем немного. Их общий тон: он рассматривал свое губернаторство как вынужденное отступление от «большой политики», своего рода «отсидку», чтобы со временем вернуться, принять участие в очередных президентских выборах и достичь наконец желаемой цели. Поэтому главным его приоритетом на этом посту было не выпасть из политической повестки, оставаться в поле зрения федеральных СМИ. Прошло 16 лет со дня гибели Лебеде, но эта точка зрения, к сожалению, и сегодня остается мейнстримом. Проработав с ним более трех лет, могу утверждать, что все это — взгляд слишком поверхностный, существенно искажающий реальную деятельность А. И. Лебеде как губернатора.

Главным постулатом начавшихся в начале 90-х гг. реформ было полное устранение государственной власти из управления экономическими процессами, передача этих функций рынку, «который сам все отрегулирует». В Красноярском крае такая идеология реформирования была реализована в полной мере. Преобразования собственности осуществлялись без какого-либо воздействия краевых властей, без анализа их последствий для региональной экономики и учета интересов населения. В результате из-за того, что, например, канализационный коллектор в Канске и теплосети в Минусинске оказались в частной собственности, происходил неконтролируемый рост тарифов на услуги ЖКХ в этих городах, обострявший и без того непростую социальную обстановку. Далека от интересов края была и деятельность финансово-промышленных групп, которые в результате приватизации стали играть ведущую роль в регионе. Так, «Интеррос», завладевший «Норильским никелем», закупал картофель для Норильска в Бразилии, в то время как тот, что производился местными сельхозпредприятиями, не находил сбыта и значительная его часть пропадала. Кроме того, вполне естественно (свято место пусто не бывает!), что отказ региональной власти от управления экономической породил резкую криминализацию целого ряда отраслей. Причем не только малого и среднего бизнеса: АЗС, розничной торговли, рынков, такси, — но и ряда крупных предприятий, акции которых вымогались либо скупались по заниженным ценам у работников криминальными группировками, а с несогласными поступали жестоко — калечили или даже лишали жизни. В результате авторитет краевой власти и у бизнес-сообщества, и у населения был практически нулевой. Очевидно, это и стало основной причиной победы А. И. Лебеде на губернаторских выборах: в нем красноярцы увидели личность, способную и олигархов приструнить, и очистить край от криминала.



Именно поэтому восстановление авторитета государственной власти в крае и приоритета интересов жителей над всеми другими интересами стало главной задачей Лебеда после прихода на должность руководителя региона в июне 1998 г. Первая крупная проблема, которую ему предстояло решить, — ликвидация долгов по заработной плате работников бюджетной сферы, образовавшихся в результате резкого сокращения поступлений в бюджет живых денег и преобладания взаимозачетов (когда свои бюджетные обязательства хозяйствующие субъекты уменьшали на сумму долгов бюджета перед ними, а оставшаяся часть непогашенных налогов отдавалась натурой — выпускаемой продукцией). Справедливости ради надо сказать, что в 1998 г. такое положение дел в России наблюдалось повсеместно, и правительство даже издало специальное распоряжение, где обязывало федеральных и региональных руководителей снизить долю взаимозачетов до объективно необходимого минимума. Созванные Лебедем на совещание директора предприятий указали массу обстоятельств, из-за которых было невозможно решить эту задачу в текущих условиях: долги покупателей, высокие тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ, задержки возврата НДС и т. п. Губернатор выслушал всех и обязал каждого к новому году довести долю живых денег в выплачиваемых налогах до 90 %. Привыкшие к вольнице капиталы красноярского бизнеса покивали головами и ушли уверенные, что все останется по-прежнему и власть будет, как и прежде, выступать в роли просителя хотя бы минимального объема реальных денег для выдачи зарплаты учителям, врачам и другим бюджетникам. Однако просить то, что положено по закону, — такой образ действий для А. И. Лебеда был категорически неприемлем. Поставленная цель реализовывалась жестко, вплоть до угрозы возбуждения уголовных дел за умышленное уклонение от уплаты налогов. Руководители предприятий к такому напору краевой власти не привыкли, пытались сопротивляться, жаловались, прибегали к помощи, однако в итоге вынуждены были смириться: к декабрю взаимозачеты с бюджетом снизились до вполне приемлемого, обусловленного спецификой хозяйственных процессов пятипроцентного уровня — задача, поставленная правительством, была выполнена А. И. Лебедем одним из первых. Соответственно, в крае, также одном из первых среди субъектов РФ, была ликвидирована задолженность по зарплате работникам бюджетной сферы.

Приведу еще ряд показательных примеров деятельности генерала-губернатора. Я уже упоминал про завозимую в Норильск бразильскую картошку, что было удобно (и, очевидно, выгодно) «Норильскому никелю». В то время как не только картофель, но и другие сельхозпродукты районов Красноярья не находили сбыта и гнили в полях, а предприятия АПК в условиях резкого сокращения платежеспособного спроса населения владели жалкое существование. Прежняя администрация края не обращала внимания на сложившуюся ситуацию. Лебедь посчитал ее абсурдной, противоречащей здравому смыслу и, главное, нарушающей интересы красноярцев. По инициативе губернатора была организована «Красноярская продовольственная корпорация», куда вошла краевая администрация, мэрия г. Норильска, муниципалитеты сельских районов, представители «Норникеля», авиакомпании «КрасЭйр» (последних только Лебедь и мог «убедительно попросить» войти в корпорацию, чтобы те не задирали тарифов на перевозки сельхозпродукции в Норильск). Овощи, молочные и мясопродукты из аграрных районов стали реализовываться в денежном Норильске — ко всеобщей выгоде. Главное то, что деньги оставались в крае и работали на его развитие. К сожалению, «Продовольственная корпорация» сделала только первые шаги. С уходом Лебеда начинание это потихоньку замяли, в том числе и те, кто был заинтересован в выводе финансовых ресурсов за пределы региона.

Еще факты. В настоящее время в стране в значительной мере отработан механизм государственно-частного партнерства в сфере эксплуатации инженерной инфраструктуры и ЖКХ. В 90-х до этого было еще далеко: завладев подобными объектами, частный собственник не связывал себя какими-либо обязательствами перед населением и использовал свое монопольное положение исключительно в целях увеличения собственной прибыли, повышая тарифы на коммунальные услуги, усугубляя и без того нелегкое материальное положение многих семей. Однако прежняя краевая власть, действовавшая, как уже говорилось, по федеральному шаблону, не препятствовала включению котельных и других объектов инженерной инфраструктуры в уставный капитал образуемых на базе предприятий акционерных обществ. Так, на севере края для обанкротившегося Маклаковского ЛПК единственным источником существования были средства, получаемые от оплаты услуг его котельной, которая поставляла тепло и горячую воду в дома, магазины, школу и детсад одного из микрорайонов г. Лесосибирска. Несмотря на то что ЛПК регулярно повышал тарифы, теплоснабжение жилмассива осуществлялось с перебоями: изношенное оборудование периодически останавливалось, люди нередко оставались без тепла и горячей воды. В итоге котельная и вовсе вышла из строя. Случилось это, как водится, посреди зимы, в сорокаградусные морозы, так что на срочное разрешение ситуации пришлось потратить уйму бюджетных средств с подключением не только краевых, но и федеральных ведомств, а также служб МЧС. Понятно, что недовольство населения в такой ситуации было обращено на муниципалитет, т. к. жители совершенно справедливо полагали, что за тепло и горячую воду в их домах несет ответственность не ЛПК, а власть. Губернатор это тоже понимал и стал действовать в свойственной ему манере: пообещал непременно и не откладывая привлечь руководство предприятия к ответственности и взыскать с него затраченные государством деньги. После чего комбинатом в срочном порядке было принято решение о безвозмездной передаче котельной в муниципальную собственность. Это позволило местной власти за лето обновить оборудование и отремонтировать тепловые сети, и уже к следующей зиме надежность теплоснабжения в г. Лесосибирске была полностью обеспечена.

А вот схожий пример. В Канске при социализме жилой сектор большей части города находился на балансе местного биохимзавода, на котором также лежала ответственность за содержание и обслуживание жилья, в том числе за безаварийную работу канализации. Приватизация предприятия привела к передаче жилого фонда в муниципальную собственность, и ответственность за него легла на местную власть. Однако канализационный коллектор был включен в уставный капитал образовавшегося АО. В силу специфики производства заводские стоки разрушающе действовали на канализационные трубы и способствовали регулярному выходу их из строя. В результате над городом нередко стоял невыносимый запах, распространявшийся далеко за его пределы. Местная и краевая власть за бюджетные деньги в срочном порядке устраняла участвовавшие аварии коллектора — при том что завод, получая в кассу плату населения, никаких своих средств на ремонт и замену труб не расходовал. И так продолжалось не один год. Необходимо было кардинально менять ситуацию, и губернатор обратился во Всемирный банк за кредитом на реконструкцию канского канализационного коллектора. Банк согласился выдать кредит, но выставил обязательное условие: коллектор должен находиться в муниципальной собственности. Александр Иванович очень сильно удивился, когда узнал, что это совсем не так, — при всем уважении к частной собственности он не мог и представить, что она может распространяться на подобные сооружения. Не знаю, какие аргументы привел губернатор вызванному в его кабинет директору биохимзавода, но уже на следующий день (!) появилось



решение общего собрания акционеров о безвозмездной передаче канализационного коллектора из собственности АО «Канский биохимический завод» в муниципальную собственность г. Канска.

Как и в предыдущем случае, подобные действия губернатора были осуществлены во благо красноярцев, однако находились явно не в правовом поле. Но ведь устранение причин упомянутых чрезвычайных ситуаций, спровоцированных неверными действиями (а чаще бездействием) прежней власти края, строго по закону потребовало бы массу времени, в течение которого жители Лесосибирска продолжали бы замерзать еще не одну зиму, а канский канализационный коллектор, не получив средств на реконструкцию, полностью вышел бы из строя, спровоцировав экологическую катастрофу. Безусловно, для того чтобы совершать такие поступки, нужна не только твердая политическая воля и абсолютная уверенность в своей правоте, но и смелость брать ответственность на себя. На это способен далеко не каждый руководитель.

Это только некоторые примеры деятельности А. И. Лебеда, когда он показал себя мудрым и решительным хозяйственником, радеющим за интересы людей. Однако имеется масса других сфер, где он также проявил себя как масштабно мыслящий руководитель. Например, в сфере образования Лебедь выступил с личной инициативой организовать в крае кадетские училища и мариинские гимназии — средние образовательные учреждения, построенные на принципах, существовавших в царской России: в кадетских корпусах мальчиков кроме общеобразовательной программы обучали началам армейской жизни и дисциплины, а в мариинских гимназиях девочкам прививали навыки ведения хозяйства, обучали правилам поведения в обществе, танцам, музыке и проч. Принимали на учебу в кадетские корпуса и мариинские гимназии с третьего класса детей-сирот либо детей, ближайшие родственники которых погибли в боевых действиях в составе подразделений Российской армии и других силовых структур. Определенная доля мест предназначалась для обучения на коммерческой основе, на них по конкурсу принимались дети из обычных семей. Частично платное обучение позволяло существенно снизить нагрузку на бюджет, компенсируя значимую часть расходов на функционирование кадетских корпусов и мариинских гимназий. Красноярский опыт организации подобных образовательных учреждений был принят многими другими регионами страны.

Или пример совсем из другой сферы: восстановление Красноярского академического симфонического оркестра (прежним руководителям края показалось, что одного симфонического оркестра — при театре оперы и балета — Красноярску вполне достаточно, поэтому академический оркестр был расформирован). Лебедь вернул в край одного из лучших дирижеров страны — И. В. Шпиллера. Оркестру был приобретен (за личные деньги губернатора) новый комплект инструментов, сшиты концертные костюмы, обеспечены гастролы не только в городах России, но и за рубежом. И сделал это не интеллигент профессор (предыдущий губернатор был ученым-экономистом), а вояка-генерал. Некоторые проекты А. И. Лебеда финансировал привлекая деньги спонсоров: его авторитета вполне хватало, чтобы «под честное слово» привлекать их даже из-за рубежа.

За неполные четыре года А. И. Лебедь во многом оправдал ожидания красноярцев. С финансово-промышленными группами администрация края входила в альянсы и заключала соглашения о сотрудничестве в сферах, касающихся интересов края. О создании «Красноярской продовольственной корпорации» сказано выше, но было еще соглашение с «Интерросом» о содержании социальной сферы города Норильска, инициированная краевой администрацией договоренность между «Русалом» и «Красэнерго» о тарифах на электроэнергию и пр. Жесткие

действия губернатора по улучшению собираемости налогов, достижению прозрачности приватизационных процедур, меры по совершенствованию работы правоохранительных органов привели к существенному снижению влияния криминала в крае, вытеснению его из экономики. В итоге удалось восстановить авторитет краевой и в целом государственной власти.

Что касается критики губернаторской деятельности Лебеда, то кроме банального «кто не работает — тот не ошибается» хотелось бы сказать еще несколько слов. Действительно, в администрации края в первые год-полтора и вправду отмечалась кадровая чехарда: руководители подразделений и вице-губернаторы нередко увольнялись уже через месяц-два после назначения. Спонтанность кадровых решений можно объяснить тем, что Лебедь, будучи кадровым военным, никогда прежде таких решений самостоятельно не принимал — за него это делало Главное управление кадров Советской армии. Армейская жизнь — жизнь по уставу, где все четко определено, имеется строгая вертикаль, когда нижние чины обязаны выполнять приказы высших, — и при приеме на работу командир не проводит собеседование с будущим подчиненным. Попав на госслужбу, Александр Иванович оказался совершенно не готов к кадровой работе, при назначении на государственные должности излишне руководствовался эмоциями, чрезмерно доверяя словам и обещаниям людей, часто не мог отличить реальные проекты от «прожектов», особенно в сферах отношений собственности, хозяйственной жизни, в чем он поначалу не был силен. Нередко правым оказывался тот, кто, как говорится, «первым зашел». Однако будучи человеком умным и образованным, Лебедь вскоре резко поменял стиль работы с кадрами и, составляя собственное мнение о кандидате на должность, старался выслушать и оценить точки зрения всех заинтересованных сторон, действовать взвешенно и осмотрительно.

Но, даже не будучи вполне компетентным в некоторых хозяйственных вопросах, в своей работе он руководствовался исключительно пользой для региона. В доказательство я привел лишь несколько примеров. В реальности их было гораздо больше. Итогом каждого подобного действия становилось улучшение социально-экономической ситуации, укрепление позитивного настроения жителей края. И это совсем не походит на образ «губернатора-временщика», каким рисуют Лебеда многие СМИ. Конечно, Лебедь не мог не понимать, что его успех как руководителя крупнейшего региона России существенно повышает шансы на победу в грядущих выборах президента. Смею, однако, утверждать, что все же не это было главным мотивом Лебеда-губернатора: на этом посту проявился его могучий инстинкт государственника, он показал себя как крупный руководитель, способный мыслить стратегически, эффективно решать текущие проблемы и ставящий превыше всего интересы людей.



## «НУЖНА СКАЗКА, НУЖНА БЫЛИНА...»

*Беседа с художником Александром Кучерявенко*

*Александр Михайлович Кучерявенко — известный новосибирский художник, выпускник художественно-графического факультета НГПУ, профессор кафедры живописи Института искусств НГПУ. Член Союза художников России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Творческую и выставочную деятельность начал в 1981 г. После службы в рядах Советской армии работал преподавателем на кафедре рисунка, живописи и скульптуры архитектурного факультета Новосибирского инженерно-строительного института. В период с 1986 по 1994 г. жил и работал на Сахалине. По возвращении в Новосибирск принимал активное участие в культурной жизни города, совмещая творческую деятельность с преподавательской. Лауреат многочисленных конкурсов. Участник более сорока выставок. Картины автора находятся в музеях Сибири и Дальнего Востока, в частных коллекциях России и зарубежья.*

— Александр Михайлович, с чего началось ваше увлечение живописью? Что повлияло на ваш выбор?

— С рождения началось. Как сказал один из героев Дюма, «я дерусь, потому что дерусь». С самого детства я был человеком рисующим, и все считали, что мне суждено стать художником. Но мое самоопределение случилось в ноябре 1985 г. Это произошло перед ноябрьскими праздниками, когда улицы нашего города должны были украситься так называемыми паспортами с портретами и биографиями конкретных людей, известных в Новосибирске. Случилось так, что наши живописцы не очень хорошо выполнили портрет знаменитого летчика, Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Гаранина. Я увидел его фотографию на столе у нас на кафедре, и все говорили, что художники отказались рисовать, ибо еще были живы его мама и братья, которых ни один вариант портрета не устраивал. Мне терять было нечего, решил попробовать. Меня вывели на третьего секретаря Октябрьского райкома партии (третий секретарь ведал вопросами идеологии) — очень красивую статную женщину по фамилии Драгун. Дабы разговор не получился пустым, я пришел к ней с готовой работой. Приняла она меня хорошо и, сделав несколько замечаний, предложила пройти «проверку на всхожесть» — встретиться с родными Гаранина. И вечером

19 ноября я встретился с семьей прославленного аса. Ко мне отнеслись с пониманием, без всякой предвзятости. Показал Гараниным портрет, меня кое в чем поправили, после чего я тут же, при них, сделал корректировку рисунка. Затем меня посадили за круглый стол, показали Звезду Героя Советского Союза, все документы, и в течение двух часов мы общались в очень доброжелательной атмосфере.

Вышел на улицу, иду вверх по Вертовокской, в округе пусто. Пошел снег, белая крошка, один за другим порывы ветра. И в этот момент мимо пролетает ангел и задевает меня крылом. Потом, сидя в трамвае, сказал сам себе: «А я художником стал». Придя домой, за пять часов, на одном дыхании, нарисовал портрет. Испытав сильный психоэмоциональный порыв, осознал, что нужно к себе очень серьезно относиться, поскольку со мной говорили именно как с художником, хотя на тот момент я был просто очень молодым человеком.

— Вы как художник сформировались на Сахалине и Курилах. Какое влияние на ваше творчество оказала жизнь там, почти на краю земли?

— Жизнь там была самостоятельная и серьезная, в том смысле, что нужно было вписаться в дальневосточную систему взаимоотношений. Не сумевшие этого сделать жили в тех местах не более трех месяцев. Нет, их не отстреливали, они просто уез-

жали обратно. У меня была похожая ситуация, когда я тоже находился на грани бегства. Не покидало ощущение, что надо возвращаться. Но подумалось: а как можно вернуться, если еще ничего не сделано и не обозначено? В то время мной было открыто отделение художественной школы в городе Шахтерске, где все приходилось начинать с нуля. Ну, например, делать заготовки различного рода. А это и станки, и краски, и натуральный фонд, который тоже надо приобретать. И много еще чего. Поскольку в институте нас очень хорошо обучали, в частности декоративно-прикладному искусству и столярному делу, все эти знания пригодились. Я быстро оброс друзьями — такими же фантазерами и романтиками. Сложилась ситуация, когда заниматься было нечем, кроме как живописью. Надо отдать должное тому времени.

— *Ваше творчество, Александр Михайлович, настолько обширно, что охватить его в рамках одной беседы невозможно. Давайте остановимся на самом важном. В своих полотнах вы постоянно обращаетесь к истории России, к таким ключевым событиям, как Ледовое побоище, Куликовская битва, поход Ермака в Сибирь, оборона Брестской крепости. Что больше всего вас удивляет и восхищает в истории нашей страны?*

— Больше всего поражает, что наши предки создали страну, простирающуюся от Балтики до Курил, сумели ее защитить и постарались передать нам. Другое дело, как мы пользуемся этим наследием. Какой размах! Удивительно, как удалось малым числом, нет, не захватить, а освоить столь обширные территории. Ведь завоеваний в их классическом виде не было. Конечно, имели место и стычки, и кровопролитные столкновения. Но в сравнении с испанскими конкистадорами и покорителями североамериканского Дикого Запада наши сорвиголовы были просто агнцами. Они не ограничивались тем, что брали с аборигенов дань, но и выстраивали отношения, создавали совместные семьи. Ассимиляция совсем иного типа имела место на другом конце земли.

— *При обращении к историческим сюжетам вы работаете с первоисточниками — хрониками, летописями?*

— А как иначе? Когда появляется идея, надо в этом ориентироваться и разбираться. Но посылом могут стать и некие ощущения детства. Вдумайтесь в строчки Юрия Левитанского: «Я не участвую в войне, война участвует во мне». Говорят, Суриков увидел ворону — и представил себе боярыню Морозову. Про Врубеля: приметил пеня в окрестностях Абрамцева — и возник образ Пана. У каждого по-своему. Есть вещи, которые не объяснить. Источники очень важны. Однажды мне пришлось писать портреты тех, кто когда-то работал на Сузунском медеплавильном заводе и монетном дворе. И для этого потребовалось изучить Табель о рангах и все наградные списки по данной теме. Но это поздние времена. Мне больше всего интересна домонгольская Русь и времена татаро-монгольского нашествия. Возьмем, к примеру, Александра Невского. Знаю, некоторые историки оспорят к нему весьма критично. Но мало ли что было на самом деле? России нужны символы. Нужна былина. Сказка тем и хороша, что в ней одновременно присутствует и правда, и преувеличение.

— *Как, по-вашему, связана историческая правда с правдой художественной?*

— Парадоксально, но зачастую никак. Художество — это наши фантазии. Литературный или музыкальный образ, который человек строит внутри себя, более убедителен и силен в психологическом плане. Художник изображает одно, а на самом деле все могло быть по-другому. Например, Суриков нашел свой творческий почерк, открыл и подобрал для себя наиболее благодатные темы. И с убедительными версиями его исторических полотен согласилось общество.

— *Вот несколько ранее вы сказали, что нам необходимы герои. Какой смысл вы вкладываете в это понятие?*

— Герой, в моем представлении, — это тот, кто всегда, при любых обстоятельствах остается человеком. Порой настоящий подвиг — выстоять не в бурю, а в штиль.

— *Тема Древней Руси вдохновляла таких художников, как Иван Билибин и Константин Васильев. Насколько вам близко их видение?*

— Имя Константина Васильева появилось неожиданно в предперестроечный

период, на фоне уже несколько заостренного соцреализма. Неожиданно погибает художник и оставляет после себя настоящий клад совершенно несвойственных его времени работ. Это всколыхнуло общество. Творчество Васильева своеобразно. К сожалению, в техническом плане его картины были выполнены не совсем правильно и в суровых условиях хранения начали разрушаться. Есть такое понятие «технология масляной живописи». Звучит странно, но это нужно знать. В художественных академиях проходят химию, чтобы человек имел представление, что с чем смешивать, на каких грунтах работать и в какой технике, дабы картина не разрушалась. Васильев — очень сильное явление, интересное и неожиданное для той поры. У него очень много северных мотивов, варяжской тематики. К сожалению, он рано погиб, только успев найти свой язык.

Что касается Библина — это, безусловно, классик. Его творчество несколько декоративно, много скрупулезности, деталей. Говоря о его увлечении домонгольской Русью, понимаешь, что такой подход закономерен. Нам всем интересно, что тогда было. После такого бедствия, когда погибла значительная часть населения, множество мастеров отправлено в рабство, бесчисленное количество городов уничтожено, как не гордиться, что нация смогла выжить?

— *«Неведомые земли» — в этой картине наиболее ярко выражен дух отечественных землепроходцев, раздвинувших границы России до берегов Тихого океана. Чем вас заинтересовала эта тема?*

— «Неведомые земли» — это собирательный образ Камчатки и Курильской гряды. В то время побережье Тихого океана было совершенно неосвоенным. Обустраивать эти края начали только русские. Думаете, почему японцы до сих пор себе локти кусают по поводу островов? Они бывали там, но ничего не оставляли после себя. Просто охотились, грабили местных жителей и возвращались домой. Наши поступали несколько по-другому: осваивали и делились. Как этим не гордиться?

— *История Сибири немыслима без фигуры Ермака Тимофеевича и его товарищей. Как вы относитесь к этому герою?*

— Мое окончание института совпало с четырехсотлетием похода Ермака в Сибирь. Этой темой очень глубоко занимался мною уважаемый, к сожалению, ныне покойный Владимир Климентьевич Колесников — художник-график, с которым я общался. Фигура Ермака очень сложная, но одно бесспорно: атаман и его товарищи прорубили окно в Азию. Ермак Тимофеевич — яркий пример того, как человек может войти в историю. Недаром в сказаниях многих народов Сибири он один из главных героев. Про кого попало песен не поют.

— *Вы являетесь одним из старожилов Новосибирска. Насколько изменился город за последние десятилетия? Что интересного и запоминающегося было в прошлом? На что обращаете внимание сейчас?*

— Колоссально изменился. Я ощущаю это особенно остро, ибо отсутствовал на протяжении восьми лет и вернулся в Новосибирск только в 1994 г. Посмотрите, как менялся силуэт города, его конфигурация, сколько построено высоток. Урбанизация наступает. Формируется новая среда, новый рисунок. Новосибирск — город многогранный. Его можно хвалить, критиковать, но это моя родина. У меня о нем самые положительные впечатления. Город постоянно меняется, и, думаю, в лучшую сторону.

— *Какие сложились тенденции в развитии культуры города? В первую очередь в изобразительном искусстве?*

— В изобразительном искусстве, на мой взгляд, еще ничего толком не сложилось. Все только складывается, находится если не в утробном, то, во всяком случае, в довольно неопределенном состоянии. Однако, бывая в европейской части страны, в частности в Москве и Ленинграде (для меня город на Неве всегда останется Ленинградом), мне неоднократно приходилось слышать, что здесь, за Уралом, формируется сибирская школа. Именно сибирская. Она должна родиться. Подобное наблюдается и на Дальнем Востоке. Это мнение моих коллег.

— *Одной из проблем современного искусства является его коммерциализация. Насколько это актуально для живописи?*

— Художник всегда был составной частью «артиллерийского» рынка, арт-рынка. Всегда мастера работали адресно, на заказ. Раньше заказчиками были меценаты, великие князья, царская фамилия, богатые люди. В советское время заказчиком стало государство. В конце 80-х, в 90-х гг. ситуация кардинально изменилась. Художника из идеологии убрали. Он остался один, сам по себе, равно как и все остальные. Кому-то удалось вписаться в новый рынок, кому-то не повезло. Один может позволить себе фантазировать, другой нет, ибо сейчас материалы для создания картин стоят очень дорого. С огромным сожалением смотрю на студентов, которые лишены возможности работать хорошими качественными красками: тюбик стоит от четырехсот до пяти сот рублей. Один тюбик! Уже не говорю обо всем остальном. Вообще, это очень сложный и деликатный вопрос. С другой стороны, в девяностых наблюдался огромный всплеск покупаемости картин. При том что люди едва сводили концы с концами. Сейчас арт-рынок в Сибири очень вяло проявляет себя. Я, например, занимаюсь преподавательской работой. Эта одна из немногих сфер деятельности, которую можно совместить с творчеством. Ведь художник оставляет после себя картины. И учеников. Вопрос о коммерциализации очень сложен. Бывает густо, бывает пусто. Молодежь выходит из этого положения через социальные сети. Мы-то привыкли общаться по старинке. Но жизнь диктует свои правила.

— Назовите самые значимые и дорогие для вас картины. Какие воспоминания связаны с их написанием?

— Они все как дети. Пока картина пишется, она полностью принадлежит художнику. Когда дело завершено, ее необходимо пристроить в хорошие руки. А лучше всего в художественный музей. Например, очень приятно, что в Зеленогорске в филиале Красноярского художественного музея висит портрет Хворостовского, написанный Левитиным, а рядом — моя работа, портрет нивха.

— Какие ваши любимые жанры в живописи?

— Когда есть заказ и он хорошо оплачивается — это и есть любимый жанр. А если серьезно, то все жанры. Зимой мне

особенно нравится писать портреты. Летом — пейзаж. Сложнее всего работать с сюжетными картинами. Они требуют иного формата и более тонкого, скрупулезного отношения. Когда пишешь картину в никуда, она может пропасть. А если писать под заказ, тогда лучше получается. Но, как правило, если картина написана на вдохновении, всегда найдутся те, кто захочет ее приобрести.

— *Творчество каких новосибирских художников вам более всего импонирует? С кем из них вы поддерживаете общение?*

— В первую очередь назову Вениамина Карповича Чебанова. Люблю общаться со стариками, с теми, кто старше и умнее меня. К сожалению, многие из них уже ушли. Если говорить о молодых, с большим уважением отношусь к творчеству Максима Афанасьева, Саши Бабичева, Игоря Яковлевича Ельченко.

— *Активную творческую деятельность вы совмещаете с преподавательской, в которой тоже добились немалых успехов. Кого из ваших учеников уже можно назвать сформировавшимся художником?*

— Из моих учеников более пятнадцати стали членами Союза художников. Очень горжусь Юлией Лощеновой. Сейчас она оканчивает Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры.

— *Какими качествами должен обладать настоящий художник кроме таланта и трудолюбия, без которых любая продуктивная деятельность в принципе невозможна?*

— Любовью к Родине. Это существенное, а все остальное прилагательное. К сожалению, у современного государства нет идеологии, на которую можно опереться. В советское время было: «Свобода, равенство, братство!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А сейчас ничего! Быть может, монгольское нашествие нанесло России куда меньший урон, чем предательство, произошедшее в девяностых годах. Трагедия, с которой мы столкнулись тогда, еще не осознана полностью. В стране сейчас два потерянных поколения, и на их плечах будущее.

Беседовал **Владислав Кулагин**

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Бусаргина Тамара Георгиевна** родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет и факультет теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Кандидат искусствоведения. Автор более сорока работ по истории искусства Сибири, детскому художественному творчеству. Живет в Иркутске.

**Гильдина Эльза Гирфановна** родилась в 1985 г. в Башкирии. Окончила филологический факультет Башкирского государственного педагогического университета и ВГИК (мастерская документального и научно-популярного фильма). Режиссер-документалист, участник и победитель различных российских кинофестивалей. В 2007 и 2013 гг. входила в лонг-лист премии «Дебют», в 2018 г. — в лонг-лист премии «Лицей».

**Лаптев Александр Константинович** родился в 1960 г. в Иркутске. Окончил Иркутский государственный университет. Работал инженером на заводе, охранником в частной охранной фирме, редактором книжного издательства. Публиковался в журналах «Роман-газета», «Юность», «Литературная Россия» и др. Автор ряда книг прозы. Член Союза писателей России. Живет в Иркутске.

**Новиков Андрей Вячеславович** родился в 1961 г. в с. Алабузино Тверской области. Публиковался в газетах «Московский комсомолец», «Литературная газета», «Слово», «Литературный Крым», в журналах «Литературная учеба», «Молодая гвардия», «Подъем» и др. Автор пяти книг. Лауреат ряда премий. С 2015 г. возглавил Липецкое региональное отделение Союза писателей России. В 2018 г. был избран секретарем Союза писателей России. Живет в Липецке.

**Прашкевич Геннадий Мартович** родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носо-

рукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюлье Верне, Уэллсе, Брэдбери и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда отечественных и международных литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

**Сараев Александр Русланович** родился в 1954 г. в Омске. Окончил экономический факультет Томского государственного университета и аспирантуру экономического факультета МГУ. Преподавал, затем работал заместителем мэра г. Омска, заместителем губернатора и председателем комитета по управлению государственным имуществом Омской области. В 1998—2002 гг. — заместитель губернатора Красноярского края. Доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации. Живет в Москве.

**Сенчин Роман Валерьевич** родился в 1971 г. в Кызыле. Окончил Литературный институт им. Горького. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Наш современник» и др. Автор нескольких книг прозы, в том числе: «Минус», «Елтышевы», «Лед под ногами», «Зона затопления», «Дождь в Париже». Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Екатеринбурге.

**Соловьев Сергей Владимирович** родился в 1956 г. в Ленинграде. По профессии — математик. Автор романа «День ангела», книги стихов и прозы «4+1», биографии Дж. Р. Р. Толкина (в соавторстве). Рассказы публиковались в журналах «Литературная учеба», «Химия и жизнь» и др. Живет в Тулузе (Франция), преподает в местном университете.

**Францев Александр Викторович** родился в 1981 г. в поселке под Архангельском. Работал вахтовым методом — кочегаром в котельной, грузчиком, рабочим на стройке, сторожем. Публиковался в журнале «Двина». В настоящее время проживает в Архангельске.



## МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

**Работают отделы:**

**антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.**

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

**Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18**

**Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)**

**☎ 227-18-37, 227-14-50**

**Сайт: [www.gornitsa.ru](http://www.gornitsa.ru) E-mail: [n\\_gornitsa@bk.ru](mailto:n_gornitsa@bk.ru)**

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

### ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

**630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел.: (383) 223-10-15**

**E-mail: [sibogni@sibogni.ru](mailto:sibogni@sibogni.ru) Сайт: [sibirskieogni.pf](http://sibirskieogni.pf)**

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 28.06.2018 г. Дата выхода № 8 за 2018 г. в свет 06.08.2018 г.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.